This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

891
3-49n 1

...ЛІЙ ИВАНОВИЧЪ ВОДОВОЗОВЪ

въ воспоминаніяхъ В. Р. Щиглева.

I.

...азъ увидѣлъ я Василія Ивановича Водовозова, какъ ...ія, преподавателя русской словесности, въ августѣ ...лѣ каникулъ очутился я въ новомъ для меня— ...ріи, что и понынѣ на углу Московской, ...кой улицъ. По наслышкѣ и по ка- ...кончившаго курсъ въ той-же ...нее, я уже нѣсколько ...стороны и, такъ ска- ...рисовальщикъ, ...въ про- ...м-

Первая Кузнецкая
№ 7328
Обществ. Библіотек.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Zelinskii, V.A. =1p. 75 r.
891
З-49 н 1

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ О Н. А. НЕКРАСОВѢ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Кузнецкая Районная Библиотека
Инвентар. № 3742

1840—1864 г.

Ч. 3.

СОБРАЛЪ
В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

МОСКВА.
Типо-Литографія І. И. Пашкова. Москва, Милютинскій пер., домъ Арбатской.
1906.

PG3337
N4Z99
v.1

Предисловіе къ первому изданію.

Цѣль и значеніе издаваемыхъ мною сборниковъ критическихъ статей о сочиненіяхъ нашихъ лучшихъ писателей уже настолько выяснились въ продолженіе двухъ лѣтъ составленными и изданными мною пятью выпусками ихъ (о Тургеневѣ и Достоевскомъ *), что говорить объ этомъ я уже не считаю необходимымъ.

Въ составъ настоящей первой части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ вошло 34 отдѣльныхъ, большею частью полныхъ критико-библіографическихъ статьи, разбросанныхъ по разнымъ изданіямъ, въ періодѣ времени отъ 1840 по 1864 годъ; кромѣ того, за невозможностью и безполезностью перепечатывать все, находящееся въ литературѣ о Некрасовѣ, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги только указано еще около 30-ти статей за тотъ же періодъ времени. Послѣднее сдѣлано мною въ интересахъ большей полноты и объединенія въ настоящемъ сборникѣ по возможности всей критической литературы о Некрасовѣ, такъ какъ желательно было бы, чтобы каждый изда-

*) До сего времени уже вышло изъ печати свыше сорока выпусковъ критическихъ статей о разныхъ писателяхъ; многіе изъ нихъ появились уже *четвертымъ* изданіемъ, а нѣкоторые, какъ, напримѣръ, «Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева», — отпечатаны *пятымъ* изданіемъ.

ваемый мною сборникъ критикъ служилъ бы въ свою очередь не только комментаріемъ къ произведеніямъ того или другого писателя, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ бы и полной справочной книгой по критической литературѣ того писателя, къ сочиненіямъ котораго онъ пріуроченъ.

Такъ какъ произведенія Некрасова, по своему литературному роду относительно краткія, разсматриваются критикою преимущественно въ ихъ большей или меньшей совокупности, то, при распредѣленіи критическаго матеріала о нихъ въ настоящемъ сборникѣ, я уже не могъ пользоваться тѣмъ планомъ, по какому расположены статьи въ предшествовавшихъ моихъ сборникахъ; я нашелъ болѣе удобнымъ расположить критическія статьи о Некрасовѣ въ хронологическомъ порядкѣ, а для того чтобы въ сборникѣ сразу можно было найти различныя критическія воззрѣнія на одно какое-либо произведеніе Некрасова, я приложилъ въ концѣ книги *указатель,* съ помощью котораго легко можно оріентироваться въ этомъ отношеніи.

В. Зелинскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе къ первому изданію.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ (біографическій очеркъ).

Статья С. Венгерова 1

Критика сороковыхъ годовъ.

„Мечты и Звуки“.

Критическія статьи: Ѳ. Менцова. 1
Изъ „Литературной Газеты“ 15
В. Бѣлинскаго 17
Изъ „Современника“. 19
— „Сѣверной Пчелы“ . . . . . —
Л. Бранта. 21
Изъ „Журнала Мин. Нар. Просвѣщ.“ 23

„Статейки въ стихахъ“.

Разборы: В. Бѣлинскаго 23
(Z. Z.) изъ „Сѣверной Пчелы“ 26

„Физіологія Петербурга“.

Отзывы: В. Бѣлинскаго 27
Его-же 28

„Петербургскій Сборникъ“.

Отзывъ В. Бѣлинскаго 30

„О нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Некрасова“.

Статейка изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 31

„Три страны свѣта“.

Отзывы: Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ 32
Тоже . . . . . —

Критика пятидесятыхъ годовъ.

„Мертвое Озеро“.

Разборы: Изъ „Москвитянина“. Статья (А.) 35
— „Библіотеки для Чтенія“. Статья И. П. . . 52

„Стихотворенія“.

Критическія статьи: Б. Алмазова 60
Ап. Григорьева . . . . . —

Критика шестидесятыхъ годовъ.

1861 г.

Критическія статьи: А. Пятковскаго 67
Дм. Аверкіева 68
Изъ „Отечественныхъ Записокъ“. . 72
— „Русскаго Слова“ 98
Вс. Крестовскаго 105

1862 г.

Критическіе разборы: Ап. Григорьева 125
Изъ „С.-Петербугскихъ Вѣдомостей“. Статья В. 180
— „Сѣверной Пчелы“ 191

1863 г.

Критическая статья изъ „Отечественныхъ Записокъ“ . . 198

1864 г.

Критическія статьи: Е. Эдельсона. 202
Изъ газеты „День“. Статья Н. Б. . 220
— „Эпохи“ 230
***Алфавитный* указатель** именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ 235

НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ НЕКРАСОВЪ.

(Біографическій очеркъ).

*) Н. А. Некрасовъ — знаменитый поэтъ. Принадлежалъ къ дворянской, нѣкогда богатой, семьѣ Ярославской губ.; родился 22 ноября 1821 г. въ Винницкомъ уѣздѣ, Подольской губ., гдѣ въ то время квартировалъ полкъ, въ которомъ служилъ отецъ Некрасова. Это былъ человѣкъ, много испытавшій на своемъ вѣку. Его не миновала семейная слабость Некрасовыхъ—любовь къ картамъ (Сергѣй Некрасовъ, дѣдъ поэта, проигралъ въ карты почти все состояніе). Въ жизни поэта картамъ тоже принадлежала большая роль, но онъ игралъ счастливо и часто говаривалъ, что судьба дѣлаетъ только должное, возвращая роду чрезъ внука то, что отняла черезъ дѣда. Человѣкъ увлекающійся и страстный, Алексѣй Сергѣевичъ Некрасовъ очень нравился женщинамъ. Его полюбила Александра Андреевна Закревская, варшавянка, дочь богатаго посессіонера Херсонской губ. Родители не соглашались выдать прекрасно воспитанную дочь за небогатаго, мало образованнаго армейскаго офицера; бракъ состоялся безъ ихъ согласія. Онъ не былъ счастливъ. Обращаясь къ воспоминаніямъ дѣтства, поэтъ всегда говорилъ о матери, какъ о страдалицѣ, жертвѣ грубой и развратной среды. Въ цѣломъ рядѣ стихотвореній, особенно въ „Послѣднихъ Пѣсняхъ“, въ поэмѣ „Мать“ и въ „Рыцарѣ на часъ“, Некрасовъ нарисовалъ свѣтлый образъ той, которая скрасила своей благородной личностью непривлекательную обстановку его дѣтства. Обаяніе воспоминаній о матери сказалось въ творчествѣ Некрасова необыкновеннымъ участіемъ

*) С. Венгеровъ. „Энциклопедическій словарь“ Ф. Брокгауза и И. Ефрона, полутомъ 40-й.

его къ женской долѣ. *Никто* изъ русскихъ поэтовъ не сдѣлалъ столько для апоѳеоза женъ и матерей, какъ именно суровый и мнимо-„черствый“ представитель „музы мести и печали“. Дѣтство Некрасова протекло въ родовомъ имѣніи Некрасовыхъ, дер. Грешневѣ, Ярославской губ. и уѣзда, куда отецъ, вышедши въ отставку, переселился. Огромная семья (у Некрасова было 13 братьевъ и сестеръ), запущенныя дѣла и рядъ процессовъ по имѣнію заставили его взять мѣсто исправника. Во время разъѣздовъ онъ часто бралъ съ собою Николая Алексѣевича. Пріѣздъ исправника въ деревню всегда знаменуетъ собою что-нибудь невеселое: мертвое тѣло, выбиваніе недоимокъ и т. п.—и много, такимъ образомъ, залегло въ чуткую душу мальчика печальныхъ картинъ народнаго горя. Въ 1832 году Некрасовъ поступилъ въ Ярославскую гимназію, гдѣ дошелъ до 5-го класса. Учился онъ плоховато, съ гимназическимъ начальствомъ не ладилъ (отчасти изъ-за сатирическихъ стишковъ), и такъ какъ отецъ мечталъ всегда о военной карьерѣ для сына, то въ 1838 г. 16-тилѣтній Некрасовъ отправился въ Петербургъ для опредѣленія въ дворянскій полкъ. Дѣло было почти налажено, но встрѣча съ гимназическимъ товарищемъ, студентомъ Глушицкимъ, и знакомство съ другими студентами возбудили въ Некрасовѣ такую жажду учиться, что онъ пренебрегъ угрозою отца оставить его безъ всякой матеріальной помощи и сталъ готовиться къ вступительному экзамену. Онъ его не выдержалъ и поступилъ вольнослушателемъ на филологическій факультетъ. Съ 1839 по 1841 г. пробылъ Некрасовъ въ университетѣ, но почти все время уходило у него на поиски заработка. Некрасовъ терпѣлъ нужду страшную, не каждый день имѣлъ возможность обѣдать за 15 коп. „Ровно три года“, разсказывалъ онъ впослѣдствіи, „я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь, бывало, для вида газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“. Не всегда даже у Некрасова была квартира. *Отъ продолжительнаго* голоданія онъ заболѣлъ и много

задолжалъ солдату, у котораго снималъ комнатку. Когда еще полубольной, онъ пошелъ къ товарищу, то по возвращеніи солдатъ, несмотря на ноябрьскую ночь, не пустилъ его обратно. Надъ нимъ сжалился проходившій нищій и отвелъ его въ какую-то трущобу на окраинѣ города. Въ этомъ ночлежномъ пріютѣ Некрасовъ нашелъ себѣ и заработокъ, написавъ кому-то за 15 к. прошеніе. Ужасная нужда закалила Некрасова, но она же неблагопріятно повліяла на развитіе его характера: онъ сталъ „практикомъ“ не въ лучшемъ значеніи этого слова. Дѣла его скоро устроились: онъ давалъ уроки, писалъ статейки въ „Литературныхъ прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду“ и „Литературной Газетѣ“, сочинялъ для лубочныхъ издателей азбуки и сказки въ стихахъ, ставилъ водевили на Александринской сценѣ (подъ именемъ *Перепельскаго*). У него начали появляться сбереженія, и онъ рѣшился выступить съ сборникомъ своихъ стихотвореній, которыя вышли въ 1840 г., съ иниціалами Н. Н., подъ заглавіемъ „Мечты и Звуки“. Полевой похвалилъ дебютанта, по нѣкоторымъ извѣстіямъ къ нему отнесся благосклонно Жуковскій, но Бѣлинскій въ „Отечественныхъ Запискахъ“ отозвался о книжкѣ пренебрежительно, и это такъ подѣйствовало на Некрасова, что, подобно Гоголю, нѣкогда скупавшему и уничтожавшему „Ганса Кюхельгартена“, онъ самъ скупалъ и уничтожалъ „Мечты и Звуки“, ставшія поэтому величайшею библіографическою рѣдкостью (въ собраніе сочиненій Некрасова они не вошли). Интересъ книжки въ томъ, что мы здѣсь видимъ Некрасова въ сферѣ совершенно ему чуждой—въ роли сочинителя балладъ съ разными „страшными“ заглавіями въ родѣ „Злой Духъ“, „Ангелъ Смерти“, „Воронъ“ и т. п. „Мечты и Звуки“ характерны не тѣмъ, что являются собраніемъ плохихъ стихотвореній Некрасова и какъ бы *низшей* стадіею въ творчествѣ его, а тѣмъ, что они *никакой стадіи* въ развитіи таланта Некрасова собою не представляютъ. Некрасовъ авторъ книжки „Мечты и Звуки“ и Некрасовъ позднѣйшій—это два полюса, которыхъ нѣтъ возможности слить въ одномъ творческомъ образѣ.

Въ началѣ 40-хъ гг. Некрасовъ становится сотрудникомъ

„Отечественныхъ Записокъ“, сначала по библіографическому отдѣлу. Бѣлинскій близко съ нимъ познакомился, полюбилъ его и оцѣнилъ достоинства его крупнаго ума. Онъ понялъ, однако, что въ области прозы изъ Некрасова ничего, кромѣ заурядnаго журнальнаго сотрудника, не выйдетъ, но восторженно одобрилъ стихотвореніе его: „Въ дорогѣ“. Скоро Некрасовъ сталъ усердно издательствовать. Онъ выпустилъ въ свѣтъ рядъ альманаховъ: „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ“ (1843), „Физіологія Петербурга“ (1845), „1 апрѣля“ (1846), „Петербургскій Сборникъ“ (1846). Въ этихъ сборникахъ дебютировали Григоровичъ, Достоевскій, выступали Тургеневъ, Искандеръ, Ап. Майковъ. Особенный успѣхъ имѣлъ „Петербургскій Сборникъ“, въ которомъ появились „Бѣдные Люди“ Достоевскаго. Издательскія дѣла Некрасова пошли настолько хорошо, что въ концѣ 1846 г. онъ, вмѣстѣ съ Панаевымъ, пріобрѣлъ у Плетнева „Современникъ“. Литературная молодежь, придававшая силу „Отечественнымъ Запискамъ“, бросила Краевскаго и присоединилась къ Некрасову. Бѣлинскій также перешелъ въ „Современникъ“ и передалъ Некрасову часть того матеріала, который собиралъ для затѣяннаго имъ сборника „Левіаѳанъ“. Въ практическихъ дѣлахъ „глупый до святости“, Бѣлинскій очутился въ „Современникѣ“ такимъ же журнальнымъ чернорабочимъ, какимъ былъ у Краевскаго. Впослѣдствіи Некрасову справедливо ставили въ упрекъ это отношеніе къ человѣку, болѣе всѣхъ содѣйствовавшему тому, что центръ тяжести литературнаго движенія 40-хъ годовъ изъ „Отечественныхъ Записокъ“ былъ перенесенъ въ „Современникъ“. Со смертью Бѣлинскаго и наступленіемъ реакціи, вызванной событіями 48 г., „Современникъ“ до извѣстной степени перемѣнился, хотя и продолжалъ оставаться лучшимъ и распространеннѣйшимъ изъ тогдашнихъ журналовъ. Лишившись руководительства великаго идеалиста Бѣлинскаго, Некрасовъ пошелъ на разныя уступки духу времени. Начинается печатаніе въ „Современникѣ“ безконечно длинныхъ, наполненныхъ невѣроятными приключеніями романовъ „Три страны *свѣта*“ *и* „Мертвое Озеро“, писанныхъ Некрасовымъ въ *сотрудничествѣ съ Станицкимъ* (псевдонимъ Головачевой-

Панаевой). Около середины 50-хъ гг. Некрасовъ серьезно, думали смертельно, заболѣлъ горловой болѣзнью, но пребываніе въ Италіи отклонило катастрофу. Выздоровленіе Некрасова совпадаетъ съ началомъ новой эры русской жизни. Въ творчествѣ Некрасова также наступаетъ счастливый періодъ, выдвинувшій его въ первые ряды литературы. Онъ попалъ теперь въ кругъ людей высокаго нравственнаго строя; Чернышевскій и Добролюбовъ становятся главными дѣятелями „Современника“. Благодаря своей замѣчательной чуткости и способности быстро усваивать настроеніе и взгляды окружающей среды, Некрасовъ становится поэтомъ-гражданиномъ по преимуществу. Съ менѣе отдавшимися стремительному потоку передового движенія прежними друзьями своими, въ томъ числѣ съ Тургеневымъ, онъ постепенно расходился, и около 1860 г. дѣло дошло до полнаго разрыва. Развертываются лучшія стороны души Некрасова; только изрѣдка его біографа печалятъ эпизоды въ родѣ того, на который самъ Некрасовъ намекаетъ въ стихотвореніи: „Умру я скоро“. Когда въ 1866 г. „Современникъ“ былъ закрытъ, Некрасовъ сошелся съ старымъ врагомъ своимъ Краевскимъ и арендовалъ у него съ 1868 г. „Отечественныя Записки“, поставленныя имъ на такую же высоту, какую занималъ „Современникъ“. Въ началѣ 1875 г. Некрасовъ тяжко заболѣлъ и скоро жизнь его превратилась въ медленную агонію. Напрасно былъ выписанъ изъ Вѣны знаменитый хирургъ Бильротъ; мучительная операція ни къ чему не привела. Вѣсти о смертельной болѣзни поэта довели популярность его до высшаго напряженія. Со всѣхъ концовъ Россіи посыпались письма, телеграммы, привѣтствія, адресы. Они доставляли высокую отраду больному въ его страшныхъ мученіяхъ, и творчество его забило новымъ ключомъ. Написанныя за это время „Послѣднія Пѣсни“ по искренности чувства, сосредоточившагося почти исключительно на воспоминаніяхъ о дѣтствѣ, матери и совершенныхъ ошибкахъ, принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ его музы. Рядомъ съ сознаніемъ своихъ „винъ“, въ душѣ умирающаго поэта ясно вырисовывалось и сознаніе его значенія въ исторіи русскаго слова. Въ прекрасной колыбель-

ной пѣснѣ „Баю-баю“ смерть говоритъ ему: „Не бойся горькаго забвенья: ужъ я держу въ рукѣ моей вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья, даръ кроткой родины твоей... Уступитъ свѣту мракъ упрямый, услышишь пѣсенку свою надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой...“

Некрасовъ умеръ 27 декабря 1877 г. Несмотря на сильный морозъ, толпа въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, преимущественно молодежи, провожала тѣло поэта до мѣста вѣчнаго его успокоенія въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. Похороны Некрасова, сами собою устроившіеся безъ всякой организаціи, были первымъ случаемъ всенародной отдачи послѣднихъ почестей писателю. Уже на самыхъ похоронахъ Некрасова завязался или, вѣрнѣе, продолжался безплодный споръ о соотношеніи между нимъ и двумя величайшими представителями русской поэзіи—Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Достоевскій, сказавшій нѣсколько словъ у открытой могилы Некрасова, поставилъ (съ извѣстными оговорками) эти имена рядомъ, но нѣсколько молодыхъ голосовъ прервали его криками: „Некрасовъ выше Пушкина и Лермонтова“. Споръ перешелъ въ печать: одни поддерживали мнѣніе молодыхъ энтузіастовъ, другіе указывали на то, что Пушкинъ и Лермонтовъ были выразителями всего русскаго общества, а Некрасовъ—одного только „кружка“; наконецъ, третьи съ негодованіемъ отвергали самую мысль о параллели между творчествомъ, доведшимъ русскій стихъ до вершины художественнаго совершенства, и „неуклюжимъ“ стихомъ Некрасова, будто бы лишеннымъ всякаго художественнаго значенія. Всѣ эти точки зрѣнія односторонни. Значеніе Некрасова есть результатъ цѣлаго ряда условій, создавшихъ какъ его обаяніе, такъ и тѣ ожесточенныя нападки, которымъ онъ подвергался и при жизни и послѣ смерти. Конечно, съ точки зрѣнія изящества стиха Некрасовъ не только не можетъ быть поставленъ рядомъ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, но уступаетъ даже нѣкоторымъ второстепеннымъ поэтамъ. Ни у кого изъ большихъ поэтовъ нашихъ нѣтъ такого количества прямо плохихъ со всѣхъ точекъ *зрѣнія* стиховъ; многія стихотворенія онъ самъ завѣщалъ *не включать въ собраніе* его сочиненій. Некрасовъ не вы-

держанъ даже въ своихъ шедеврахъ: и въ нихъ вдругъ рѣзнетъ ухо прозаическій, вялый и неловкій стихъ. Между стихотворцами „гражданскаго“ направленія есть поэты, гораздо выше стоящіе Некрасова по техникѣ: Плещеевъ изящненъ, Минаевъ—прямо виртуозъ стиха. Но именно сравненіе съ этими поэтами, не уступавшими Некрасову и въ „либерализмѣ“, показываетъ, что не въ однихъ гражданскихъ чувствахъ тайна огромнаго, до тѣхъ поръ небывалаго вліянія, которое поэзія Некрасова оказала на рядъ русскихъ поколѣній. Источникъ его въ томъ, что, не всегда достигая внѣшнихъ проявленій художественности, Некрасовъ ни одному изъ величайшихъ художниковъ русскаго слова не уступаетъ въ *силѣ*. Съ какой бы стороны ни подойти къ Некрасову, онъ никогда не оставляетъ равнодушнымъ и всегда волнуетъ. И если понимать „художество“ какъ сумму впечатлѣній, приводящихъ къ конечному эффекту, то Некрасовъ художникъ глубокій: онъ выразилъ настроеніе одного изъ самыхъ замѣчательныхъ моментовъ русской исторической жизни. Главный источникъ силы, достигнутой Некрасовымъ,—какъ разъ въ томъ, что противники, становясь на узко-эстетическую точку зрѣнія, особенно ставили ему въ укоръ: въ его „односторонности“. Только эта односторонность и гармонировала вполнѣ съ напѣвомъ „неласковой и печальной“ музы, къ голосу которой Некрасовъ прислушивался съ первыхъ моментовъ своего сознательнаго существованія. Всѣ люди сороковыхъ годовъ въ большей или меньшей степени были печальниками горя народнаго; но кисть ихъ рисовала мягко, и когда духъ времени объявилъ старому строю жизни безпощадную войну, выразителемъ новаго настроенія явился одинъ Некрасовъ. Настойчиво, неумолимо бьетъ онъ въ одну и ту же точку, не желая знать никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ. Муза „мести и печали“ не вступаетъ въ сдѣлки, она слишкомъ хорошо помнитъ старую неправду. Пускай наполнится ужасомъ сердце зрителя—это благодѣтельное чувство: изъ него вышли всѣ побѣды униженныхъ и оскорбленныхъ. Некрасовъ не даетъ отдыха своему читателю, не щадитъ его нервовъ и, *не боясь* обвиненій въ преувеличеніи, въ концѣ-концовъ

добивается вполнѣ *активнаго* впечатлѣнія. Это сообщаетъ пессимизму Некрасова весьма своеобразный характеръ. Несмотря на то, что большинство его произведеній полно самыхъ безотрадныхъ картинъ народнаго горя, основное впечатлѣніе, которое Некрасовъ оставляетъ въ своемъ читателѣ, несомнѣнно, бодрящее. Поэтъ не пасуетъ передъ печальною дѣйствительностью, не склоняетъ предъ нею покорно выю. Онъ смѣло вступаетъ въ бой съ темными силами и увѣренъ въ побѣдѣ. Чтеніе Некрасова будитъ тотъ гнѣвъ, который въ самомъ себѣ носитъ зерно исцѣленія.

Звуками мести и печали о народномъ горѣ не исчерпывается, однако, все содержаніе поэзіи Некрасова. Если можетъ идти споръ о поэтическомъ значеніи „гражданскихъ“ стихотвореній Некрасова, то разногласія значительно сглаживаются и порою даже исчезаютъ, когда дѣло идетъ о Некрасовѣ какъ объ эпикѣ и лирикѣ. Первая по времени большая поэма Некрасова „Саша“, открывающаяся великолѣпнымъ лирическимъ вступленіемъ—пѣснью радости о возвращеніи на родину,—принадлежитъ къ лучшимъ изображеніямъ заѣденныхъ рефлексіей людей 40-хъ гг., людей, которые „по свѣту рыщутъ, дѣла себѣ исполинскаго ищутъ, благо наслѣдье богатыхъ отцовъ освободило отъ малыхъ трудовъ“, которымъ „любовь голову больше волнуетъ—не кровь“, у которыхъ „что книга послѣдняя скажетъ, то на душѣ сверху и ляжетъ“. Написанная раньше тургеневскаго „Рудина“, некрасовская „Саша“ (1855 г.), въ лицѣ героя поэмы Агарина, первая отмѣтила многія существеннѣйшія черты рудинскаго типа. Въ лицѣ героини, Саши, Некрасовъ тоже раньше Тургенева вывелъ стремящуюся къ свѣту натуру, основными очертаніями своей психологіи напоминающую Елену изъ „Наканунѣ“. Поэма „Несчастные“ (1856 г.) разбросана и пестра, а потому недостаточно ясна въ первой части; но во второй, гдѣ въ лицѣ сосланнаго за необычное преступленіе Крота Некрасовъ, отчасти, вывелъ Достоевскаго, есть строфы сильныя и выразительныя. „Коробейники“ (1861 г.) мало серьезны по содержанію, но написаны оригинальнымъ слогомъ, въ народномъ духѣ.

Въ 1863 г. появилось самое выдержанное изъ всѣхъ

произведеній Некрасова—„Морозъ Красный Носъ“. Это—апоѳеозъ русской крестьянки, въ которой авторъ усматриваетъ исчезающій типъ „величавой славянки“. Поэма рисуетъ только свѣтлыя стороны крестьянской натуры, но все-таки, благодаря строгой выдержанности величаваго стиля, въ ней нѣтъ ничего сентиментальнаго. Особенно хороша вторая часть—Дарья въ лѣсу. Обходъ дозоромъ воеводы-Мороза, постепенное замерзаніе молодицы, проносящіяся предъ нею яркія картины былого счастья—все это превосходно даже съ точки зрѣнія „эстетической“ критики, потому что написано великолѣпными стихами и потому что здѣсь все образы, все картины. По общему складу къ „Морозу Красному Носу“ примыкаетъ раньше написанная прелестная идиллія: „Крестьянскія Дѣти“ (1861 г.). Ожесточенный пѣвецъ горя и страданій совершенно преображался, становился удивительно нѣжнымъ, мягкимъ, незлобивымъ, какъ только дѣло касалось женщинъ и дѣтей. Позднѣйшій народный эпосъ Некрасова—написанная крайне оригинальнымъ размѣромъ огромная поэма „Кому на Руси жить хорошо“ (1873—76 г.) уже по однимъ размѣрамъ своимъ (около 5000 стиховъ) не могла удасться автору вполнѣ. Въ ней немало балагурства, немало анти-художественнаго преувеличенія и сгущенія красокъ, но есть и множество мѣстъ поразительной силы и мѣткости выраженія. Лучшее въ поэмѣ—отдѣльныя, эпизодически вставленныя пѣсни и баллады. Ими особенно богата лучшая, послѣдняя часть поэмы—„Пиръ на весь міръ“, заканчивающаяся знаменитыми словами: „ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и безсильная, матушка Русь“, и бодрымъ возгласомъ: „въ рабствѣ спасенное, сердце свободное, золото, золото, сердце народное“. Не вполнѣ выдержана и другая поэма Некрасова—„Русскія Женщины“ (1871—72), но конецъ ея—свиданье Волконской съ мужемъ въ рудникѣ—принадлежитъ къ трогательнѣйшимъ сценамъ всей русской литературы.

Лиризмъ Некрасова возникъ на благодарной почвѣ жгучихъ и сильныхъ страстей, имъ владѣвшихъ, и искренняго сознанія своего нравственнаго несовершенства. До извѣстной степени *живую* душу спасли въ Некрасовѣ именно его

„вины“, о которыхъ онъ часто говорилъ, обращаясь къ портретамъ друзей, „укоризненно со стѣнъ“ на него смотрѣвшихъ. Его нравственные недочеты давали ему живой и непосредственный источникъ порывистой любви и жажды очищенія. Сила призывовъ Некрасова психологически объясняется тѣмъ, что онъ творилъ въ минуты искреннѣйшаго покаянія. Ни у кого изъ нашихъ писателей покаяніе не играло такой выдающейся роли, какъ у Некрасова. Онъ единственный русскій поэтъ, у котораго развита эта чисторусская черта. Кто заставлялъ этого „практика“ съ такою силой говорить о своихъ нравственныхъ паденіяхъ, зачѣмъ надо было выставлять себя съ такой невыгодной стороны и косвенно подтверждать сплетни и росказни? Но, очевидно, это было сильнѣе его. Поэтъ побѣждалъ практическаго человѣка; онъ чувствовалъ, что покаяніе вызываетъ лучшіе перлы со дна его души и—отдавался всецѣло душевному порыву. За то покаянію и обязанъ Некрасовъ лучшимъ своимъ произведеніемъ—„Рыцарь на часъ“, котораго одного было бы достаточно для созданія первоклассной поэтической репутаціи. И знаменитый „Власъ“ тоже вышелъ изъ настроенія, глубоко прочувствовавшаго очищающую силу покаянія. Сюда же примыкаетъ и великолѣпное стихотвореніе: „Когда изъ мрака заблужденья я душу падшую воззвалъ“, о которомъ съ восторгомъ отзывались даже такіе малорасположенные къ Некрасову критики, какъ Алмазовъ и Аполлонъ Григорьевъ. Сила чувства придаетъ непреходящій интересъ лирическимъ стихотвореніямъ Некрасова—и эти стихотворенія, наравнѣ съ поэмами, надолго обезпечиваютъ ему первостепенное мѣсто въ русской литературѣ. Устарѣли теперь его обличительныя сатиры, но изъ лирическихъ стихотвореній и поэмъ Некрасова можно составить томъ высоко-литературнаго достоинства, значеніе котораго не умретъ, пока живъ русскій языкъ.

С. Венгеровъ.

КРИТИКА СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ *).

„Мечты и Звуки“.

**) Вотъ два собранія стихотвореній, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ книжекъ, являющихся почти каждый мѣсяцъ не только въ столицахъ, но и въ разныхъ губернскихъ городахъ нашего обширнаго отечества: въ Псковѣ, Харьковѣ, Ярославлѣ и проч., подъ заглавіемъ „Стихотворенія“ такого-то или такой-то. Какъ первая, такъ и вторая книга—первые опыты молодыхъ поэтовъ (едва ли достигшихъ еще двадцатилѣтняго возраста, опыты, проявляющіе значительный талантъ и подающіе лестныя надежды.— Само уже по себѣ разумѣется, что на подобныя произведенія литературы критика должна смотрѣть не столь строгимъ окомъ, какъ на собранія поэтическихъ твореній писателей или снискавшихъ уже себѣ нѣкоторую извѣстность частымъ помѣщеніемъ своихъ произведеній въ періодическихъ изданіяхъ, или хотя и не печатавшихъ ничего, но достигшихъ уже такого возраста, когда человѣку остается

*) Первое стихотвореніе Некрасова „Мысль“ было напечатано въ 1838 году въ „Сынѣ Отечества“. Въ 1839 году Некрасовъ помѣщалъ свои первые опыты въ „Литературной Газетѣ“ А. А. Краевскаго и въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Въ 1840 г. онъ выпустилъ въ свѣтъ собраніе первыхъ своихъ мелкихъ стихотвореній, подъ названіемъ „Мечты и Звуки“, съ подписью начальныхъ буквъ имени и фамиліи. Съ появленіемъ въ свѣтъ этой книжечки собственно и начинается критика о Некрасовѣ.

**) О. Менцовъ. „Журналъ Министр. Народн. Просвѣщенія“ 1840 г., часть XXV, отд. VI. (Въ этой статьѣ „Мечты и Звуки“ разбираются вмѣстѣ съ стихотвореніями Е. Шаховой, изданными въ 1839 г.).

Примѣч. В. Зеленскаго.

небольшое поприще для усовершенствованія, и когда критика не можетъ уже ожидать отъ писателя такихъ сочиненій, которыя затмили бы произведенія лучшихъ лѣтъ его жизни. Писатели послѣдняго рода, издающіе въ свѣтъ собраніе своихъ сочиненій, какъ бы спрашиваютъ у критика: „Какое мѣсто займу я въ исторіи всеобщей или отечественной литературы?“ Между тѣмъ какъ молодые поэты, подобные г. Некрасову и г. Шаховой, какъ бы просятъ критику только рѣшить: „Есть ли у меня дарованіе и видитъ ли критика во мнѣ поэта, могущаго, если не составить прочное украшеніе той словесности, на языкѣ которой я начинаю писать, то, по крайней мѣрѣ, могущаго обогатить ее достойными вниманія и памяти произведеніями?“ Вотъ съ какой точки зрѣнія, полагаемъ мы, должно смотрѣть на книги, которыхъ названіе представлено въ началѣ этой статьи, и вообще на опыты молодыхъ людей, только начинающихъ свое литературное поприще. И потому да не дивятся читатели, если мы будемъ судить г. Некрасова и г. Шахову снисходительнѣе, нежели, можетъ быть, слѣдовало бы: похвалами умѣренными и справедливыми мы имѣемъ цѣлію ободрить ихъ прекрасные таланты и поощрить къ дальнѣйшимъ трудамъ въ пользу отечественной словесности.

Имя г. Некрасова съ выгодной стороны извѣстно уже нашимъ читателямъ изъ обозрѣній русскихъ періодическихъ изданій, гдѣ его стихотворенія постоянно относились нами къ числу лучшихъ. Мы привели даже въ одной изъ книжекъ Ж. М. нѣкоторыя строфы изъ его прекрасной и даже, можно сказать, лучшей изъ всего изданнаго имъ нынѣ собранія, пьесы: *Смерть* (Ж. М. Н. П. Іюль, 1839). Присоединимъ теперь къ изъясненному уже нами мнѣнію о его стихотвореніяхъ, что мы не замѣтили въ нихъ исключительно подражанія никому изъ нашихъ поэтовъ; а это уже прежде всего свидѣтельствуетъ о самостоятельности его дарованія. Правда, въ нѣкоторыхъ пьесахъ видно вліяніе Бенедиктова (*Колизей, Незабвенная, Дни Благословенные*), въ другихъ — Подолинскаго *(Встрѣча Душъ, Ангелъ Смерти, Поэзія) и проч.*, но возможно-ли, спросимъ мы, молодому *человѣку, котораго память* наполнена прекрасными тирадами

изъ поэтовъ, заслужившихъ уже всеобщее одобреніе и уваженіе, при самыхъ первыхъ своихъ вдохновеніяхъ, совершенно освободиться (въ отношеніи какъ къ мысли, такъ и къ формѣ) отъ ихъ могущественнаго вліянія?..

Итакъ, мы не хотимъ нисколько относить къ недостаткамъ стихотвореній г. Некрасова этого, можно сказать, невольнаго подражанія, тѣмъ еще болѣе, что у него встрѣчаются такія пьесы, которыя носятъ на себѣ печать поэтической независимости. Такими признаемъ мы: *„Два Мгновенія“*, *„Рукоять“*, *„Покойницу“*, и *„Пѣсню Замъ“*. Эти стихотворенія, за исключеніемъ *„Смерти“*,—лучшія между изданными до нынѣ г. Некрасовымъ...

Достойны также одобренія слѣдующія: *„Ангелъ Смерти“*, *„Поэзія“*, *„Моя Судьба“*, *„Землетрясеніе“*, и *„Истинная Мудрость“*, гдѣ есть много прекрасныхъ мыслей *).

Θ. Менцовъ.

* * *

**) Стихотворенія г. Н. Н. принадлежатъ къ числу такихъ произведеній, которыя поставляютъ журналиста въ чрезвычайно-затруднительное положеніе, когда являются къ нему съ требованіемъ суда и приговора: объ нихъ рѣшительно не знаешь, что сказать, если хочешь, разбирая книгу, говорить именно объ этой разбираемой книгѣ. Простымъ „ни то ни се“ отдѣлаться не хотѣлось бы; положительно дурного, противъ чего могла бы возстать критика, въ этихъ стихотвореніяхъ ничего нѣтъ; положительно-хорошаго, что бы заставило прилѣпиться къ книгѣ, усладило бы скуку журналиста, который *долженъ* читать, волею-неволею, тоже ничего нѣтъ. Все въ этихъ „стихотвореніяхъ“ чинно, чисто, стихъ гладокъ, звученъ, видно воображеніе въ авторѣ, еще болѣе видна начитанность лучшихъ рус-

*) Въ концѣ своей критической замѣтки Менцовъ предрекаетъ Некрасову завидную извѣстность въ отечественной литературѣ и почетное мѣсто въ ея исторіи, если только онъ будетъ стараться образовать себя и развивать свое природное дарованіе изученіемъ твореній „Поэтовъ, признанныхъ великими отъ всего просвѣщеннаго міра, и чтеніемъ лучшихъ Теорій Изящнаго“.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) „Литературная Газета“ 1840 г., № 16. Изд. А. Краевскаго.

скихъ поэтовъ; вы прочтете книгу, если не съ удовольствіемъ, то съ терпѣніемъ, — а между тѣмъ какой результатъ этого чтенія? Пустота, безотчетность, неопредѣленность впечатлѣній; ничто васъ не взволновало, ни одинъ стихъ не запалъ въ душу такой, который обвился бы вокругъ вашего сердца, ни одно стихотвореніе такое, которое запечатлѣлось бы живо въ душѣ вашей, чтобы вы могли безъ усилій отыскать его между толпою другихъ, перечесть его съ наслажденіемъ, и любоваться имъ, и подѣлиться наслажденіемъ вашимъ съ другими. Каждое изъ этихъ стихотвореній можетъ быть напечатано на страницахъ журнала, и не испортить журнала, хоть и не придастъ ему особеннаго достоинства; многія изъ стихотвореній г. Н. Н. были напечатаны, и нѣкоторыя даже въ листахъ нашей газеты; но въ томъ-то и заключается особенность подобныхъ г. Н. Н. поэтовъ и вообще писателей, что они суть *нѣчто* до тѣхъ поръ, пока не издадутъ полнаго собранія своихъ сочиненій: тогда они становятся *ничто*. О, изданіе полнаго собранія сочиненій автора есть дѣло важное, приступъ рѣшительный, роковая битва на жизнь или на смерть, прочную славу или тихое забвеніе. Мы видали не разъ подобные примѣры; иной въ теченіе пятнадцати, двадцати лѣтъ, печатая въ какомъ-нибудь журналѣ и особенно ежедневной газетѣ странички, приноровленныя ко времени, къ случаю, къ обстоятельствамъ, успѣвалъ такимъ образомъ составить себѣ колоссальную извѣстность, успѣвалъ убѣдить другихъ и самъ убѣдиться въ правахъ своихъ на званіе какого-то *опекуна* языка и словесности, но какъ скоро эти *странички* превращались въ *книгу*, несмотря на то, что въ книгѣ были и цѣлые романы, эта колоссальная извѣстность рушилась, и чадолюбивый опекунъ языка и словесности убѣждался на опытѣ, что *слава — дымъ*. Такъ точно и нѣкоторые поэты, печатая стихотворенія свои отдѣльно въ журналахъ и альманахахъ, успѣли заставить затвердить имя свое, которое встрѣчалось ежегодно, ежемѣсячно, еженедѣльно по нѣсколько разъ; они пріобрѣтали такимъ образомъ извѣстность, которая составилась какъ-то безотчетно; имъ бы и пользоваться спокойно этою извѣстностью и продолжать путь свой ров-

нымъ шагомъ, такъ какъ начали: никто бы не сталъ справляться, на чемъ основана эта извѣстность, и критика при всякомъ случаѣ отдѣлывалась бы отъ нихъ общими выраженіями: „извѣстный поэтъ“, „милый поэтъ“, „любезный поэтъ“ и т. п.; но на бѣду эти господа ужасно какъ чадолюбивы и самолюбивы: чуть набралось десятка два, три стихотвореній, они тотчасъ издаютъ собраніе ихъ отдѣльною книжкою—и тутъ-то рушится ихъ слава: критика обращаетъ на нихъ вниманіе, разбираетъ права ихъ на званіе поэта и на литературную извѣстность, и увы, бѣдные! Они сходятъ съ пьедестала, на который взошли было, не замѣчаемые никѣмъ; они скидаютъ съ головы своей вѣнокъ, который лежалъ на ней покойно, пока они не выставляли ее напоказъ... Такихъ поэтовъ на Руси было, есть и, вѣроятно, будетъ еще много: гг. Якубовичъ, Раичъ, Тимоѳеевъ, Менцовъ, Стромиловъ, Бахтуринъ, Струйскій, Бернетъ, Сушковъ, Траумъ, Банниковъ, и проч., и пр., и пр.; къ числу такихъ поэтовъ принадлежитъ и г. Н. Н.....“ (Далѣе критикъ для примѣра приводитъ нѣкоторыя стихотворенія). „Названіе *„Мечты и Звуки“* совершенно характеризуетъ стихотворенія г. Н. Н.: это не поэтическія созданія, а *мечты* молодого человѣка, владѣющаго стихомъ и производящаго звуки правильные, стройные, но не поэтическіе. Со временемъ, мы увѣрены, онъ самъ убѣдится въ этомъ, и, оставивъ перо стихотворца, не станетъ увлекаться *мечтами*, а скорѣе посвятитъ себя занятіямъ дѣльнымъ, предастся наукамъ — и будетъ гражданиномъ полезнымъ. Что дѣлать! Кто молодъ не бывалъ? Лучше въ молодости писать стихи, какъ г. Н. Н., нежели... нежели бить баклуши, какъ другіе, напримѣръ“.

Изъ «Литературной Газеты» за 1840 г.

* * *

*) Точно такъ же, какъ повѣсть, въ сравненіи съ другими родами поэзіи, есть самый благодарный родъ для людей, не одаренныхъ художническою фантазіей, но одарен-

*) В. Бѣлинскій. „Сочиненія В. Бѣлинскаго“. Первоначально напечатано въ *„Отечеств. Запискахъ“* 1840 г., т. IX, № 3, отд. V.

Публичная районная библиотека

ныхъ воображеніемъ, чувствомъ и способностію владѣть языкомъ — точно такъ же проза вообще благодарнѣе для нихъ, чѣмъ стихи. Если въ прозѣ нѣтъ даже и чувства и воображенія, то можетъ быть умъ, остроуміе, наблюдательность, или хоть гладкій языкъ; но если въ стихахъ не видно положительнаго художническаго дарованія, нѣтъ поэзіи, — то уже нѣтъ ровно ничего, даже гладкость и звучность стиха въ нихъ не достоинство, а скорѣе порокъ, ибо возбуждаетъ въ читателѣ не удовольствіе, а досаду. Стихи рѣшительно не терпятъ посредственности. Конечно, и въ лишенныхъ поэтической жизни стихотвореніяхъ тотчасъ можно отличить въ авторѣ человѣка-фразера, наклепывающаго на себя разныя ощущенія, чувства и мысли, которыхъ въ немъ и не было, и нѣтъ, и не будетъ, отъ человѣка съ душою, но обманывающагося въ своемъ призваніи. Однако въ томъ и въ другомъ случаѣ итогъ для поэзіи и для славы автора одинъ и тотъ-же — нуль. Вы видите по его стихотвореніямъ, что въ немъ есть и душа, и чувство, но въ то же время видите, что онѣ и остались въ авторѣ, а въ стихи перешли только отвлеченныя мысли, общія мѣста, правильность, гладкость и — скука. Душа и чувство есть необходимое условіе поэзіи, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазія, способность внѣ себя осуществлять внутренній міръ своихъ ощущеній и идей, и выводить вовнѣ внутреннія видѣнія своего духа. Но если этой способности въ васъ нѣтъ, то сколько вы ни пишите, и какъ красиво не издавайте вашихъ стихотвореній, вы не дождетесь отъ читателей ни восторга ни сочувствія, и много-много, если иной, закрывъ вашу книгу, чтобы уже не открывать ее больше, скажетъ, зѣвая и потягиваясь, какъ бы послѣ тяжелой работы: „Должно быть, авторъ прекрасный человѣкъ!“ Если стихи пишетъ человѣкъ, лишенный отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мысли, не умѣющій владѣть стихомъ и риѳмою,— онъ, подъ веселый часъ, еще можетъ позабавить читателя своею бездарностію и ограниченностію: всякая крайность имѣетъ свою цѣну, и потому Василій Кирилловичъ *Тредіаковскій*, „профессоръ элоквенціи, а паче хи-

тростей піитическихъ“—есть безсмертный поэтъ; но прочесть цѣлую книгу стиховъ, встрѣчать въ нихъ все знакомыя и истертыя чувствованьица, общія мѣста, гладкіе стишки и много-много если наткнуться иногда на стихъ, вышедшій изъ души въ кучѣ риѳмованныхъ строчекъ, — воля ваша, это чтеніе или, лучше сказать, работа для рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочесть о нихъ въ журналѣ извѣстіе въ родѣ „выѣхалъ въ Ростовъ“. Посредственность въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ „Мечты и Звуки“ г. Н. Н.

В. Бѣлинскій.

* * *

*) Собраніе стихотвореній („Мечты и Звуки“) занимательное. Здѣсь не только *мечты и звуки*, какъ выразился поэтъ, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая въ себѣ почти одни лирическія стихотворенія, исполнена разнообразія. Въ каждой пьесѣ чувствуешь созданіе мыслящаго ума или воображенія. Наша эпоха такъ скудна хорошими стихотвореніями, что на подобныя явленія смотришь съ особеннымъ удовольствіемъ. У г. Н. Н. замѣтна только нѣкоторая небрежность въ отдѣлкѣ стиховъ: есть неточность въ выраженіяхъ, неправильныя ударенія и другія мелочи, отъ которыхъ легко освободиться при малѣйшемъ вниманіи къ труду.

Изъ «Современника» за 1840 г.

* * *

**) Обязанность критика особенно трудна, когда приходится говорить о произведеніи писателя, только что выступающаго на литературное поприще. Разсматривая книгу писателя извѣстнаго, критикъ всегда можетъ и долженъ откровенно, смѣло высказать свое мнѣніе, основанное, разумѣется, не столько на личномъ впечатлѣніи, сколько на согласіи законовъ изящнаго съ разбираемымъ сочиненіемъ. Не выдержитъ книга такого строгаго разбора, критику

*) „Современникъ“ 1840 г., т. XVIII, № 2. (Приписываютъ Ишевскому).

**) (Н. С.). „Сѣверная Пчела“ 1840 г., № 59.

нѣтъ дѣла: онъ обопрется на пріобрѣтенную авторомъ и заслуженную извѣстность и смѣло выскажетъ свой приговоръ, зная, что нисколько этимъ не повредитъ будущему развитію таланта, пользующагося авторитетомъ. Но если передъ вами первые труды юнаго дарованія, строгій приговоръ можетъ иногда совершенно убить въ зародышѣ талантъ, который не имѣетъ мужества не страшиться первыхъ неудачъ... Что же тогда прикажете дѣлать критику? Неужели молчать и хвалить все безъ разбора?.. Совсѣмъ нѣтъ: выскажите истину, вполнѣ, безпристрастно, откровенно, справедливо и, прибавимъ, снисходительно. Тогда всѣ ваши замѣчанія будутъ хладнокровно разсмотрѣны авторомъ, и, навѣрное, онъ самъ постарается избѣгать замѣченныхъ ему недостатковъ. Критика, ограничивающаяся однѣми насмѣшками, ровно ни для кого не можетъ быть полезною: автора она ничему не научитъ, потому что еслибъ въ ней нашлись и дѣльныя замѣтки, все-же таки она станетъ почитать ее, вслѣдствіе самаго ея характера, несправедливою и пристрастною; читатели же посмѣются и забудутъ ее. Итакъ, снисходительность одно изъ главныхъ условій критики, если передъ нею еще первые опыты юношескаго пера, особенно когда въ авторѣ замѣтно дарованіе, которое впослѣдствіи можетъ болѣе развернуться.

Съ такими думами мы принялись читать „Мечты и Звуки“, стихотворенія Н. Н. — Имя автора намъ вовсе неизвѣстно; кажется, оно въ первый разъ является въ нашей литературѣ: тѣмъ пріятнѣе указать на нѣсколько пьесъ, обличающихъ въ авторѣ дарованіе несомнѣнное. Но этотъ самый признакъ таланта и заставляетъ высказать наше мнѣніе откровенно. Авторъ, видно, слишкомъ пристрастенъ къ прежней школѣ, которая думала находить поэтическое въ однихъ чувствахъ грусти, безнадежности, отчаянія. Это направленіе, къ сожалѣнію, довольно сильно отразилось въ стихахъ г. Н. Н. Далѣе внимательное чтеніе лучшихъ нашихъ поэтовъ оставило также слишкомъ замѣтные слѣды“... (Далѣе критикъ приводитъ выдержки изъ стихотвореній „Непонятная Пѣснь“, „Истинная Мудрость“, „Къ *Смуглянкѣ*“, „*Человѣкъ*“, и заключаетъ такъ: „Въ г. Н. Н.

замѣтны всѣ признаки дарованія, но дарованіе должно быть образовано долгимъ изученіемъ искусства и безпрерывнымъ наблюденіемъ за самимъ собою. Тогда только сбудутся пріятныя надежды, возбужденныя въ насъ книжкою г-на Н. Н. Желаемъ, чтобъ наши ожиданія вполнѣ оправдались на дѣлѣ, и талантъ автора, съ каждымъ новымъ твореніемъ, болѣе и болѣе совершенствовался").

Изъ «Сѣверной Пчелы» за 1840 г.

* * *

*) Мы слышали, что это первые опыты юнаго, очень юнаго поэта. Если такъ, то стихотворенія его болѣе нежели удачны. Кто въ семнадцать лѣтъ *можетъ* писать такіе прекрасные стихи, тотъ въ двадцать пять *долженъ* сдѣлаться поэтомъ въ высокомъ смыслѣ этого слова. Г. Н. Н. владѣетъ стихомъ ловко и звучно; иногда въ пьескахъ его мелькаютъ мысли, свойственныя возрасту позднѣйшему, когда опытъ и размышленія показываютъ намъ жизнь въ настоящемъ ея видѣ. Въ стихотвореніяхъ молодого поэта видно преобладаніе грустнаго, печальнаго, можетъ быть, оттого, что онъ рано встрѣтилъ суровость земныхъ испытаній и горькихъ лишеній, рано брошенъ въ міръ нужды и утраты всего, что дѣлаетъ прекрасными воспоминанія дѣтства: попеченія кровныхъ друзей, небо родины, счастливые, беззаботные дни отрочества. Говоримъ это не безъ основанія, не по однимъ догадкамъ—и потому нисколько не расположены порицать того грустнаго направленія фантазіи, которое замѣтили мы въ стихотвореніяхъ г. Н. Н. Нѣкоторые критики вообще нападаютъ на поэтовъ за то, что въ ихъ произведеніяхъ встрѣчаютъ иногда жалобы на жизнь, недовольство своимъ жребіемъ, ропотъ: если все это не вымышлено и если мирныя, кроткія жалобы поэтовъ выражены въ гармоническихъ стихахъ, излившихся изъ души, изъ сердца, ихъ тоскующіе звуки всегда найдутъ сочувствіе въ читателяхъ: не плясать же, не кривляться же передъ ними поэтамъ, когда горе давитъ грудь и сердце хочетъ раздѣлить съ другими свои тяжелыя ощущенія. Необходимо, од-

*) *„Русскій Инвалидъ“* 1840 г., № 130. Библіографія Л. Брантъ.

нако-жъ, условіе—обладать искусствомъ поэтическую печаль свою облекать въ образы и формы, возбуждающіе живой интересъ и участіе читателя, и если милый поэтъ нашъ желаетъ удостовѣриться въ искренности собственнаго участія нашего, принимаемаго въ его „Мечтахъ“, то мы замѣтимъ ему, что будь *больше* опредѣленности въ нихъ, иногда меньше какой-то странной, не совсѣмъ понятной аллегоріи, стихотворенія его имѣли бы и не одну цѣнность внѣшняго достоинства стиха. Не уносясь слишкомъ въ темный, загадочный міръ безотчетной фантазіи, можно отыскивать и на землѣ, близъ насъ, пищу для самой поэтической мечты, которая въ такомъ смыслѣ будетъ доступнѣе воображенію каждаго читателя, если только природа не отказала ему въ чувствительности и эстетическомъ вкусѣ. Еще нѣсколько болѣе оконченности художественной, болѣе обдуманной выдержанности въ идеѣ каждаго стихотворенія, съ устраненіемъ нѣкоторыхъ выраженій и словъ, иногда неизящныхъ, не одобряемыхъ поэтическимъ слухомъ: и опыты г. Н. Н. могли бы быть явленіемъ болѣе примѣчательнымъ на горизонтѣ нашей поэзіи, сиротѣющей послѣ Пушкина, такъ превосходно постигавшаго тайну того внутренняго участія читателей къ своимъ произведеніямъ, о которомъ мы говорили выше. Мы потому такъ далеко простираемъ требованія наши въ отношеніи къ г. Н. Н., что видимъ въ немъ дарованіе, способное, при дальнѣйшемъ развитіи, ученіи и художнической строгости къ самому себѣ, произвесть что-нибудь болѣе совершенное, болѣе поэтическое, въ ожиданіи чего наши изящнолюбивыя соотечественницы, конечно, прочтутъ красиво изданную книжку, подъ скромнымъ названіемъ: „Мечты и Звуки“.

Л. Брантъ.

* * *

Въ 1841 году о „Мечтахъ и Звукахъ“ упоминается въ „Журналѣ Минист. Нар. Просвѣщенія“ (ч. XXXII, отд. VI). Въ пространной статьѣ, подъ заглавіемъ „Обозрѣніе книгъ, *вышедшихъ въ* Россіи въ 1838, 1839 и 1840 годахъ“, между *прочимъ говорится:* „Между оригинальными поэтическими

произведеніями, обогатившими въ минувшемъ трехлѣтіи русскую литературу, первое мѣсто безспорно занимаютъ „Сочиненія (9 томовъ) Пушкина“. Послѣ сихъ образцовыхъ твореній можно поставить отличныя стихотворенія Бенедиктова и Лермонтова. *Нельзя также пройти молчаніемъ прекрасныхъ опытовъ г. Некрасова „Мечты и Звуки“* и т. д.“ *).

Изъ „Журнала Мин. Нар. Просвѣщ.“.

„Статейки въ стихахъ“.

**) Авторъ этой микроскопической книжки, названной имъ *первымъ томомъ*, долженъ быть человѣкъ умный: это особенно доказывается тѣмъ, что онъ не выставилъ на ней своего имени. Стихи его — водевильная болтовня о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ,—болтовня, которая не можетъ не понравиться той многочисленной публикѣ, которая восхищается въ Александринскомъ театрѣ водевильнымъ остроуміемъ нашихъ доморощенныхъ драматурговъ. Мы убѣждены, что многіе найдутъ забавными такіе стишки:

Придетъ охота страстная
За чтеніе засѣсть—
На то у насъ прекрасная
Литература есть.
Цѣпями съ модой скованный,
Измѣнчивъ человѣкъ:
Насталъ *иллюстрированный*
Въ литературѣ вѣкъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ шутка съ „Нашими“
Пошла и удалась,
Тьма книгъ съ политипажами
Въ столицѣ развелась.
Увидишь тутъ Суворова
(Извѣстный былъ герой),
Исторію котораго

*) Еще см. о „Мечтахъ и Звукахъ“: „Современникъ“ 1845 г., № 9, смѣсь, стр. 169—172; „Сынъ Отечества“ 1849 г., № 5.

Примѣч. В. Зеленскаго.

**) *Бѣлинскій.* „Отечественныя Записки“ 1843 г., т. XXVII.

Составилъ Полевой.
Одѣтаго какъ барина,
Во всей его красѣ,
Увидишь тутъ Булгарина,
Въ бекешѣ, въ картузѣ.
Различныхъ тутъ по званію
Увидишь ты гулякъ
И цѣлую компанію
Салопницъ и бродягъ.
Рисунки чудно слажены,
Въ нихъ каждый штрихъ хорошъ,
Иные и раскрашены:
Ну, нехотя возьмешь!
Изданья тоже славныя,—
Бумага такъ бѣла,—
Но часто презабавныя
Выходятъ тутъ дѣла.
Чѣмъ книга нашпигована
Постигнуть нѣтъ ума:
Въ ней все иллюминовано,
Да въ текстѣ—мракъ и тьма!
Въ рисункахъ отличаются
Клодтъ, Тиммъ и *Неттелыорстъ*,
Всѣ ими восхищаются...
Художественный перстъ!

Впрочемъ, есть въ книжкѣ мѣста, даже слишкомъ высокія для публики, хлопающей пьесамъ въ родѣ „Ѳедосьи Сидоровны“ и „Еще Русланъ и Людмила“, какъ, напр., вотъ они:

Я преданъ сокрушенію,
Не пьется мнѣ, друзья:
Міръ ближе къ разрушенію,
Къ могилѣ ближе я.
Льдомъ жизненнаго холода
Не сковано еще,—
Въ васъ сердце, други,молодо,
Свѣжо и горячо.
Еще вамъ свѣтъ корыстію
Разсудка не растлилъ
И жизни черной кистію
Злой рокъ не зачернилъ.
За счастьемъ безбоязненно
Пока вы мчитесь вдаль

И гостьей непріязненной
Не ходитъ къ вамъ печаль.
Увы!.. Она пробудится:
Часъ близокъ роковой!
И съ вами то же сбудется,
Что сталося со мной:
Въ дни возраста цвѣтущаго
Я также былъ готовъ
Взять грудью грядущаго
И славу и любовь,
Кипѣлъ чудесной силою
И рвался все къ тому,
Чего душой остылою
Теперь и не пойму.
Въ житейскихъ треволненіяхъ
Терпѣлъ и стыдъ и зло
И видѣлъ въ сновидѣніяхъ
Въ вѣнкѣ свое чело.
Любилъ—и имя чудное
Въ отчаяньи твердилъ,—
То было время трудное:
Насилу пережилъ!
Когда восторгъ лирическій
Въ себѣ я пробужу,
Я вамъ біографическій
Портретъ свой напишу.
Тогда вы все узнаете,—
Какъ глупъ я прежде былъ,
Мечталъ, какъ вы мечтаете,
Душой въ эѳирѣ жилъ;
Бѣжать хотѣлъ въ Швейцарію,—
И какъ родитель мой
Съ эѳира въ канцелярію
Столкнулъ меня клюкой.
Какъ гордъ преуморительно
Я въ новомъ былъ кругу
И какъ потомъ почтительно
Сталъ гнуть себя въ дугу.
Какъ прежде, чѣмъ освоился
Со службой, все краснѣлъ,
А послѣ успокоился,
Окрѣпъ и потолстѣлъ.
Какъ гнаться сталъ за деньгами,
Изрядно нажился,
Дѣтьми и деревеньками
И домомъ завелся...

Въ этихъ шуточныхъ стихахъ цѣлая исторія жизни многихъ людей... Жаль, что авторъ ихъ не наполнилъ всей книжки своей такими стихами и чрезъ то не придалъ ей другой цѣли и значенія, кромѣ удовольствія «почтеннѣйшей» публики, составленной изъ разнаго мелкочиновнаго народа. Впрочемъ, вѣдь и этому народу надо же что-нибудь читать, и онъ будетъ читать и смѣяться, и даже запасется готовыми остротами, чтобъ удивлять ими товарищей и плѣнять своихъ дамъ, а книжка, должно быть, очень недорога...

В. Бѣлинскій.

* * *

*) «Въ Санктпетербургѣ есть и устерсы и раки», говорилъ покойный Рубанъ. Въ Санктпетербургѣ есть *литература*, а въ литературѣ есть также *устерсы* и *раки*, мошки и букашки, моль и тля. Вы не замѣчаете ея, но она есть, такъ какъ вы не замѣчаете тли и моли въ вашей мебели, а она въ ней есть. И она живетъ, существуетъ, любитъ, ненавидитъ, шевелится, движется! Да, да, милостивые государи. Видали ли вы каплю воды въ солнечномъ микроскопѣ? Вспомните, какой міръ водяной мелочи представлялся вамъ въ капелькѣ воды, міръ, который шевелится, живетъ, родится, умираетъ, ѣстъ и пьетъ, даже ссорится, дерется, ѣстъ другъ друга! Хотите ли видѣть такой міръ въ *литературной капелькѣ?* Вотъ она передъ вами, крошечная капелька, едва замѣтная, въ розовой оберточкѣ, съ заглавіемъ: *Статейки въ стихахъ.*

Что невозможно человѣку?
И въ *часъ* онъ волею своей
Дать можетъ *жизнь* и *славу* вѣку!

говорятъ *Статейки въ стихахъ*. Почему знать: можетъ быть, думая, что *въ часъ можно дать жизнь и славу вѣку*, поэтъ рѣшительно увѣрился, что себѣ-то онъ ужъ рѣшительно можетъ дать *жизнь и славу*. И почему не такъ? Вѣдь, какова *жизнь*, какова *слава!* Авторъ *Статескъ* думалъ пріобрѣсть

*) *(Z. Z.). „Сѣверная Пчела“* 1843 г., № 87.

то и другое книжечкой, гдѣ сначала встрѣчаются 1842 и 1843 годы и бранятъ добрыхъ людей. За что? Такъ имъ вздумалось—бранятъ, да и только! И негодяи они, и плуты, и то и се, и прочее, и прочее. Потомъ смѣняетъ ихъ какой-то *петербургскій житель Бѣлопяткинъ* и описываетъ разныя петербургскія диковинки, какъ, напримѣръ, онъ чуть не *пустился въ плясъ* съ цыганками; какъ при изданіяхъ съ картинками

Въ рисункахъ отличаются
Клодтъ, Тиммъ и Неттельгорстъ,
Всѣ ими восхищаются—
Художественный перстъ!

прибавляетъ г. Бѣлопяткинъ. Что за *перстъ?* спросите вы. Да то ли еще найдете вы въ *Статейкахъ!* Вы найдете тамъ описаніе, какъ

Прикрывъ одеждой *шкурочку*
Для смѣха и красы,
Съ мартышками мазурочку
Выплясываютъ псы,
И самъ *въ минуту пьяную,*
По страсти иль нуждѣ,
Шарманщикъ *съ обезьяною*
Танцуетъ *па* де де...

Изъ «Сѣверной Пчелы» за 1843 г.

Сборникъ „Физіологія Петербурга“.

*) Разбирая статьи, помѣщенныя въ I ч. сборника «Физіологія Петербурга», изданнаго Некрасовымъ, Бѣлинскій между прочимъ упоминаетъ о «Петербургскихъ Углахъ» Некрасова: «Петербургскіе Углы», говоритъ онъ, отличаются необыкновенною наблюдательностію и необыкновеннымъ мастерствомъ изложенія. Это живая картина особаго міра жизни, который не всѣмъ извѣстенъ, но тѣмъ не менѣе существуетъ, — картина, проникнутая мыслію. Одна газета выписала изъ этой статьи три строки, и всю статью

*) *„Отечественныя Записки“* 1845 г., № 5. Замѣтка В. Бѣлинскаго.

обвинила въ грязности: любопытно было бы намъ услышать сужденіе этой газеты о романѣ *Счастье лучше Богатства*, который сооруженъ совокупными трудами гг. Полеваго и Булгарина и напечатанъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» нынѣшняго года. Тамъ, видно, все чисто — даже и описанія подземныхъ тайнъ винныхъ откуповъ... но Богъ съ ней, съ этой газетой»...

В. Бѣлинскій.

* * *

При разборѣ статей II части сборника «Физіологія Петербурга» Бѣлинскій говоритъ, что самая лучшая изъ всѣхъ статей этого сборника «Чиновникъ» — пьеса въ стихахъ г. Некрасова *). «Это есть одно изъ тѣхъ въ высшей степени удачныхъ произведеній, въ которыхъ мысль, поражающая своею вѣрностью и дѣльностью, является въ совершенно соотвѣтствующей ей формѣ, такъ что никакой, самый предпріимчивый критикъ не зацѣпится ни за одну черту, которую могъ бы онъ похулить. Пьеса эта написана въ юмористическомъ духѣ и вѣрно воспроизводитъ одно изъ самыхъ типическихъ лицъ Петербурга — чиновника»... (Далѣе слѣдуютъ выписки изъ стихотворенія). «Найдутся люди, которые, пожалуй, скажутъ: «что за предметъ! и какъ можно восхищаться пьесою, которая изображаетъ такой предметъ!» Такихъ людей мы отсылаемъ къ сочиненіямъ Марлинскаго, которыя изображаютъ все предметы высокіе и колоссальные. Что же касается до насъ, мы цѣнимъ литературныя произведенія прежде всего по ихъ выполненію, а потомъ уже по ихъ содержанію, предмету и цѣли. Послѣднее необходимо имѣть въ виду особенно при сравненіи двухъ одинаково хорошо выполненныхъ произведеній, чтобъ опредѣлить ихъ относительную другъ къ другу цѣнность. Поэтому, для насъ одна изъ лучшихъ басенъ Крылова лучше всѣхъ трагедій Озерова, хотя и трагедіи эти имѣютъ свое достоинство; но лучшей изъ басенъ Крылова нельзя, по важности, равнять, напримѣръ, съ «Онѣгинымъ» Пушкина: тутъ огромная, неизмѣримая разница въ достоинствѣ «Онѣгина» предъ

*) *Сочиненія В. Бѣлинскаго.*

баснею, — и эта разница заключается въ содержаніи, въ предметѣ, а не въ формѣ, или, лучше сказать, выполненіи. Такъ какъ мы не имѣемъ въ виду сравнивать «Чиновника» г. Некрасова ни съ какимъ извѣстнымъ произведеніемъ, то и скажемъ просто, что эта пьеса — одно изъ лучшихъ произведеній русской литературы 1845 года»...

О самомъ сборникѣ Некрасова «Физіологія Петербурга», 2 ч., Бѣлинскій между прочимъ говоритъ, что онъ составляетъ собою всю собственно русскую лѣтнюю литературу 1845 года. «Мысль этой книги прекрасна. Это иллюстрированный альманахъ или сборникъ статей, относящихся только до Петербурга. Статьи должны быть не столько описательныя, сколько живописныя, нѣчто въ родѣ повѣстей и очерковъ, а иногда и взглядовъ, изложенныхъ въ формѣ журнальной статьи, мѣстами серьезныхъ, но всегда оттѣненныхъ легкимъ юморомъ. Цѣль этихъ статей — познакомить съ Петербургомъ читателей провинціальныхъ и, можетъ быть, еще болѣе читателей петербургскихъ. Какъ достигнута цѣль? — На этотъ вопросъ трудно было бы отвѣчать утвердительно. Не должно забывать, что «Физіологія Петербурга» — первый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ такое время русской литературы, которое никакъ нельзя назвать богатымъ. Несмотря на то, можно сказать утвердительно, что это едва ли не лучшій изъ всѣхъ альманаховъ, которые когда-либо издавались,— потому едва ли не лучшій, что, во-первыхъ, въ немъ есть статьи прекрасныя и нѣтъ статей плохихъ, а во-вторыхъ, всѣ статьи, изъ которыхъ онъ состоитъ, образуютъ собою нѣчто цѣлое, несмотря на то, что онѣ писаны разными лицами. Первая часть «Физіологіи Петербурга» имѣла большой успѣхъ. И не удивительно: статьи — «Дворникъ» и «Петербургскіе Углы» могли бы украсить собою всякое изданіе; статья «Петербургскіе Шарманщики» не испортила бы никакого изданія; что касается до статьи «Петербургъ и Москва», ее прочли всѣ, многіе цѣнили выше, нежели чего она стоитъ въ самомъ дѣлѣ, а многіе не хотѣли замѣтить въ ней того хорошаго, что въ ней есть дѣйствительно, хотя и видѣли его: это, по нашему мнѣнію, успѣхъ»... Далѣе въ-

линскій приводитъ отзывы нѣкоторыхъ журналовъ о сборникѣ «Физіологія Петербурга» и въ концѣ-концовъ оканчиваетъ свою критическую статью словами: «Въ заключеніе скажемъ, что такая книга, какъ «Физіологія Петербурга», была бы замѣчательнымъ явленіемъ, и не будучи первымъ опытомъ,— была бы хороша и для зимняго, не только для лѣтняго чтенія».

В. Бѣлинскій.

„Петербургскій Сборникъ“.

Въ подробномъ критическомъ разборѣ статей, помѣщенныхъ въ «Петербургскомъ Сборникѣ», Бѣлинскій между прочимъ упоминаетъ и о стихотвореніяхъ Некрасова, напечатанныхъ тамъ же. Онъ говоритъ: *) «Самыя интересныя изъ нихъ (стихотвореній) принадлежатъ перу издателя Сборника г. Некрасова. Они проникнуты мыслію; это — не стишки къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, *дѣльнаго* и современнаго. Лучшее изъ нихъ «Въ дорогѣ»...

Въ отдѣльной же библіографической замѣткѣ о самомъ «Петербургскомъ Сборникѣ» Бѣлинскій говоритъ: «Всему читающему русскому міру извѣстно, что г. Некрасовъ сдѣлалъ страшное литературное преступленіе: не будучи знаменитымъ литераторомъ, т. е. лѣтъ двадцать не печатая своего имени подъ всякаго рода сочиненіями и, слѣдовательно, не пріобрѣтя права поправлять чужихъ сочиненій, хотя бы они были лучше его собственныхъ, онъ издалъ очень интересный сборникъ статей подъ именемъ «Физіологія Петербурга», гдѣ поправлялъ только свои собственныя статьи, не касаясь чужихъ... Да гдѣ-жъ тутъ преступленіе? Мы и сами не видимъ его; но есть люди, которые находятъ тутъ преступленіе, о чемъ и объявляютъ во всеуслышаніе. Но г. Некрасовъ не вѣритъ справедливости обвиненія, что будто для изданія сборника непремѣнно нужно имѣть право поправлять чужія статьи, — и вотъ снова даритъ публику прекраснымъ сборникомъ, въ которомъ

*) *Сочиненія* В. Бѣлинскаго.

онъ опять-таки поправлялъ только то, что было написано имъ самимъ.

Такихъ альманаховъ, какъ „Петербургскій Сборникъ“, у насъ еще не бывало. По формату, числу листовъ и изящности изданія, онъ напоминаетъ собою „Сто Русскихъ Литераторовъ“, что же касается до содержанія, то съ этой стороны „Сто Русскихъ Литераторовъ“ нисколько не напоминаетъ собою „Петербургскаго Сборника“...

В. Бѣлинскій.

О нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Некрасова.

*) Пьесы г. Некрасова подраздѣляются на два отдѣла: однѣ, поэтически-невѣрныя, берутъ стихотворную форму только для каприза или шутки; цѣль автора—выразить въ ней современную мысль, особенно поразить сатирическими выходками ложные взгляды на вещи, грубыя человѣческія заблужденія. Такова, напримѣръ, пьеса: „Нравственный Человѣкъ“, принадлежащая къ одному разряду съ „Колыбельной Пѣсней“, помѣщенной въ „Петербургскомъ Сборникѣ“. Другія пьесы чисто-поэтическія изъ лирическаго рода. Отличительная черта ихъ—рѣзкое, до глубины сердца проникающее обнаруженіе тѣлесныхъ и душевныхъ страданій, при которомъ нѣтъ никакой пощады чувствительности. Авторъ не прикрываетъ своихъ картинъ даже легкимъ покровомъ, изъ снисхожденія къ слабымъ глазамъ; не кладетъ сурдинки на вопли больного сердца, но позволяетъ ему кричать всею силою естественнаго крика. Намъ случалось слышать отъ нѣкоторыхъ, въ видѣ упрека стихотворцу, что чувство, такимъ образомъ выраженное, становится возмутительнымъ. Конечно, такъ; но для чего же употреблять во зло какой бы то ни было предметъ, даже пощаду слабымъ душамъ? Пускай слабо-нервные не смотрятъ на кровь, текущую изъ сердца, или пусть видятъ раны такими, какія онѣ есть: блаженной середины здѣсь

*) „Русская литература въ 1847 году“. „Отечеств. Записки“ 1848 г., № 1.

нѣтъ. Виноватъ-ли авторъ, что одинъ человѣкъ падаетъ въ обморокъ отъ того, что другой переноситъ мужественно, и что толпа вмѣняетъ первому въ заслугу его внѣшнюю чувствительность, не замѣчая у второго внутренней мужественной борьбы? Ко второму отдѣлу пьесъ принадлежатъ: „Тройка“, „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“, и другія. Стихъ г. Некрасова не всегда выработанный, но всегда сильный.

Изъ «Отечеств. Записокъ» за 1848 г.

„Три страны свѣта“.

(Н. Некрасова и Н. Станицкаго).

*) О романѣ „Три страны свѣта“, гг. Некрасова и Станицкаго, не можемъ ничего сказать, пока романъ этотъ не будетъ оконченъ. Между тѣмъ, не можемъ не обратить вниманія на превосходную „Исторію мѣщанина Душникова“, въ третьей части этого романа, и на вторую главу („Деревенская Скука“): онѣ выдаются рѣзко изъ всего романа, написаннаго по образцу новѣйшихъ французскихъ романовъ, въ которыхъ легкій разговорный языкъ и занимательность внѣшнихъ происшествій играютъ главную роль. „Исторія мѣщанина Душникова“ замѣчательна и по самому характеру Душникова, живописца-самоучки, вызывающаго невольное сочувствіе читателя своимъ безвыходнымъ положеніемъ, и по мастерскому разсказу, который постоянно поддерживаетъ интересъ этой чрезвычайно-драматической исторіи. Вообще, обѣ главы, нами приведенныя, лучше всего, что написано до сихъ поръ изъ „Трехъ странъ свѣта“.

Изъ «Отечеств. Записокъ» за 1849 г.

* * *

**) Нѣтъ ничего тяжелѣе впечатлѣнія, производимаго твореніемъ, котораго вы никакъ не осмѣлитесь назвать литературнымъ и въ которомъ, однако, встрѣчаешь задатки

*) „Отечественныя Записки“ 1849 г., № 1.

**) *„Отеч. Записки“ 1850* г., № 1.

чего-то хорошаго и талантливаго. Есть произведенія блестящія и въ высшей степени ложныя, которыя представляютъ собою рѣзкія уклоненія отъ дѣйствительной природы — чудовищные сны геніальнаго таланта: таковъ извѣстный романъ Гюго „Notre Dame de Paris“, таковы романы Меччурина. Сила созданія увлекаетъ васъ вопреки вашему здравому смыслу, вопреки вашему эстетическому такту; и вы же готовы бранить себя за увлеченіе. Но не таково дѣйствіе, производимое многотомными спекуляціями Дюма и компаніи, къ роду которыхъ мы съ крайнимъ прискорбіемъ должны отнести и „Три страны свѣта“. Не ложная или чудовищная мысль, но ложный и чудовищный вкусъ породилъ это произведеніе; онъ же далъ ему и минутный успѣхъ, вслѣдствіе котораго на изумленныхъ смѣлостью читателей хлынулъ цѣлый потокъ сказокъ, одна другой безсвязнѣе и нелѣпѣе, сказокъ, по большей части повторявшихъ одна другую, употреблявшихъ всегда одинакія и одинаково-вѣрныя средства успѣха, котораго основы не дѣлаютъ чести ни вкусу читателей ни совѣстливости производителей. Вообще эти компиляціи невѣроятныхъ похожденій, имѣютъ сходство съ тѣми сказками, которыми тѣшилось распадавшееся и пресыщенное до отупѣнія древнее общество: точно такъ же онѣ мертвы и безжизненны, точно такъ же чужды всякаго психологическаго анализа. Главное здѣсь — не лица, не образы, а пестрая канва романа, занимательная для праздная и грубаго любопытства, утомительная для всякаго, кто способенъ къ наслажденію чѣмъ-нибудь повыше. Мѣстами, какъ оазисы въ пустынѣ, выдаются въ компиляціяхъ сцены, написанныя перомъ таланта, то вы не можете отдаться этимъ сценамъ, потому что вездѣ видите сшивку на скорую руку, отсутствіе серьезныхъ цѣлей, отсутствіе уваженія къ дѣлу. И, можетъ быть, никогда не были вы такъ настроены понимать всю вопіющую справедливость требованія Гоголя, чтобы „съ словомъ обходились честно“, и звучитъ вамъ какъ бы чѣмъ-то новымъ эта простая истина, болѣе или менѣе сознаваемая всѣми.

Все, сказанное нами вообще о романахъ подобнаго рода,

вполнѣ прилагается къ роману „Три страны свѣта“. Въ немъ—три рода лицъ, если можно назвать лицами слабыя и блѣдныя тѣни: 1) приторно-идеальныя: Каютинъ, Полинька, Нѣмецъ-башмачникъ; 2) нелѣпо-чудовищныя: Сара, или Клеопатра, какъ она называется различно. Горбунъ; 3) просто-грязноватыя и притомъ грязноватыя безъ всякаго смысла: Кирпичевъ, уѣздная барыня, которая накидывается на Каютина; наконецъ 4)—и этихъ, къ сожалѣнію, очень мало—носящія на себѣ человѣческій образъ. Къ числу послѣднихъ принадлежатъ въ особенности Душниковъ, Хребтовъ, Никита. Вообще, лучшая изъ сторонъ романа и изъ странъ свѣта, въ которыхъ совершается его дѣйствіе — Новая-Земля; похожденія героевъ здѣсь и проще и имѣютъ болѣе смысла, можетъ-быть, и отъ того, что многія здѣсь описанія заимствованы цѣликомъ изъ другихъ книгъ. Мы считаемъ излишнимъ разсказывать содержаніе „Трехъ странъ свѣта“; кто прочелъ это произведеніе, тотъ, по всей вѣроятности, не захочетъ безъ нужды вспоминать его; поэтому мы ограничимся нѣсколькими замѣчаніями... Доказывать неестественность Полиньки и Каютина съ Нѣмцемъ-башмачникомъ включительно — значило бы тратить по пустому время; вѣроятно, сами гг. Некрасовъ и Станицкій плохо вѣрятъ въ ихъ дѣйствительность, хотя, можетъ-быть, эти лица были ими задуманы и гораздо серьезнѣе, нежели какъ они вышли — и будь произведеніе ихъ не такъ разсчитано на успѣхъ и ложные эффекты, изъ добродушнаго, веселаго Каютина, исполненнаго сочувствія къ дѣйствительности, явилось бы лицо новое и оригинальное. Что касается до лицъ второго разряда: Сары, Горбуна и Правой-Руки, то изъ этихъ мелодраматическихъ чудовищъ, самый сильный талантъ не былъ бы въ состояніи ничего сдѣлать. Горбунъ по прямой линіи происходитъ отъ одного лица въ „Mistères de Paris“, а Сара (она же и Клеопатра) носитъ всѣ признаки родства съ однимъ женскимъ характеромъ въ романѣ Поля Феваля „Le fils du Diable“, и съ нѣкоторыми другими женщинами-пантерами, львицами, змѣями и тигрицами. Когда-то все это было ново, теперь же стало и старо, *и смѣшно.*

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1850 г.

КРИТИКА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

„Мертвое Озеро".

(Н. Станицкаго и Н. Некрасова).

*) Романъ только что начинается, но уже самое начало его показываетъ, чего должны ожидать читатели. И канва и очерки характеровъ рѣзко напоминаютъ „Три страны свѣта"—первый романъ тѣхъ же самыхъ авторовъ. Есть произведенія блестящія, и въ высшей степени ложныя, въ которыхъ и событія и характеры отличаются странными уклоненіями отъ дѣйствительной природы, и на которыхъ лежитъ между тѣмъ яркое клеймо таланта: таковъ извѣстный романъ Гюго („Notre Dame de Paris") — таковы романы Меччурина. Сила созданія увлекаетъ васъ вопреки вашему здравому смыслу, вопреки эстетическому такту; вы, пожалуй, и браните себя за увлеченіе, а все-таки увлекаетесь. Но не таково впечатлѣніе, производимое многотомными спекуляціями Дюма и компаніи, къ роду которыхъ мы относимъ и „Три страны свѣта" и „Мертвое Озеро", судя по его началу. Не ложная или чудовищная мысль, но ложный и грубый вкусъ породилъ подобныя произведенія: онъ же далъ имъ и минутный успѣхъ, вслѣдствіе котораго на изумленныхъ смѣлостію читателей хлынулъ цѣлый потокъ сказокъ, одна другой безсвязнѣе и нелѣпѣе,— сказокъ, по большей части повторяющихъ одна другую, снабженныхъ всегда одинакими и всегда одинаково-вѣрными средствами успѣха, котораго основы не дѣлаютъ чести ни

*) (А). „Москвитянинъ" 1851 г., № 5 (мартовская книга).

вкусу публики, ни совѣстливости производителей. Въ такихъ сказкахъ, мертвыхъ и безжизненныхъ, чуждающихся психологическаго анализа, не ищите лицъ, образовъ; главное здѣсь—пестрая канва невѣроятныхъ похожденій, занимательная для празднаго любопытства, утомительная для всякаго, кто способенъ наслаждаться чѣмъ-нибудь получше и повыше. Мѣстами, какъ оазисы въ пустынѣ, выдаются въ компиляціяхъ сцены, написанныя бойко и ловко, но вы не можете отдаться этимъ сценамъ, потому что вездѣ видите сшивку на скорую руку, отсутствіе серьезныхъ цѣлей, отсутствіе уваженія къ дѣлу. Предвидимъ, что насъ обвинятъ въ слишкомъ строгихъ требованіяхъ: скажутъ, что такимъ образомъ мы уничтожаемъ значеніе всей такъ называемой беллетристики, что не могутъ же безпрестанно появляться художественныя произведенія. Признаемся откровенно, что мы дѣйствительно не видимъ и не можемъ видѣть никакого значенія въ такой беллетристикѣ, которая не имѣетъ другой цѣли, кромѣ удовлетворенія праздным и грубымъ потребностямъ, и думаемъ, что всякая литература, а тѣмъ болѣе наша, много бы выиграла, если бы обходилась безъ такого балласта. Есть различіе между роскошью изящною, позволительною во многихъ отношеніяхъ, и роскошью грубою, вредною всегда. Особенно непріятно видѣть подъ такими фабрикаціями имя литератора, какъ г. Станицкій, которому никто не откажетъ ни въ даровитости ни въ силѣ, котораго другія попытки если и мало удовлетворяютъ читателя, то по крайней мѣрѣ возбуждаютъ невольно сочувствіе многими блестящими сторонами. Въ его „Пасѣкѣ“, въ его „Необдуманномъ Шагѣ“—видна мысль и видна вѣра въ мысль, вѣра въ лица, оживляемыя этою мыслію; но мы не смѣемъ думать, чтобы г. Станицкій дѣйствительно вѣрилъ въ существованіе приторно-идеальнаго нѣмца башмачника, — уродливаго Горбуна, Клеопатры и другихъ фантастическихъ призраковъ, являющихся въ „Трехъ странахъ свѣта“. Въ этомъ романѣ, о которомъ мы упоминаемъ только по родственной связи его съ „Мертвымъ Озеромъ“, все явнымъ образомъ написано по рецепту. Взять *какого-нибудь физическаго* или моральнаго урода, сочинить

котораго не стоитъ большого труда, заставить его преслѣдовать неистовой любовью или неистовой враждой нѣсколько бѣдныхъ невинностей, которыя сочиняются такъ же легко, перепутать эту интригу безконечными похожденіями разныхъ лицъ, связанныхъ судьбою съ уродомъ или съ невинностями, развести все это водою описаній разныхъ мѣстностей, сладкихъ изліяній и проч.,— и выйдетъ Вѣчный Жидъ, Мартынъ Найденышъ, Старый Домъ, Мертвое Озеро или Три страны свѣта: манера во всѣхъ такихъ произведеніяхъ всегда одинаковая; ее нельзя назвать иначе, какъ малеваньемъ на скорую руку; о созданіи тутъ не заботятся — все хорошо, что попадется подъ руку, что даетъ воображеніе. Извѣстное дѣло, что нѣтъ ничего легче, какъ придумать фантастическіе призраки или списывать повседневныя, часто грязноватыя явленія, не углубляясь въ ихъ смыслъ, не повѣряя ихъ анализомъ: въ первомъ случаѣ стоитъ только рисовать рѣзкими штрихами, брать черты погрубѣе, сочинять невѣроятныхъ злодѣевъ или разныхъ женщинъ—пантеръ, львицъ и тигрицъ; во второмъ—просто-на-просто разсказывать различныя происшествія, благо ихъ много бываетъ на свѣтѣ.

„Мертвое Озеро“ начато такъ, что авторы и не потрудились даже скрыть рецепта, по которому они его составляли. На первомъ же планѣ два молодыхъ, разумѣется, невинныхъ существа, которыя любятъ другъ друга, и разлучитель двухъ любящихъ сердецъ, неизбѣжный злодѣй de rigueur, разумѣется, старикъ, разумѣется, съ сумрачнымъ видомъ, съ неистовыми страстями. Несправедливо было бы, впрочемъ, сказать, чтобы только и было въ двухъ частяхъ перваго тома, что эти неизбѣжныя лица, съ ярлыками на лбу, — нѣтъ! иногда попадаются очерки характеровъ живыхъ, иногда проглядываютъ и умъ, и наблюдательность, и даже талантъ; но все это потрачено задаромъ, все это перемѣшано съ общими мѣстами.

Попытаемся разсказать содержаніе двухъ частей перваго тома романа, который, по всей вѣроятности, протянется на цѣлый годъ журнала. Мы будемъ слѣдить за нимъ постоянно и преимущественно обращать вниманіе на хорошія

его стороны, если таковыя будутъ, изъ уваженія къ дарованію одного изъ его авторовъ: выставивши нашъ общій взглядъ на подобныя фабрикаціи, мы, конечно, не отступимся отъ него, но желая сохранить все возможное безпристрастіе, не упустимъ изъ виду хорошихъ частностей.

Дѣйствіе романа начинается гдѣ-то въ глуши. Первыя лица, съ которыми знакомятъ насъ авторы,—дѣвушка, разумѣется, необыкновенно граціозная, по ихъ описанію, и не совсѣмъ похожая на Полиньку „Трехъ странъ свѣта“,—старичокъ съ кроткимъ лицомъ, дѣдушка героини, высокая женщина, распространяющая вокругъ себя какой-то паническій страхъ, злая и суровая въ отношеніи ко всѣмъ, нѣжная до болѣзненной раздражительности къ своему воспитаннику, и, наконецъ, этотъ воспитанникъ—высокій мальчикъ, повѣса и музыкантъ. Высокая женщина держитъ нѣсколько подъ гнетомъ старика и дѣвушку, высокій мальчикъ и дѣвушка сообща обманываютъ ее и безсознательно уже любятъ другъ друга. Настасья Андреевна—имя высокой женщины,—не всегда, впрочемъ, была такою злою и суровой, какой является она въ первой сценѣ романа; и для нея была пора надеждъ, пора расцвѣта, и она, можетъ быть, таила въ себѣ залоги лучшей жизни—даже и теперь, въ ея страсти къ музыкѣ, въ ея любви къ Петрушѣ отзываются воспоминанія прошедшаго. Авторы разсказываютъ ея исторію. Она взросла подъ властію скупой и злой мачихи: нѣмецъ-музыкантъ—лицо въ родѣ идеальнаго нѣмца-башмачника „Трехъ странъ свѣта“, безкорыстный до нелѣпости и снабженный всѣми возможными добродѣтелями, развилъ въ ней страсть къ искусству, мечталъ создать изъ нея великую артистку, влюбился въ эту мечту и вмѣстѣ, самъ того не зная и даже не подозрѣвая, влюбился въ свою ученицу. (Sic!) Настасья Андреевна тоже, сама того не подозрѣвая, влюбилась въ него: взаимное отношеніе разъяснилось для нихъ только при прощаньи, прощанье же произошло вслѣдствіе того, что мачеха видѣла яснѣе ихъ дѣло. Оторванная насильственно отъ первыхъ и притомъ *свѣжихъ впечатлѣній*, Настасья Андреевна быстро сошла *въ грязь повседневной* жизни, точно такъ же быстро, какъ

въ „Необдуманномъ Шагѣ“ Таня обращается изъ доброй и простой дѣвочки въ отвратительную бабу. Ясно, что всѣ подобные переходы возможны только въ повѣстяхъ, да притомъ только въ такихъ, которыя пишутся наскоро, а никакъ уже не въ дѣйствительности. Страшно обмелѣть, даже и совсѣмъ изсякнуть можетъ въ человѣкѣ источникъ лучшаго бытія — но много и нужно для того, чтобъ онъ обмелѣлъ и изсякъ. Кромѣ того, намъ не нравится здѣсь идеальное лицо нѣмца-музыканта и его приторная любовь, равно какъ и самая сцена прощанія, принадлежащая къ сентиментальному роду. Видно, однимъ словомъ, что нѣчто, не совсѣмъ старое и избитое, бродило въ головѣ авторовъ, когда они сочиняли исторію Настасьи Андреевны, но недостатокъ ли художнической любви къ задуманному образу, другое ли что помѣшало выполненію мысли, и вышла вся исторія какъ-то вяла, безцвѣтна.

Исторія другихъ лицъ, старика и дѣвушки, обработана нѣсколько поискуснѣе. Братъ Настасьи Андреевны, человѣкъ съ сумрачнымъ видомъ и нахмуренными бровями, идя за процессіей богатыхъ похоронъ, случайно попалъ въ провожатые бѣднаго гроба, за которымъ шла дѣвушка лѣтъ пятнадцати съ старухой кухаркой. Ѳедоръ Андреевичъ тронулся ея горестью, выспросилъ у кухарки, кто онѣ такія, и узналъ, что дѣвушка доводится ему родственницей, что у нея есть дѣдушка, двоюродный братъ его по женской линіи. Онъ пріютилъ безпріютныхъ бѣдняковъ. Все, что слѣдуетъ уже дальше, совершенно сообразуется съ рецептомъ для сочиненія многотомныхъ романовъ. Дѣвушка, которую зовутъ Аня, любитъ Петрушу, воспитанника Настасьи Андреевны; Ѳедоръ Андреевичъ влюбляется въ Аню любовью Горбуна къ Полѣ, или пожалуй извѣстнаго лица Парижскихъ Тайнъ къ Сесили, и когда Аня отказывается на-отрѣзъ выйти за него замужъ, онъ выгоняетъ ее изъ дому вмѣстѣ съ ея дѣдомъ, грозитъ имъ бѣдностью и провожаетъ ихъ, какъ обыкновенно заведено въ подобныхъ случаяхъ, язвительной улыбкой. Все, какъ видите, обстоитъ благополучно; первый актъ мелодрамы обѣщаетъ въ *будущемъ много* похожденій гонимой добродѣтели. Мертваго

озера покамѣстъ еще не видать даже и на самомъ заднемъ планѣ декорацій, но, что оно будетъ непремѣнно, въ этомъ можно быть заранѣе увѣреннымъ.

Замѣтимъ только одно, что характеръ Ани, къ крайнему нашему удовольствію, не похожъ на характеръ Полиньки „Трехъ Странъ“. Въ ней нѣтъ скучной сентиментальности, и напротивъ много капризной причудливости, много совершенно женскаго желанія повластвовать, выказать свое вліяніе на мужчину. Такою, по крайней мѣрѣ, является она въ борьбѣ съ Настасьей Андреевной, въ отношеніяхъ съ Ѳедоромъ Андреевичемъ: вообще, кажется, въ созданіи этого характера не трудно признать манеру автора „Пасѣки“. Есть что-то сходное съ Бѣлкою въ Анѣ новаго романа.

* * *

*) Въ третьей части романа мы знакомимся съ новыми лицами.—Въ городѣ NN живетъ прачка Настасья Кирилловна, у нея есть дочь Катя, изъ опасенія за судьбу которой она вышла замужъ за отставного унтеръ-офицера Купріяныча. Купріянычъ женился на прачкѣ по слухамъ, что у нея есть деньги, но, обманувшись въ разсчетѣ, не оробѣлъ: онъ твердо сказалъ, „что знать ничего не хочетъ, женился для спокойствія, и не намѣренъ работать“. Единственный предметъ его любви, попеченія и нѣжности — коты, и въ особенности черный котъ, къ которому онъ обращается съ вопросами, восклицаніями, сужденіями насчетъ сварливой жены. Любовь прачки обращена, напротивъ, исключительно на дочь. „Прачка даже видѣла сонъ, что Катя ея выросла, и одѣтая въ богатое шелковое платье танцуетъ съ офицерами; сама же она сидитъ въ хорошемъ обществѣ и пьетъ самый крѣпкій чай“. Отношенія между ею и мужемъ очерчены прекрасно.

Между тѣмъ, на улицѣ, около чистенькаго дома бродитъ молодой человѣкъ въ шинели. Въ окно подвала прачки взглянули мы покамѣстъ случайно, вмѣстѣ съ нимъ. Молодой человѣкъ — актеръ провинціальнаго театра, зани-

*) (А.) „Москвитянинъ“ 1851 г., № 6 (2-я мартовская книга).

мающій роли первыхъ любовниковъ, застѣнчивый и неловкій, отличающійся качествами своими отъ другихъ своихъ собратій: „На чужой счетъ онъ жить не умѣлъ. У него никогда недоставало духу навязываться въ трактирѣ къ какому-нибудь купцу или театралу, и платить за угощеніе домашними тайнами актрисъ“. Онъ былъ сынъ богатаго купца, по смерти отца прожуировалъ состояніе, и, по совѣту актера Остроухова, вступилъ на сцену подъ именемъ Мечиславскаго. Характеръ странный и, къ сожалѣнію, нисколько не поясненный, тогда какъ Остроуховъ, напротивъ, совершенно поясненъ.

„Остроуховъ былъ талантливѣйшій актеръ въ городѣ и любимъ публикой, но невоздержность дѣлала его жалкимъ. Голосъ его былъ постоянно хриплый, память исчезла; роли онъ никогда не зналъ. Содержатель театра держалъ его единственно для обстановки пьесъ и дѣльныхъ совѣтовъ, которые онъ иногда давалъ молодымъ актрисамъ и актерамъ“.

День дебюта былъ замѣчательнымъ днемъ въ жизни Мечиславскаго. Театръ былъ полонъ. „Его вызвали нѣсколько разъ; вызывая и хлопая, друзья думали поквитаться съ погибшимъ черезъ нихъ, и радовались, что совѣсть ихъ теперь навсегда очищена“. Но жизнь за кулисами не полюбилась Мечиславскому, онъ не охотно шелъ въ театръ, и скоро сталъ равнодушенъ къ вызовамъ и рукоплесканіямъ.

„Онъ проклиналъ своего друга Остроухова, зачѣмъ тотъ втянулъ его въ эту кипящую жизнь, гдѣ вѣчно шумъ, смѣхъ, клеветы, зависть, лицемѣріе. Въ эти минуты, онъ сознавалъ вполнѣ свое ничтожество, и его отчаяніе доходило до страшной степени. Припадокъ оканчивался обморокомъ—а на другой день Мечиславскій, очнувшись, ничего не помнилъ; только тоска его душила, и онъ не выходилъ изъ дома“.

Такъ шло до тѣхъ поръ, какъ на театръ вступила новая артистка Любская. О ней никто ничего не зналъ; пріѣхавъ въ городъ, она явилась сама къ содержателю театра и объявила ему, что желаетъ дебютировать. Публика осталась отъ нея въ восторгѣ, но противъ нея начала интриговать *первая любовница* Ноготкова—лицо крайне напоминающее

Раису Минишну Сурмилову въ водевилѣ: „Левъ Гурычъ Синичкинъ“. Мечиславскій влюбился въ Любскую, играя съ нею вмѣстѣ—и сталъ учить свои роли. Онъ началъ даже ревновать ее, особенно, когда въ кофейной одинъ сочинитель указалъ ему на виднаго мужчину, который, проходя мимо, громко сказалъ, обращаясь къ двумъ молодымъ людямъ:—Господа! вечеромъ къ Любской: я дома.

На театральной пробѣ отношенія Любской къ ея соперницамъ обозначаются ясно. Надобно сказать, что всѣ сцены закулиснаго быта отличаются необыкновенною правдою въ романѣ. Соперницы Любской, разумѣется, всѣ бездарныя и устарѣлыя актрисы, имѣющія однако же и вѣсъ въ театрѣ и толпу поклонниковъ. Изъ нихъ въ особенности рѣзко выдаются—Ноготкова, о которой мы уже упоминали, Деризубова, толстая и старая женщина, небрежно одѣтая, ухватками и лицомъ очень похожая на торговокъ, продающихъ картофель, съ наглыми движеніями и наглой рѣчью—и Орлеанская. Послѣдняя въ особенности обрисована удачно: она „имѣла единственный даръ такъ кричать, что за кулисами всѣ боялись ея: а на сценѣ, въ патетическихъ мѣстахъ, ей иногда удавалось даже голосомъ своимъ производить эффектъ. Она вмѣшивалась во всѣ сплетни, вѣчно ссорилась и черезъ своего мужа имѣла голосъ у содержателя театра и любителей. Она льстила тѣмъ, въ комъ видѣла выгоду, и тотчасъ начинала притѣснять ихъ, когда только добивалась своей цѣли. Несмотря на то, что у нея было огромное семейство, она имѣла претензію на молодость и красоту. Какъ драматическая актриса, играя часто герцогинь и разныхъ важныхъ дамъ, она пріобрѣла привычку ходить съ необыкновенной торжественностью—мѣрно, тяжеловѣсно, глядѣть важно; но не очень честные поступки и льстивыя слова не соотвѣтствовали ея величавой осанкѣ“. На пробѣ, гдѣ главный интересъ всѣхъ—новыя сплетни Ноготковой,—Мечиславскому дѣлается дурно, и его выносятъ безъ чувствъ.

Вслѣдъ затѣмъ мы знакомимся съ новымъ лицомъ—провинціальнымъ театраломъ Калинскимъ, разорившимся бари*номъ пожилыхъ лѣтъ*—наводящимъ разными искусственными

средствами румянецъ на лицо. Хотя это лицо напоминаетъ нѣсколько графа-покровителя искусствъ въ водевилѣ „Левъ Гурычъ Синичкинъ“—но въ романѣ „Мертвое Озеро“ оно вышло не такъ карикатурно. У Калинскаго, хоть онъ и разорился отъ *любви къ искусству*, — все дышитъ комфортомъ и привычками порядочнаго человѣка. Одинъ только столъ въ его кабинетѣ, „на которомъ стояло до десяти женскихъ портретовъ, въ характерныхъ костюмахъ и съ эффектными позами“ и на которомъ „башмаки танцовщицъ, браслеты, сухіе цвѣты, перчатки“ — свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ театралъ. Любская, отвергнувшая его искательства, имѣла въ немъ самаго злѣйшаго врага; онъ былъ главною пружиною непріятностей Любской и Ноготковой; равно и въ публикѣ, гдѣ устроивалъ всегда такъ, „что если Любская играла вмѣстѣ съ Ноготковой, то послѣднюю непремѣнно лишній разъ вызывали, а Любской даже шикали, хоть шиканьемъ могли только сердить публику, которая съ досады принималась рукоплескать Любской. Онъ также научалъ содержателя театра раболѣпствовать передъ всѣми любителями театра, потому что они сдѣлали ему большія вспомоществованія, не давать пьесъ, въ которыхъ Любская имѣла успѣхъ. Ноготковой сшили для новыхъ ролей—новые костюмы, а Любской перешивали старые“. Калинскій, впрочемъ, не прочь и помириться съ Любской: случай скоро представляется. Любской измѣнилъ поклонникъ ея Данкевичъ, и первый, извѣстившій ее объ измѣнѣ, былъ Калинскій. Онъ писалъ ей, что одинъ господинъ, прикидывающійся преданнымъ ей, поднесъ Ноготковой въ день именинъ браслетъ съ надписью: „Завистницъ имѣла—соперницъ не знала“. Страшную пытку должна была вытерпѣть Любская на репетиціи, гдѣ ее дразнили этимъ браслетомъ;—между тѣмъ она совладѣла съ собою,—она разсматривала браслетъ, смѣялась, шутила... Но, разумѣется, она, провинціальная актриса и въ добавокъ еще полная женскаго самолюбія, внутри души не могла остаться равнодушною.

„Уходя съ пробы, Остроуховъ пожалъ Любской руку и съ гордостью сказалъ:—Если ты будешь такъ продолжать, *вспомни меня*—ты сдѣлаешься замѣчательной актрисой.

Эта похвала вызвала слезы, которыя изобильно потекли по щекамъ Любской; выраженіе лица ея и всей фигуры было такъ убито, что Остроуховъ, сажая ее въ карету, строго сказалъ:

— Неужели ты не имѣешь гордости и приходишь въ отчаяніе отъ такихъ вещей, на которыя должно отвѣчать смѣхомъ, какъ ты и сдѣлала?.. Знаешь-ли, что веселость лучшее и самое вѣрное мщеніе?.. Будь весела, поѣзжай куда-нибудь, гдѣ бы тебя могли видѣть веселой,— однимъ словомъ, сдѣлайся актрисой сегодня не за кулисами, не на сценѣ, освѣщенной лампами, а при дневномъ свѣтѣ.

— Мнѣ скучно! мнѣ тяжело! — проговорила Любская, закрывая лицо руками.

— Вздоръ! Ты должна быть сегодня веселой.

И захлопнувъ дверцы, Остроуховъ велѣлъ кучеру ѣхать въ модный магазинъ на главной улицѣ города, сказавъ Любской:

— Ради Бога, купи къ завтраму себѣ какую-нибудь обнову. Проба въ двѣнадцать часовъ“.

Остроуховъ знаетъ окружающую его дѣйствительность: съ горемъ пополамъ онъ сжился съ нею; больше даже: онъ, такъ сказать, самъ окунулся въ нее по уши—но обиліе таланта и непосредственной доброты уберегло въ его натурѣ одно превосходное качество: способность привязываться собачьей привязанностью ко всему сколько-нибудь чистому и сколько-нибудь болѣе благородному, нежели всѣ его окружающіе. Вотъ почему привязался онъ горячо къ Мечиславскому и Любской, хотя не идеализируетъ себѣ ни того ни другой. Превосходенъ разсказъ его о томъ, когда онъ сдѣлался актеромъ. Въ этомъ человѣкѣ — все непосредственно; — онъ самъ не знаетъ ни объема ни рода своего дарованія, — а между тѣмъ, такъ и видно, что въ немъ погибъ ни за копейку одинъ изъ яркихъ талантовъ. Прежде онъ былъ суфлеромъ. „Сначала—говоритъ онъ—я и не думалъ, что у меня есть талантъ, хоть часто, когда сидишь, бывало въ суфлерской будкѣ и подсказываешь роль, *такъ вотъ и казалось бы*, что самъ лучше бы сыгралъ. Ну *вотъ разъ пріѣхала наша* труппа въ одинъ городъ, наняла

сараи и стала ужъ превращать въ театръ. Все было ужъ готово: вотъ я разъ вышелъ съ пробы—у самыхъ сѣней меня останавливаетъ женщина, чисто одѣтая и въ шляпкѣ, но мнѣ совершенно незнакомая и очень красивая. „Не надо-ль вамъ актрисы?“—спросила она меня,— ну точь въ точь, какъ мужики, бывало, спрашивали, когда устраиваемъ сарай: не надо-ль плотника?“

Съ этой женщиной онъ разыгрывалъ роли—съ ней вступилъ онъ на сцену. Содержателю театра сначала не понравилось, что Остроуховъ хочетъ оставить суфлерство: потому что онъ отлично умѣлъ подсказывать актерамъ, которые, бывало, едва на ногахъ стоятъ—потомъ, онъ былъ внѣ себя отъ радости, когда дебюты Остроухова и его ученицы произвели фуроръ.

Остроуховъ любилъ по своему — грубо, но страстно, и разсказъ его о двухъ женщинахъ, изъ которыхъ одну побилъ въ припадкѣ неистовой ревности, а другая, надоѣвши ему своею ревностью, заблагоразсудила бѣжать съ почтовой станціи—проникнутъ правдою и страстью. Много еще вѣры сохранилось въ этой сильной натурѣ, вѣры дѣтской, вѣры наивной. Вотъ, напримѣръ, какъ разсуждаетъ онъ, спившійся съ кругу актеръ, презирающій самого себя, не уважающій даже искусства, сидя надъ спящимъ Мечиславскимъ: „И сонъ-то твой лишенъ пріятности: солнце рѣжетъ тебѣ глаза, если думаетъ освѣтить нашу каморку. Развѣ такъ надо ему жить? Надо, чтобъ его окружала роскошь, чтобъ онъ могъ весь погружаться въ искусство; я дѣло другое—на сценѣ я разыгрываю людей ничтожныхъ или погибшихъ; публика аплодируетъ мнѣ за вѣрное изображеніе ихъ, не зная того, что сойдя со сцены, я сниму только лохмотья и шапку паяца, смою бѣлила, а возвращусь домой все такимъ же погибшимъ человѣкомъ. Онъ же занимаетъ роли людей чистыхъ, съ гордою душой, не знающихъ другихъ страданій, кромѣ страданій своего сердца. Онъ долженъ быть совершенство и нѣжность, предъ нимъ всѣ преклоняются, онъ герой на сценѣ“.

Между тѣмъ, Остроуховъ нисколько не идеалистъ—и въ людей онъ не вѣритъ, не вѣритъ даже въ Любскую. Робко

и нерѣшительно говоритъ онъ ей, что Мечиславскій въ нее влюбленъ, — и когда показалось ему, что Любская этимъ оскорбилась, онъ готовъ проклинать себя за опрометчивое слово.

— „Я, дуракъ, вовсе не думалъ, что говорилъ, прости, ну прости. И онъ съ искренностью протянулъ руку. Любская подала ему свою.

— *Ну, вотъ люблю, не злющая,*—тихо произнесъ онъ и, сказавъ: прощай, ушелъ въ большомъ волненіи“.

Онъ доволенъ даже и тѣмъ, что Любская не озлилась на него — такъ уже привыкъ онъ къ грязи всего окружающаго!

Любская точно такъ же хорошо очерчена въ романѣ. Она горда и самолюбива. Она готова ѣхать даже къ Калинскому, котораго искательства она отвергла, и ѣдетъ къ нему просить за дочь прачки, съ которой домашнимъ бытомъ познакомились мы въ началѣ третьей части романа, — но при свиданіи съ Калинскимъ, она не можетъ удержаться отъ злой иронiи надъ пожилымъ обожателемъ. Она добра и благородна по натурѣ—не любя Мечиславскаго, она однако рѣшается принимать его, и вооружаетъ этимъ противъ себя всѣхъ театраловъ. Противъ нея и Мечиславскаго составляется заговоръ: они ошиканы. Мечиславскій съ горя заболѣваетъ опасно—и въ болѣзни разсказываетъ, что зналъ въ Петербургѣ дѣвушку, жившую со старикомъ, хотѣлъ на ней жениться, но она говорила: „Нѣтъ, этого нельзя: я васъ не люблю, какъ должна будетъ любить васъ жена“. Вы догадываетесь, что эта дѣвушка — Аня, что она же и Любская.

Зачѣмъ эти мелодраматическіе эффекты? Зачѣмъ ходульность въ характерѣ Мечиславскаго? Зачѣмъ вообще вся эта смѣсь самыхъ обыденныхъ пошлостей или приторнаго идеализма съ очерками смѣлыми, живыми, новыми—съ частностями, изъ которыхъ многія въ полномъ смыслѣ прекрасны—начиная отъ домашняго быта прачки до закулисныхъ *сценъ* и до горничной Любской, исполненной чувства *собственнаго достоинства* и не хотящей служить у Любской,

потому что та принимаетъ Мечиславскаго, — отъ котовъ Купріяныча до ласкательствъ, расточаемыхъ актерами Ноготковой.

* * *

*) Романъ, какъ видно, пишется пріемами—долженъ быть читаемъ пріемами, и разбираемъ такимъ же способомъ. О внутренней связи, о психологической задачѣ авторы не заботятся; произведеніе ихъ весьма удобно можетъ быть начато съ какой угодно части, или прочтено, какъ восточныя рукописи, отъ конца къ началу.

Волею судебъ, замѣняемыхъ въ настоящихъ случаяхъ гг. Станицкимъ и Некрасовымъ—мы перенесены въ деревню Овинищи, и знакомимся съ нѣсколькими новыми героями. Это бы еще ничего, да вотъ бѣда въ чемъ: вмѣсто ловкихъ очерковъ характеровъ, вмѣсто лицъ, взятыхъ изъ дѣйствительной жизни, какія попадались часто въ предшествовавшихъ отдѣлахъ „Мертваго Озера“, показываются безобразныя, странныя фигуры, которыхъ дюжины найдутся въ дюжинныхъ произведеніяхъ гг. Сю, Дюма, Феваля. Значитъ, наблюдательность авторовъ истощилась, и принужденные прибѣгнуть къ источникамъ изобрѣтенія, они прямо обращаются къ loci topici. Замѣтимъ прежде всего, что образъ слагается не изъ однѣхъ только внѣшнихъ чертъ, что напутайте вы сколько угодно этихъ чертъ, возьмите у одного человѣка носъ, у другого глаза, у третьяго руки, у четвертаго походку, привычки и т. д.—выйдетъ—не личность, а составъ, и между тѣмъ, насилуемое воображеніе ничего другого дать не можетъ. Самое легкое дѣло — сочинять такихъ оригиналовъ, которые всѣ состоятъ изъ странныхъ и рѣзкихъ чертъ, не связанныхъ никакимъ внутреннимъ единствомъ, или сцѣпленныхъ чужою мыслію. Процессъ такого рода *творчества* можетъ быть объясненъ весьма легко. Есть, напримѣръ, въ романѣ Сю: „Вѣчный Жидъ“—старикъ Дагоберъ, честный солдатъ, всю жизнь заботящійся о преслѣдуемыхъ судьбою и людьми малюткахъ: отъ чего

*) (А). „Москвитянинъ“ 1851 г., № 9 и 10 (Майская книжка).

же не быть ему и въ сочиняемомъ по рецепту романѣ? Давайте же сочинять сызнова Дагобера, даже двухъ Дагоберовъ, если одного мало. Сочинить же весьма удобно: взять ту же самую моральную основу характера, изобрѣсти странныя привычки, и все, что слѣдуетъ, перенести склеенныя лица въ деревню Овинищи, разсказать ихъ образъ жизни, домашнія занятія, сообщить имъ интересъ посредствомъ какой-нибудь тайны—и вотъ готова шестая часть романа — три съ половиною печатныхъ листа въ новую книжку журнала.

Въ селѣ Овинищахъ живутъ помѣщикъ Алексѣй Алексѣичъ Кирсановъ, да управляющій его Иванъ Софронычъ Понизовкинъ, да староста ихъ Епифанъ Стефановъ — лица, которыя преимущественно заботятся о полномъ удовольствіи проѣзжающихъ, строятъ разныя зданія и красятъ ихъ всѣми возможными красками для того, чтобы проѣзжающіе подивились, и чтобы заѣхавшій засѣдатель назвалъ подобный способъ крашенія рококо, — чѣмъ неимовѣрно утѣшаются Алексѣй Алексѣичъ и Иванъ Софронычъ.

„И съ той поры часто, Алексѣй Алексѣичъ, любуясь дивнымъ зданіемъ, или наслаждаясь эффектомъ его на проѣзжающихъ, вдругъ улыбнется, оглянется и выразительно, протяжно произнесетъ:

— Рококо!

И въ ту же минуту, откуда-нибудь изъ амбара, чулана или погреба, послышится въ отвѣтъ ему такой же выразительный мѣрный и счастливый голосъ:

— Рококо!

Но не одними такими только, поистинѣ аркадскими, удовольствіями занимаются Алексѣй Алексѣичъ и Иванъ Софронычъ. У нихъ есть страсть ѣздить въ городъ и покупать все, что увидятъ на торгу или на улицѣ — покупать вещи совершенно излишнія и даже вовсе не годныя—на основаніи двухъ правилъ: „Не пролежитъ мѣста“ и „кому не надо, столько-то дастъ“. Правда, что бываютъ иногда въ людяхъ такого рода страсти, правда, что страсть какъ страсть, въ ея отвлеченіи подмѣчена авторами довольно вѣрно, но въ *Алексѣѣ Алексѣичѣ* и Иванѣ Софронычѣ она обязана своимъ

происхожденіемъ случайной прихоти: мы, читатели, не знаемъ и не видимъ изъ предшествовавшихъ данныхъ психологическаго развитія героевъ, откуда она вышла. Что внѣшнія проявленія такой страсти описаны очень ловко, это доказывается слѣдующею сценою, единственною, съ которою мы намѣрены познакомить отчасти читателей нашего журнала:

„Идетъ ли солдатъ съ бритвами, везутъ ли старую двуспальную кровать, торчитъ ли между старымъ хламомъ упраздненная вывѣска, эстампы ли какіе завидятъ они на прилавкѣ, несетъ ли баба рукавицы, до всего было дѣло нашимъ пріятелямъ,—все торговали и покупали они.

— Эй, тетка! Продажныя что-ли?—спрашивалъ Алексѣй Алексѣичъ, увидавъ бабу съ рукавицами.

— Продажныя, батюшка,—отвѣчала баба, останавливаясь.

— А что просишь?

— Да девять гривенокъ, батюшка.

— Девять гривенъ!—съ ужасомъ восклицалъ Алексѣй Алексѣичъ.

— Девять гривенъ! — повторялъ съ такимъ же ужасомъ Иванъ Софронычъ.

И оба они взглядывали на старуху, какъ на помѣшанную.

— А то какъ-же, кормильцы?—говорила она. — Ужли не стоятъ? Да ты погляди, какой товаръ-то!

И старуха принималась выхвалять рукавицы. Покупатели молча и терпѣливо выслушивали длинную похвальную рѣчь.

— Такъ, такъ,—лишь изрѣдка иронически замѣчалъ Иванъ Софронычъ.

Алексѣй Алексѣичъ, вертя своей тростью и стараясь какъ можно глубже вонзить ее въ землю, казалось, погруженъ былъ въ постороннія мысли, и когда старуха, наконецъ, умолкла, онъ вдругъ совершенно неожиданно спрашивалъ ее:

— А что, тетка, есть на тебѣ крестъ?

Старуха широко раскрывала изумленные глаза, крестилась и произносила:

— Что ты, батюшка? Ужли безъ креста? Православная да безъ креста!

— Ну, такъ какъ же? И не стыдно? Девять гривенъ просить за штуку, которая и половины не стоитъ.

— Что ты, кормилецъ! Ужъ и половины! Да тутъ одного товару на полтину.

— На полтину!—съ ужасомъ восклицалъ Алексѣй Алексѣичъ. — На полтину!—съ такимъ же ужасомъ повторялъ Иванъ Софронычъ“.

Алексѣй Алексѣичъ и Иванъ Софронычъ служили въ одномъ полку и связаны крѣпко солдатской дружбой, свычкой да еще какой-то тайной, о которой они то и дѣло напоминаютъ читателямъ. Они занимаются пересмотромъ разнаго стараго хлама—и долго бы продолжали они утѣшаться такою аркадскою забавою, укрѣпляя себя въ трудахъ утѣшительною мыслію и пропущеніемъ въ горло чижика, т. е. рюмки водки,—если бы не помѣшало имъ появленіе злой жены Ивана Софроныча. Иванъ Софронычъ женился на ней не по собственному побужденію, а частію по волѣ судебъ, частію по внушеніямъ командира, хотѣвшаго непремѣнно женить его, во что бы то ни стало. Ѳедосья Васильевна не всегда, впрочемъ, была злою и больною бабою; въ такое состояніе перешла она изъ сентиментальной перезрѣлой дѣвы. Женитьба Ивана Софроныча и въ особенности первая встрѣча его съ суженою описаны съ чрезвычайною претензіею на оригинальность, не вызывающей, впрочемъ, смѣха, а возбуждающей непріятное чувство, какъ всякая плохая, ученическая карикатура. Вотъ такія-то изобрѣтенія различныхъ странныхъ приключеній относимъ мы къ весьма легкимъ способамъ извѣстной рутины. Пошлый комизмъ, основанный на однѣхъ только ни изъ чего не выведенныхъ странностяхъ,—по нашему мнѣнію, столько же непріятенъ, какъ пошлый мелодраматизмъ, которымъ отличается все остальное шестой части романа. Алексѣя Алексѣича во всѣхъ его черезъ-чуръ ужъ эксцентрическихъ стремленіяхъ къ покупкамъ останавливаетъ Иванъ Софронычъ напоминаніемъ объ какомъ-то Александрѣ Ѳомичѣ. Оба они отыскиваютъ какого-то Ваню и за этимъ ѣздили даже въ Петербургъ. Но Алексѣй Алексѣичъ, купивши разъ диковинную коляску, которую тотчасъ же по покупкѣ въ ознаменованіе

ея прочности назвалъ желѣзною,— былъ послѣ прогулки на „желѣзной“ притащенъ на носилкахъ, похворалъ, да и отдалъ Богу душу, послѣ многихъ весьма трогательныхъ разговоровъ съ Иваномъ Софронычемъ, который надъ трупомъ его совершенно превратился въ короля Лира надъ трупомъ Корделіи. Въ завѣщаніи своемъ покойникъ отказалъ ему платье и разныя вещи, заставивши портного еще задолго прежде передѣлать по мѣркѣ роста и стана Ивана Софроныча, а этого послѣдняго увѣряя, что платье передѣлываетъ самъ для себя. Наслѣдники, собравшіеся получать послѣ покойника деньги, обманулись въ своихъ ожиданіяхъ: кромѣ распоряженій насчетъ разнаго стараго хлама и дворовыхъ людей, ничего не было въ завѣщаніи.

Вотъ содержаніе шестой части Мертваго озера, вотъ ея лица, если можно назвать лицами эти неполные, блѣдные или фантастическіе очерки. Да! Чуть, было, не забыли, что у Ивана Софроныча есть дочь Настя, которая любитъ его и боится злой матери. Признаемся откровенно, что, прочитавши этотъ отдѣлъ романа, мы начинаемъ сильно подозрѣвать, что запасъ наблюденій авторовъ уже истощился, что начинается уже рутинерскій трудъ, что, наконецъ, скоро появится и само Мертвое Озеро,— и тѣмъ болѣе непріятно намъ подозрѣвать все это, что мы надѣялись такихъ же хорошихъ частностей, съ какими знакомили мы нашихъ читателей, разсматривая содержаніе первыхъ частей. Богъ съ ними, съ этими добродѣтельными деревянными куклами — Иваномъ Софронычемъ и Алексѣемъ Алексѣичемъ,—Богъ съ ними потому, что они явнымъ образомъ существуютъ не сами по себѣ и не сами для себя, а только какъ пружины мелодраматической интриги. Богъ съ ними и съ странными ихъ привычками, до которыхъ никакого дѣла нѣтъ читателю, и съ ихъ тайною, которую такъ наивно навязываютъ они общему вниманію. Мы желали бы съ своей стороны присутствія одной только тайны въ романѣ — тайны творчества, но какъ видится изъ дѣла, должны остаться при тщетномъ желаніи и терпѣливо выносить всевозможныя авторскія штуки, заимствованныя изъ Вѣчнаго Жида, Мартына Найденыша и другихъ праздныхъ произведеній. Увѣрены только

напередъ, что въ пошломъ искусствѣ придумывать и совокуплять различные эффекты авторы Мертваго Озера далеко отстанутъ отъ своихъ образцовъ, какъ отстали уже отъ нихъ въ „Трехъ странахъ свѣта“.

Изъ „Москвитянина“ за 1851 г.

* * *

*) Привычка безпрестранно нырять въ современныхъ литературныхъ лагунахъ дала мнѣ силы кинуться, зажмуривъ глаза, въ Мертвое Озеро и благополучно проплыть всѣ пятнадцать поприщъ этой мутной, грязной и стоячей воды... Теперь позвольте мнѣ передать вамъ хоть сотую часть впечатлѣній моего труднаго плаванія,— труднаго, въ самомъ дѣлѣ, потому что Озеро и мелко и поросло разными гадкими травами...

Въ одной деревушкѣ живутъ братъ съ сестрою; у нихъ, у каждаго, на воспитаніи по ребенку,— разумѣется, по закону противоположности, у брата — дѣвочка, у сестры — мальчикъ. Вы ужъ улыбаетесь на счетъ мальчика и дѣвочки!.. Ну, право, нынче нѣтъ возможности писать романы; читатели сдѣлались страшно догадливы; съ первыхъ словъ знаютъ, чего имъ ожидать! Конечно, Петруша и Аня полюбили другъ друга — это такъ. Помѣщикъ, у котораго они воспитывались, Ѳедоръ Андреевичъ, замѣтивши эту любовь, ужасно разсердился; онъ былъ въ самой порѣ мужчина, дѣвушкѣ было лѣтъ шестнадцать... Вы опять угадываете, отчего онъ разсердился! Да, онъ влюбленъ въ Аню и хочетъ на ней жениться, — но не женится — ждетъ, пока Петруша вырастетъ. Такъ они живутъ—живутъ, долго и скучно, оттого что ростъ Петруши очень тяжелъ: онъ растетъ не по страницамъ, а по главамъ, такъ что едва въ концѣ второй части вырастаетъ настолько, что Ѳедоръ Андреевичъ можетъ приличнымъ образомъ выпроводить его на Кавказъ и тотчасъ же, видя неизмѣнную рѣшительность Ани выйти за него замужъ, выгоняетъ и ее изъ дому. Аня уѣзжаетъ въ Петербургъ. Тутъ въ нее влюбляется одинъ

*) *„Библіотека для Чтенія“* 1852 г., т. 112, отд. V. (Статья И. П.).

провинціальный актеръ и увозитъ въ провинцію, гдѣ и поставляетъ Аню на театръ, а самъ, замученный несчастною и безнадежною любовью, умираетъ, къ величайшему удовольствію читателя, котораго мучилъ своею болѣзнію цѣлыя шесть главъ. Тутъ во время представленія является Ѳедоръ Андреевичъ, подъ названіемъ *мрачнаго господина*, и видитъ на сценѣ Любскую — театральная фамилія Ани. — „*Мрачный господинъ впился въ нее своими суровыми глазами, и лицо его то покрывалось блѣдностью, то вспыхивало; руки его дрожали, онъ ими протеръ глаза*“. Но Любская исчезла. Она, неизвѣстно отчего, ужасно испугалась Ѳедора Андреича, и скрылась, да не только отъ него, но и отъ читателя, и является только въ третьемъ томѣ, въ четырнадцатой части, черезъ тридцать четыре главы!.. Такой страшный этотъ Ѳедоръ Андреичъ! А, кажется, чего бы трусить! Что онъ могъ бы съ ней сдѣлать въ городѣ, среди людей, съ свободной актрисой, тогда какъ и въ деревнѣ, въ своемъ домѣ, онъ ничего же ей не сдѣлалъ!.. Но пусть себѣ Аня испугалась и скрылась; мы очень рады, что она поторопилась, потому что тѣмъ оканчивается пятая часть, а съ нею и первый томъ.

— Какъ,— скажете вы,— тутъ всѣ происшествія перваго тома? Что же написано въ этихъ пяти частяхъ на 260 страницахъ объемистаго размѣра? — Что написано? А натура?.. А анализъ! Э! Тутъ вездѣ такъ и пахнетъ *современностью!* Я еще удивляюсь, какъ такъ мало вышло! Начните-ка описывать хоть одинъ день вашей жизни: сколько разъ вы прошлись по комнатѣ, сколько разъ улыбались и какъ: *иронически, язвительно* или *пугливо*, или *любезно;* сколько разъ подходили къ окну, къ столику... Посмотрите, сколько наберется! А тутъ народу куча: и актрисъ, и актеровъ, и кухарокъ ихъ, и прачекъ, кого тутъ нѣтъ! Притомъ же они рыдаютъ и плачутъ взапуски; *хнычутъ* на разные манеры; кухарки, кромѣ того, и *фыркаютъ!..*“ (Далѣе слѣдуютъ выписки изъ романа)...

„Мы пропустимъ второй томъ и раскроемъ третій, въ которомъ является Любская; она встрѣтилась на дорогѣ съ *какимъ-то* помѣщикомъ и поступила въ гувернантки, учить

его дѣтей по-русски,— авторы сочинили для своей героини небывалое въ Россіи мѣсто, — но ревность помѣщицы выгнала Любскую изъ дому. Вы скажете, хозяйка приревновала ее къ мужу. Совсѣмъ нѣтъ, это была самая кроткая и снисходительная жена; она приревновала ее не къ мужу, а къ господину Тавровскому, красавцу, богачу неимовѣрному. Тавровскій увозитъ Любскую въ свою деревню, и они живутъ тамъ преспокойно два года. Вдругъ Тавровскій, испугавшись сплетней, уѣзжаетъ за границу, не простившись съ Любской,— ударъ жестокій. Любская съ отчаянія поступаетъ въ актрисы и богато живетъ въ Петербургѣ. Тавровскій возвращается въ столицу, проматывается и потомъ ѣдетъ въ деревню поправлять состояніе, какъ будто въ деревнѣ растутъ милліоны. Тутъ онъ прогуливается на берегу озера, которое называется *Мертвымъ*, оттого что одинъ крестьянинъ, спившись съ кругу, утопилъ въ немъ свою жену. Во время прогулокъ Тавровскій встрѣчаетъ двухъ цыганокъ и влюбляется въ одну изъ нихъ. Озеро начинаетъ разыгрываться:—вотъ будетъ исторія?—Вовсе нѣтъ, цыганки эти не цыганки, а только дочери цыганки, одна изъ нихъ дочь сосѣда Тавровскаго, наслѣдница пятисотъ душъ и одиннадцати милліоновъ денегъ, а другая—ея горничная. Мать этой наслѣдницы бросилась въ Мертвое Озеро, оттого что отецъ ея дочери хотѣлъ жениться. Тутъ, разумѣется, съ обѣихъ сторонъ загораются сердца. Люба — имя наслѣдницы — сватается за Тавровскаго, а тотъ, какъ самый изящный левъ, таскавшійся за всѣми умницами, и любитъ ее, и не любитъ, и хочетъ на ней жениться, и не хочетъ, а между тѣмъ уѣзжаетъ въ Петербургъ. Люба за нимъ. Объявлена свадьба. Тутъ Любская является къ невѣстѣ съ разными объясненіями насчетъ Тавровскаго. Люба чуть держится на ногахъ, въ совершенномъ отчаяніи, но такъ какъ тутъ не отчего приходить въ отчаяніе, да притомъ же Любская опять является къ ней уже съ извиненіями, то дѣла пошли своимъ порядкомъ; но Любская обѣщала Тавровскому извиниться передъ Любой съ условіемъ, *чтобы онъ ужиналъ* у нея наканунѣ свадьбы. Все устроено *злыми людьми такъ*, что Люба могла посмотрѣть въ ще-

лочку на этотъ ужинъ. Кончено все. Она уѣзжаетъ въ деревню. Это бы еще ничего, да Тавровскому сказали, что Люба влюблена въ цыгана, ея молочнаго брата, а надобно замѣтить, что въ этомъ романѣ всѣ герои ужасно послушны, легковѣрны и сговорчивы; слушаются всѣхъ и вѣрятъ всякимъ пустякамъ! Тавровскій тотчасъ летитъ въ деревню, мирится притворно съ невѣстой, назначаетъ день свадьбы и передъ самымъ вѣнчаніемъ уѣзжаетъ за границу, оскорбивъ невѣсту самымъ грубымъ письмомъ. Невѣста приходитъ въ отчаяніе, и отправляется по принадлежности въ Мертвое Озеро. Тавровскій возвращается изъ за границы, живетъ—живетъ и умираетъ такимъ ужаснымъ образомъ, что авторы не взялись описывать его. Видно, смерть послѣдовала не въ натурѣ вещей, въ родѣ донжуановской, а то она была бы описана такимъ же натуральнымъ манеромъ, какъ описана смерть одного Алексѣя Алексѣевича, который умираетъ такъ скучно и такъ длинно, что читатель начинаетъ сомнѣваться насчетъ собственнаго своего благополучія. Что же Любская? — Погодите; дверь отворилась, и въ нее вошелъ пожилой мужчина съ загорѣлымъ лицомъ, съ бѣлыми усами, голубые его глаза были подернуты слезой, и онъ въ волненіи снялъ свою шапку. Одна нога его была короче другой.

— „Вы меня не узнали? — трепещущимъ голосомъ спросилъ посѣтитель.

Любская тревожно впилась своими смѣлыми глазами въ его лицо. (Еще бы краснѣть въ концѣ такого романа!).

— Аня!—дрожащимъ голосомъ, нетерпѣливо произнесъ онъ.

Любская пронзительно воскликнула „Петруша!“ и упала безъ чувствъ въ его объятія“.

Нечего сказать, въ самую пору явился къ Анѣ Петруша. Послѣ довольно грязной исторіи Ани, уморительно слышать отъ нея:

— „А я... что могу я сказать? Ты сражался съ дикими, а я *защищалась* противъ соблазновъ общества, въ которое *кинули обстоятельства* твою *бѣдную* Аню! О, *сколько я выстрадала*, сколько вынесла! Но чтобъ жить

честно и не быть никому обязанной, я рѣшилась сдѣлаться актрисой!“ Играть въ карты, жить открыто въ великолѣпной квартирѣ и обирать карманы своихъ поклонниковъ— это необходимо само собою прибавляется къ трогательной рѣчи госпожи Любской.

Черезъ два мѣсяца они обвѣнчались. Аня покупаетъ дорогіе наряды, увѣряя мужа, что они стоятъ только четверть настоящей цѣны, и запираетъ отъ него водку. Герои, достойные романа въ пятнадцать частей!

Независимо отъ этой исторіи, въ романѣ тянется другая, еще скучнѣе первой. Вотъ она: Алексѣй Алексѣевичъ былъ на войнѣ. Его ротный командиръ умираетъ на полѣ сраженія и проситъ его покорнѣйше, во-первыхъ, сыскать его сына, который или недавно, или вовсе еще не родился; во-вторыхъ, отдать ему значительную сумму денегъ. Алексѣй Алексѣичъ вышелъ въ отставку, поселился въ деревнѣ, ѣздилъ раза два въ Петербургъ искать Ваню — это сынъ ротнаго командира — и померъ. Управлявшій его деревнею Иванъ Софронычъ явился въ Петербургъ, потомъ получилъ мѣсто управляющаго въ имѣніи Тавровскаго, потомъ воротился опять въ Петербургъ, потомъ игралъ съ нимъ въ банкъ, прослылъ богачомъ и ужаснымъ скрягой, потомъ поссорился съ Тавровскимъ, потомъ является къ нему одинъ неизвѣстный ему молодой человѣкъ и проситъ у него сорокъ тысячъ рублей, такъ, безъ залога, изъ состраданія. Кто жъ этотъ молодой человѣкъ? Какъ вы думаете?... Это тотъ самый интересный сынъ ротнаго командира!... только не Ваня, а Генрихъ. Онъ приказчикомъ у одного табачнаго фабриканта, посланъ былъ съ деньгами на ярмарку и со всею готовностью дозволилъ себя обобрать тамъ какимъ-то мошенникамъ. Да, мы забыли сказать, что у Тавровскаго есть двоюродный братъ Гриша, а у Ивана Софроныча дочь Настя; остальное, я увѣренъ, вы знаете. Вотъ Иванъ Софронычъ, истратившій часть денегъ, принадлежащихъ Генриху, пришелъ въ совершенное отчаяніе. *„Ни отецъ, ни дочь не ложились въ эту ночь“*. Иванъ Софронычъ объявилъ Гришѣ, что онъ выдастъ за него Настю,—къ чему и прежде не предстояло никакихъ

препятствій,—если онъ достанетъ денегъ. Явились деньги, а какимъ образомъ, объ этомъ очень темно говорится въ романѣ, или, можетъ быть, потемнѣло въ безконечныхъ объясненіяхъ, не помню; только вслѣдствіе сего, Гриша женится на Настѣ, а Генрихъ бѣжитъ стремглавъ къ фабриканту отдать ему деньги, и женится на какой-то Сашѣ; да, той самой, которой онъ когда-то помогъ поднять вязанку дровъ.

Вотъ содержаніе двухъ послѣднихъ томовъ или десяти частей романа. По какой же методѣ составились эти томы изъ такихъ скудныхъ данныхъ? Что тутъ мудренаго, помилуйте! съ помощью *натурально-аналитичной* кисти, можно изъ лужи размалевать озеро“... (Слѣдуютъ выписки изъ романа).—„Теперь вы знаете, что такое „Мертвое Озеро“. Неправда ли заглавіе необыкновенно остроумно!.. Натуральные персонажи этого романа двухъ разрядовъ: собственно такъ называемыя лица и, съ позволенія сказать, хари. Лицъ въ этомъ романѣ немного: Тавровскій съ теткою, Аня съ Петрушей, Иванъ Софронычъ съ Ваней или Генрихомъ, Гриша съ Настей, Люба съ цыганомъ—вотъ и всѣ; да и примѣты ихъ описаны вовсе не казисто: глаза голубые, носъ посредственный, подбородокъ круглый и только; зато харь цѣлая куча, и нарисованы онѣ самою роскошною, самою эффектно-натуральною кистью“... (Слѣдуютъ выписки изъ романа).

„Вотъ еще что насъ удивило — это страшные пропуски въ романѣ, напримѣръ, какъ поживала Любская съ Тавровскимъ въ его деревнѣ; какъ Ѳедоръ Андреичъ спустилъ съ рукъ свое состояніе — объ этомъ не сказано ни слова, а, вѣдь, не можетъ быть, чтобъ они въ это время не *шагали* по комнатамъ, не улыбались *иронически, язвительно* и *любезно*. Для подробнаго донесенія обо всемъ этомъ авторамъ слѣдовало пригласить третье лицо, вѣдь, tres faciunt collegium! Можно было бы пораскопать эти отмели и, навѣрное, въ „Мертвомъ Озерѣ“ прибавилось бы воды еще частей на пять.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о языкѣ романа; о слогѣ нечего говорить — его нѣтъ въ этомъ *сочиненіи*; тутъ

только слова, соединенныя между собою иногда довольно уродливо; это какая-то канитель изъ подлежащихъ, сказуемыхъ и связокъ, не возбуждающая въ читателѣ никакого движенія, кромѣ зѣвоты... Вотъ вамъ горсть бурмицкихъ зеренъ, которыми пересыпанъ весь чудный романъ: „Онъ ничего не слыхалъ, и оставался въ *задумчивой позѣ*“. „Всѣ присутствующіе *мѣнялись удивленными* взглядами и *пожатіемъ плечъ*, казалось, лишась способности говорить“. „Она оставалась въ *полулежачей позѣ*“. „Онъ тогда разсердился, *что былъ вечеръ*, а мы теперь пойдемъ утромъ. Да и тебѣ, вѣдь, ужъ двадцать лѣтъ“. „*Туалетъ* Ани *износился*“. „Крупныя слезы, падающія на нихъ (на клочки письма) *припечатывали* ихъ къ столу“. (Новый способъ печатать письма, и очень дешевый). „Пробило *съ громомъ* семь часовъ“. „Я иначе не возьму мѣста, какъ по сосѣдству *васъ*“. „Настасья Андреевна облила руку старухи горькими *нервическими* слезами“. „Она расхаживала по двору съ нѣсколькими *дворовыми лицами*“. „*Тяжелая и подавляющая* тишина *царила* въ комнатѣ“. „Аня, *уткнувшись* въ окно, не переводя дыханія, слушала рѣшеніе своей судьбы“. (Надо замѣтить, что лица „Мертваго Озера“ въ патетическихъ мѣстахъ тотчасъ уткнутъ свою голову куда попало, кто въ книгу, кто въ картину, кто въ фуражку и думаютъ, подобно страусу, что ихъ никто не видитъ!). „Наступили *слезовыя* времена“. „Пушку, отвѣчалъ Иванъ Софронычъ, ну насчетъ пушки *проштыкнулся*! Да и то еще можетъ и не совсѣмъ *проштыкнулся*“... „Ну что *разнюнился*! сказала она мужу“. Но мы предоставляемъ самому читателю поохотиться на „Мертвомъ Озерѣ“ за дичью; мы только предупредимъ его, что тамъ она водится большими стаями; это между-прочимъ показываетъ, что одинъ изъ *сочинителей* въ особенномъ разладѣ со вкусомъ и русскимъ языкомъ...

Но неужели во всемъ этомъ *сочиненіи* нѣтъ ни одной остроты, ни одной новой мысли, ни одного оборота? Да, на 780 страницахъ, хоть невзначай можно бы сказать что-нибудь интересное, промолвиться какъ-нибудь! Нѣтъ, *сочиненіе вѣрно своему* заглавію: „Мертвое Озеро“ — ни капли *живой воды*. *Притомъ* же одинъ изъ авторовъ занятъ жур-

наломъ, вотъ гдѣ надобно остроуміе! Впрочемъ, и въ „Мертвомъ Озерѣ“ водятся остроты, только своего рода... Напр.: „Аня взглянула на цвѣтокъ, понюхала его и немного запачкала себѣ носъ. Петруша залился смѣхомъ и, сорвавъ себѣ лилію, напачкалъ тоже носъ“.

„Иногда Аня оставалась одна съ угрюмымъ Ѳедоромъ Андреевичемъ; тогда она походила на маленькую болонку, запертую въ одну клѣтку со львомъ. Чувствуя инстинктивно громадную силу звѣря, собаченка, однакожъ, лаетъ на него, теребитъ его за гриву, вызывая на бой, а потомъ отъ одного его сердитаго взгляда прячется дрожа въ уголъ и визжитъ. Такъ-то и Аня“.

Эта острота заимствована у Зама.

„Съ перваго взгляда низенькую и широкую комнату можно было принять за корабль; веревки были растянуты по всѣмъ направленіямъ, а висѣвшее на нихъ бѣлье покачивалось, какъ паруса“.

„— Ты слышала о Деризубовой“.

„— Да, да! ха, ха!“

„Настя отрѣзала ему такой пучокъ своихъ чудесныхъ волосъ, какого не соберешь со всей головы иной петербургской красавицы“.

Впрочемъ, это единственное пожертвованіе, которое сдѣлала Настя своему возлюбленному, а то она обыкновенно отдѣлывалась одними рыданіями.

„— Чего нннн.... ддо? жуя спросилъ ужинающій“.

А вотъ еще острота, схваченная съ натуры. „Напррроррррочила! мрачно повторялъ Иванъ Софронычъ“.

Вотъ вамъ, милостивые государи, самая современная эстетическая критика на самое современное *сочиненіе*... Такъ какъ это образцовое произведеніе современнаго направленія нашей беллетристики—chef d'oeuvre натуральной школы—плодъ силы воли и силы фантазіи двухъ равномощныхъ поэтовъ (извѣстно, что теперь все, что ни производитъ фантазія—поэзія, а владѣтель фантазіи—поэтъ), то, къ сожалѣнію, мы и не знаемъ, кому именно слѣдуетъ *приписать* всѣ приведенныя нами достоинства „Мертваго

Озера"; но справедливость требуетъ раздѣлить ихъ пополамъ... Поздравляемъ господъ Станицкаго и Некрасова съ благополучнымъ окончаніемъ утомительнаго плаванія.

Изъ „Библіотеки для Чтенія" за 1852 г.

Стихотворенія.

*) Стихотворенія г. Некрасова представляютъ совершенный контрастъ со стихотвореніями Огарева; трудно найти стихотворца, который былъ бы меньше поэтъ, чѣмъ Некрасовъ. Но несмотря на это, въ г. Некрасовѣ никакъ нельзя отрицать стихотворческаго таланта. Оттого именно и удивляешься стихотворческому таланту г. Некрасова, что содержаніе его стихотвореній самое непоэтическое и часто даже антипоэтическое. Читая его стихотворенія, изумляешься, какимъ образомъ авторъ ухитрялся вколотить въ стихотворческую форму ultra-прозаическое содержаніе... Но есть у г. Некрасова два стихотворенія, истинно поэтическія: *„Когда изъ мрака заблужденья"* и *„Если мучимый страстью мятежной"*. Стихотвореніе: *„Когда изъ мрака заблужденья"* — просто превосходно...

Многимъ очень нравится *„Огородникъ"* г. Некрасова. Но *„Огородникъ"*, равно какъ и *„Ѣду ли ночью по улицѣ темной"*, производитъ слишкомъ непріятное впечатлѣніе. Ибо въ томъ и другомъ стихотвореніи выражаются ненормальныя, уродливыя явленія жизни, которыхъ должно избѣгать въ поэзіи.—Г. Некрасовъ—талантъ не глубокій и не долговѣчный. Справедливость требуетъ замѣтить, что стихотворенія г. Некрасова совершенно оригинальны: онъ рѣшительно никому не подражаетъ, особенно въ своихъ шуточныхъ произведеніяхъ. Правда, его оригинальность слишкомъ часто переходитъ въ дикость, но, вѣдь, и дикость своего рода оригинальность.

Б. Алмазовъ.

* * *

**) Вѣрные старымъ обычаямъ, невольному уваженію къ

*) *Эрастъ Благонравовъ* (Б. Н. Алмазовъ). „Москвитянинъ" 1852 г., № 17, т. V, отд. VIII.

**) *Ап. Григорьевъ*. „Москвитянинъ" 1855 г., № 15 и 16.

стиху, къ мѣрной рѣчи, „къ рѣчи боговъ“—уваженію, которое въ насъ, воспитавшихся на Пушкинѣ, сохранилось, несмотря на пародіи Новаго поэта, не поколебалось отъ стиховъ г. Некрасова и иныхъ, мы начнемъ съ поэзіи и поэтовъ—тѣмъ болѣе, что въ книжкахъ журналовъ стихи стали опять conditio sine qua non, въ подражаніе „Москвитянину“, который за нихъ былъ предметомъ насмѣшекъ. Поэтовъ теперь у насъ не мало, и, что всего лучше, не мало поэтовъ истинно даровитыхъ, поэтовъ ученыхъ и поэтовъ самоучекъ; не мало также и стихотворцевъ совсѣмъ бездарныхъ или погубившихъ свой маленькій даръ постояннымъ напряженіемъ, стихотворцевъ опять-таки и ученыхъ и самоучекъ. Въ настоящую минуту мы имѣемъ довольно яркую плеяду лириковъ безспорно даровитыхъ и отличающихся особенностью, своеобразностью лиризма, каковы Хомяковъ, Майковъ, Мей, Фетъ, Огаревъ, Павлова, Растопчина, Бергъ, имѣемъ довольно замѣчательные задатки дарованій менѣе яркихъ, но безспорно же призванныхъ, задатки, свидѣтельствуемые многими стихотвореніями, разбросанными по журналамъ, имѣемъ не бездарнаго поэта-самоучку, г. Никитина, хотя его дарованію и придается нѣкоторыми черезъ-чуръ много значенія. Во всякомъ случаѣ мы можемъ утѣшиться пріятными явленіями, отдыхать отъ больничныхъ произведеній г. Некрасова на стихахъ г. Фета, хотя сему послѣднему и должны высказать много упрековъ,—отъ псевдогреческихъ напряженій г. Щербины, къ несчастію, окончательно уже, кажется, изнурившаго свои способности, на литыхъ стихахъ Мея. Однимъ словомъ, въ этой области болѣе, чѣмъ въ другихъ, найдется явленій утѣшительныхъ, свидѣтельствующихъ о неистощимыхъ источникахъ лиризма въ душѣ человѣческой, даже въ нашу эпоху, въ которую чуть-чуть было не заподозрили самой законности лиризма. Время насмѣшекъ надъ лиризмомъ, кажется, миновалось. А время было странное, даже очень странное! Надъ поэзіею смѣялись, смѣялись преимущественно надъ всякимъ высшимъ лирическимъ настройствомъ души, все считая за звонкія фразы; столько же смѣялись надъ молодостью души, надъ кипучестью порывовъ, если

они являлись въ поэтѣ, и бѣда была поэту, въ которомъ эта молодость и свѣжесть сохранились, какъ въ покойномъ Языковѣ, котораго удивительнѣйшія, по стиху или по настройству, созданія, какова, напр., сказка „Жаръ-Птица", проходили незамѣченныя или осмѣянныя,—и бѣда была поэту, если кругозоръ его былъ шире и лирическое настройство выше, чѣмъ у другихъ, какъ у Хомякова,—и бѣда была поэту, если онъ, художникъ формы, недовольный бѣдностью обычныхъ риѳмъ, рѣшался на новыя смѣлыя риѳмы, какъ К. К. Павлова, — и бѣда была, наконецъ, поэту, если онъ высказывалъ русскую думу или русское чувство: дума Берга — надъ Синеусовымъ курганомъ, это, и по мысли, и по стиху *лѣтописному*, и по стройности отличное стихотворепіе—встрѣчено было смѣхомъ,—его трудъ, переводъ пѣсенъ многихъ, если не всѣхъ народовъ, въ началѣ своемъ встрѣченъ былъ опять-таки наглымъ смѣхомъ и по появленіи даже холодными и вмѣстѣ ученическими рецензіями. [Бѣда была поэтамъ въ это, теперь уже прошедшее, но недавнее время. Правиломъ поставлено было одобрять только такія поэтическія произведенія, въ которыхъ есть протестъ лермонтовскій, или болѣзненность гейневская, или, наконецъ, извѣстная степень ядовитости. Умъ въ стихотвореніяхъ считался выше таланта: снисходительно смотрѣли, если этотъ умъ являлся совсѣмъ голый, выступай онъ только самъ раздраженный и въ свою очередь раздражающій, и преслѣдовали талантъ, если онъ не допускалъ заднихъ мыслей въ свои вдохновенія: все, однимъ словомъ, что не брало въ руки метлу или другое какое-либо полезное орудіе — клеймилось именемъ риѳмоплетства. Въ такую эпоху одна искренность была возможна— искренность душевнаго страданія — и одинъ поэтъ только уцѣлѣетъ изъ этой эпохи, Огаревъ. Онъ не кадилъ эпохѣ и также не создавалъ эпохи, но онъ по ней пришелся, и не виноватъ, что пришелся: безъ задней мысли облекалъ онъ въ гармоническіе звуки стоны своего разбитаго сердца— онъ пѣлъ такъ потому, что такъ ему пѣлось. Но другіе усиливались, напрягались такъ пѣть, доходя до самыхъ *безобразныхъ крайностей* въ этихъ напряженіяхъ, но ни-

когда не встрѣчая увѣщанія мудраго слова, которое могло бы ихъ остановить. Даже люди съ истиннымъ призваніемъ застарѣли въ своихъ недостаткахъ, потому что именно недостаткамъ-то и кадила критика, недостатки-то и поощряла. Другіе, болѣе добросовѣстные, если увидали крайности, въ которыя зашли, отреклись отъ нихъ, но вполнѣ отреклись и отъ своего поэтическаго призванія, ибо, когда они очнулись, то увидали, что дарованіе у нихъ избаловано, чувство отъ напряженія истощилось, искусство формы было пренебрежено. Вслѣдствіе такой эпохи, требовавшей отъ поэзіи непремѣнно протеста и терпѣвшей поэзію только за протестъ, явился и протестъ за поэзію, протестъ противъ протеста, но протестъ столько же ложный, какъ и то, противъ чего онъ боролся: это былъ протестъ за пластичность въ поэзіи противъ ироніи разочарованія, за красоту противъ безобразія, за формы противъ голаго ума, за природу противъ ядовитаго анализа—но природу онъ принялъ за матерію, въ красотѣ увидалъ одно тѣлесное, въ формахъ поклонился только формамъ, и выступилъ не слѣпой, какъ язычество, но надѣвшій на глаза повязку, не спокойно веселый, а неистовствующій, какъ вакханка, не просто талантливый, а причудливо талантливый. Онъ былъ новъ, и на минуту встрѣтилъ сочувствіе, но какъ новость мишурная—онъ палъ жертвою собственнаго напряженія.

Теперь, представьте себѣ поколѣніе, воспитавшееся на такихъ протестахъ — ибо ничего такъ не воспитываетъ молодыя души, какъ произведенія лирическія, легко понимаемыя, легко затверживающіяся, легко принимающіяся на почвѣ души,— и вы поймете, почему мы воюемъ съ ожесточеніемъ противъ этихъ протестовъ. Представьте вы себѣ, если вы человѣкъ, котораго эти протесты не касались, дѣвушку, читающую вамъ съ паѳосомъ „Ѣду-ли ночью по улицѣ темной“, или, съ другой стороны, юношу, который съ восторгомъ повторяетъ:

Я лукаво глядѣлъ на нее,
Говорилъ ей лукавыя рѣчи,
Пожирая глазами ея
Неприкрытыя бѣлыя плечи.

Мы беремъ дѣло не съ нравственной, а только съ эстетической стороны: этими напряженными выраженіями самыхъ крайнихъ и рѣдкихъ скорбей или животненныхъ поползновеній, выраженіями, пренебрегающими стихомъ, языкомъ, или ищущими постоянно формъ поярче, порѣзче, красокъ погуще, — надолго, если не навсегда, подрывается въ душѣ возможность наслажденія истиннымъ, стройнымъ, спокойно изящнымъ. Что, напримѣръ, послѣ того молота, которымъ съ плеча бьетъ чувство г. Некрасовъ въ приведенномъ нами стихотвореніи, въ которомъ совмѣщены всѣ ужасы бѣдности, голода, холода -- и совмѣщены съ какимъ то удовольствіемъ, а не по необходимости — что послѣ этого молота подѣйствуетъ на ошеломленную душу? Какъ можетъ, съ другой стороны, понять красоту художественной пластичности Пушкина чувство, притупленное напряженными восторгами?.. Наконецъ, то, что въ геніи Лермонтова было новаго и что не досказалъ рано погибшій геній, доведенное до крайности подражателями, этотъ гордый протестъ, обращенный въ какое то ремесло, эта постоянная ходульность всякаго порыва, эта ироническая холодность отношеній къ жизни, обращенныя въ правило, не связанныя ни съ чѣмъ настоящимъ въ натурѣ — приближали къ пониманію истинно-поэтическаго или отдаляли отъ него, изощряли или портили чувство изящнаго? Вотъ вопросъ, который долженъ былъ задать себѣ всякій изъ насъ, переживший эту эпоху, болѣе или менѣе отозвавшійся на нее мыслію и чувствомъ и добросовѣстно повѣрившій мыслію и чувствомъ ея требованія. Самъ Лермонтовъ говорилъ:

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой
Еще невѣдомый избранникъ,
Какъ онъ же чуждый міру странникъ,
Но только съ русскою душой.

Еще не знаемъ мы, куда бы вынесла геніальнаго человѣка его русская душа: во всякомъ случаѣ, онъ не застылъ бы, не окаменѣлъ бы въ этомъ холодномъ и ядовитомъ протестѣ, какъ застыли и окаменѣли въ немъ его послѣдователи. Худшее въ этомъ было то, что окаменяли, от*ливали въ какое то* правило — минуту нравственнаго про-

цесса, и этимъ останавливали дальнѣйшія требованія души: едва ли не хуже еще было то, что усомнились въ жизненности души, въ неистощимости ея требованій и, стало быть, въ неистощимости лиризма. Скажутъ намъ, что мы взглянули на дѣло слишкомъ сурово — но, вѣдь, недавно еще миновалась эта эпоха, недавно еще избалованное чувство тѣшилось изображеніями нравственныхъ и физическихъ язвъ, недавно еще съ восторгомъ читались стихи г. Некрасова. Въ послѣдній разъ говоримъ мы о нихъ и о томъ направленіи, котораго они были несчастнымъ порожденіемъ; послѣднее стихотвореніе г. Некрасова внушаетъ также состраданіе къ этому умирающему направленію, что грѣхъ было бы его тревожить, что тронутые этимъ искренно грустнымъ стихотвореніемъ, мы оставимъ въ покоѣ другія произведенія того же писателя, недавно появившіяся, какъ-то: пѣснопѣніе о ражемъ Ванькѣ, который удавился съ горя, что не укралъ мѣшка денегъ, позабытаго купцомъ у него въ саняхъ, пѣснопѣніе о чиновникѣ, который доводитъ себя до чахотки, трудясь для нарядовъ жены, пѣснопѣніе о матери, оплакивающей сына, и имѣющее претензію на большую ядовитость. Повторяемъ опять, что насъ слишкомъ растрогало слѣдующее стихотвореніе, относящееся лично къ г. Некрасову.

Я сегодня такъ грустно настроенъ,
Такъ усталъ отъ мучительныхъ думъ,
Такъ глубоко, глубоко спокоенъ
Мой больной раздражительный умъ,
Что недугъ, мое сердце гнетущій,
Какъ-то горько меня веселитъ.
Въ стрѣчу смерти грозящей, идущей
Самъ пошелъ-бы... Но сонъ освѣжитъ—
Завтра встану и выбѣгу жадно
Въ стрѣчу первому солнца лучу—
Вся душа встрепенется отрадно
И мучительно жить захочу.
А недугъ, сокрушающій силы,
Будетъ также и завтра томить,
И о близости темной могилы
Также внятно душѣ говорить.

Всякій укоръ долженъ нѣмѣть передъ видимою безотрадностью такого стихотворенія. Отъ души желаемъ г. Некрасову болѣе спокойнаго настройства; дай Богъ, чтобъ оно было поворотомъ къ лучшему, къ болѣе спокойному взгляду на жизнь, — чтобы, какъ минута нравственнаго процесса, оно принесло плодъ, — ибо, не находя поэзіи въ стихахъ г. Некрасова, доселѣ напечатанныхъ, кромѣ стихотворенія къ падшей женщинѣ, къ которой съ такою вѣрою въ человѣческую душу онъ обращается, — мы тѣмъ не менѣе не можемъ не видать въ самыхъ напряженіяхъ его натуры— способности мыслить и чувствовать глубоко, стремленій къ добру и правдѣ, и, стало быть, не можемъ не желать искренно, чтобы мучительный нравственный процессъ, котораго несчастнымъ плодомъ были многія антипоэтическія произведенія — разрѣшился болѣе свѣтлымъ и спокойнымъ состояніемъ духа, въ которомъ только и возможна и законна поэтическая дѣятельность *).

Ап. Григорьевъ.

---

*) Еще см. критич. статьи о Некрасовѣ 50-хъ годовъ въ слѣд. изданіяхъ „Москвитянинъ“ 1851 г., т. II, стр. 156, 165 — 168 (о „Бесѣдѣ журналиста съ подписчикомъ“; заглавіе пьесы потомъ измѣнено—въ „Дѣловой Разговоръ“). „Современникъ“ 1856 г., т. 60, стр. 1—12. „Журналъ для дѣтей“ (изд. М. Чистякова) 1858 г., № 3, стр. 39—42 (разборъ стих. „Несжатая Полоса“); тоже № 46, стр. 721—726 (разборъ стих. „Школьникъ“); тоже 1859 г., № 46, стр. 726—735 (о стихотвор. „За городомъ“). Сѣверная Пчела“ 1859 г., №№ 237 и *254 (статьи* А. Надеждина о редакціи „Современника“).

Примѣч. *В. Зелинскаго.*

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1861 г. *)

**) Г. Некрасовъ, какъ поэтъ, давно пріобрѣлъ заслуженную любовь русской публики—и первое изданіе его стихотвореній, раскупленное съ неимовѣрною быстротою, доказываетъ это какъ нельзя лучше. Но въ нашей критикѣ произведенія даровитаго поэта, до сихъ поръ, вызываютъ довольно разнорѣчивые толки. *Чисто-эстетическая* критика къ нему не благоволитъ очевидно, и еще не очень давно г. Аполлонъ Григорьевъ, извѣстный крайнею эксцентричностью своихъ критическихъ взглядовъ, объявилъ, что въ поэзіи Некрасова „чувствуется какая-то сила, но сила грубая и необработанная“. Несомнѣнно, однако же, то, что Некрасовъ открылъ въ нашей поэзіи новую струю, которая ни у кого не пробивалась съ такой полнотою и энергіей, и за это онъ пользуется глубочайшимъ сочувствіемъ критиковъ-публицистовъ по преимуществу. Эта новая струя — есть реальный и соціальный элементъ въ его поэзіи. Некрасовъ самъ [illegible]азалъ съ замѣчательной положительностью, что стыд [illegible]

..... въ годину горя
[illegible]расу долинъ, небесъ *и моря*
[illegible] ласку милой воспѣвать!

[illegible] „Музѣ“ въ „*Журналѣ* [illegible]“ [illegible] Чистя[illegible]
[illegible]

[illegible]ій Вѣстникъ“ [illegible]

Вслѣдствіе этого, онъ не избралъ подобныхъ предметовъ въ свои исключительныя вдохновенія, хотя, нужно сказать правду, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ отдается естественнымъ порывамъ любви къ женщинѣ и любви къ природѣ (какъ, напр., въ стихотвореніяхъ: „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“, „Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой“, также въ поэмѣ „Саша“)—онъ однимъ стихомъ умѣетъ выразить то, чего не выразилъ бы другой поэтъ въ цѣломъ слезливомъ посланіи. Сочувствія г. Некрасова хорошо опредѣляются въ лучшихъ его произведеніяхъ: „Поэтъ и Гражданинъ“, „Въ больницѣ“, „Несчастные“, „Праздникъ жизни — молодости годы“, „Убогая и Нарядная“, „Пѣсня Еремушки“, „Плачъ Дѣтей“, „Въ деревнѣ“, „Муза“, „Коробейники“ и проч., а также въ произведеніяхъ, упомянутыхъ нами выше. Любовь къ ближнимъ, низко стоящимъ на общественной лѣстницѣ, сила гражданскаго чувства и, наконецъ, замѣчательное чутье природы, быстро схватывающее всѣ ея рельефныя черты,—вотъ что даетъ притягательное свойство поэзіи г. Некрасова. Эти стороны особенно цѣнитъ въ немъ наше молодое поколѣніе.

А. Пятковскій.

* * *

*) Посмотримъ, какъ смотрѣлъ на свое призваніе самъ поэтъ. Это сдѣлать не трудно: Некрасовъ въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ высказалъ его необыкновенно искренно. Мы не причисляемъ къ этой категоріи извѣстной стихотворной диссертаціи: „Поэтъ и Гражданинъ“, которая, къ несчастію, такъ прославилась въ ущербъ другимъ истинно поэтическимъ стихотвореніямъ Некрасова. Мы не считаемъ этой диссертаціи взглядомъ поэта на свое призваніе. Въ самомъ дѣлѣ, съ какой стати намъ считать его за взглядъ поэта на самого себя, когда мы знаемъ нѣсколько стихотвореній въ этомъ родѣ, проникнутыхъ истиннымъ чувствомъ. Повторяемъ, намъ пьеса „Поэтъ и Гражданинъ“ представляется въ видѣ стихотворнаго упражненія на заданную те-

*) *Дм. Аверкіевъ.* „*Русскій* Инвалидъ“ 1861 г., № 289.

му: „доказать, что поэтъ долженъ быть также гражданиномъ и служить обществу; изложить сіе въ формѣ діалога между поэтомъ и гражданиномъ“. Дѣло, какъ извѣстно, въ томъ, что гражданинъ входитъ къ поэту, который „хандритъ и еле дышитъ“; гражданинъ, какъ и подобаетъ истинному гражданину, начинаетъ его бранить: зачѣмъ, дескать, не пишешь, а лежишь,—„лежать умѣетъ дикій звѣрь?“ Въ самомъ дѣлѣ, что же дѣлать поэту, какъ не писать, и доказательство тоже хорошо. Разговоръ продолжается; наконецъ, гражданинъ восклицаетъ: „проснись: громи пороки смѣло!“ Что-жъ отвѣчаетъ на это поэтъ? Увы! Онъ оплошалъ окончательно; скорѣй въ руки книжку Пушкина и говоритъ: читай, братецъ; гражданинъ принимается и читаетъ извѣстныя четыре строчки: „Не для житейскаго волненья“ и т. д.—Поэтъ по необъяснимымъ для насъ причинамъ приходитъ въ неописанный восторгъ; какъ будто эти строки уполномочиваютъ его ничего не дѣлать. Но всего замѣчательнѣе то, что и гражданинъ раздѣляетъ восторгъ поэта и, пользуясь столь удобнымъ случаемъ, начинаетъ говорить комплименты своему пріятелю. Сознаюсь откровенно, я ничего не понимаю въ этомъ дружескомъ разговорѣ; во-первыхъ, почему гражданинъ обратилъ вниманіе именно на заключительные стихи стихотворенія „Чернь и Поэтъ?“ Отчего этотъ гражданинъ счелъ за лучшее восхвалять своего пріятеля поэта, вмѣсто того, чтобы побранить его за дурной выборъ идеала поэта; онъ могъ бы, напримѣръ, прочесть ему изъ того же Пушкина параллель между поэтомъ и эхомъ; это было бы и короче и проще. Затѣмъ согласитесь, что въ этомъ гражданинѣ нѣтъ никакихъ истинныхъ гражданскихъ доблестей. Что это за восклицаніе, въ родѣ этого:

А что такое гражданинъ?
— Отечества достойный сынъ.

Согласитесь, что въ этомъ опредѣленіи нѣтъ ничего, кромѣ словъ, и поневолѣ вспомнишь слова этого же гражданина:

А третьи..... третьи мудрецы;
Ихъ назначенье—разговоры.

И что это за гражданинъ, который во время грозы

..... молчитъ и клонитъ
Покорно голову свою?

и въ заключеніе выдаетъ „за слово правды безпристрастной“ слѣдующую мудрую мысль:

Блаженъ болтающій (?) поэтъ,
И жалокъ гражданинъ безгласный.

Нѣтъ, поэтъ, которому приходится вмѣсто того, чтобы говорить правду, только болтать, — еще жалче безгласнаго гражданина. Послѣдняя тирада поэта лучшее мѣсто въ этой неудавшейся диссертаціи въ стихахъ; въ ней есть, по крайней мѣрѣ, хоть какое-нибудь чувство. Въ ней есть даже отвѣтъ на мнѣніе о блаженствѣ болтающаго поэта:

„Бичуя маленькихъ воришекъ
Для удовольствія большихъ,
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ
И похвалой гордился ихъ“.

Хотя гордиться, конечно, было нечѣмъ.

Но обратимся къ тѣмъ стихотвореніямъ разбираемаго нами поэта, въ которыхъ выразился его взглядъ на свое призваніе. Такими пьесами мы считаемъ: „Праздникъ жизни— молодости годы“ и „Муза“.

Вотъ что говоритъ поэтъ:

„Если долго сдержанныя муки,
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пишу: риѳмованные звуки
Нарушаютъ мой обычный трудъ.
Все жъ они не хуже плоской прозы,
И волнуютъ мягкія сердца,
Какъ внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица“.

И въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ про свою Музу:

„Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной,
Согбенная трудомъ, убитая кручиной,
Она пѣвала мнѣ—и полонъ былъ тоской
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой“.

Было высказано мнѣніе, и не разъ, помнится, что вся поэзія Некрасова беретъ свое начало отъ стихотворенія Пушкина „Хандра“. Признаюсь, мнѣніе это кажется мнѣ очень страннымъ; какъ могло случиться, что минутное болѣзненное настроеніе духа одного человѣка было нормальнымъ для другого? Что за вѣчная хандра? Такая хандра скорѣе бы наскучила и вѣрно не волновала бы мягкія сердца. Правда, что рѣдко, очень рѣдко промелькнетъ радостное чувство въ пѣсняхъ Некрасова, но не во все-же поэзія его лишена свѣтлыхъ и бодрыхъ мотивовъ? Нѣтъ, минутное расположеніе духа не можетъ породить поэта; нѣтъ, вѣрно, есть въ сердцѣ человѣческомъ такая ноющая струнка, которая заставляетъ видѣть во всемъ больше слезъ, чѣмъ радостей; и не только въ наше время, но и тогда, когда сіяетъ такъ жарко и призываемое поэтами „солнце правды“— и тогда найдется „забытая деревня“, — которой будутъ понятны эти стоны, волнующіе мягкія сердца,

„Какъ внезапно хлынувшія слезы
Съ огорченнаго лица“.

И въ этомъ-то, по нашему мнѣнію, и заключается гуманное поэзіи Некрасова. Справедливость, однако, заставляетъ прибавить, что подчасъ это чувство является у Некрасова въ нѣсколько шаржированномъ видѣ; такъ, напр., въ одномъ изъ стихотвореній, озаглавленныхъ „На улицѣ“, поэтъ, описывая, какъ Ванька чиститъ украдкою бляхи на своей кляченкѣ, „чтобъ сѣдока промыслить побогаче“, и дама набиваетъ волоса на полуплѣшивой головѣ, восклицаетъ къ нимъ:

„Вы пробуждаете не смѣхъ въ душѣ моей,
Мерещится мнѣ всюду драма“.

Сюда же слѣдуетъ отнести и просьбу объ устройствѣ запятокъ безъ гвоздей; нѣкоторые считаютъ эту тираду за аллегорію отношеній между богатымъ и бѣднымъ; можетъ быть это и правда, но аллегорія выражена, по нашему мнѣ*нію, не совсѣмъ* удачно.

Есть мнѣніе, что талантъ Некрасова началъ въ послѣднее время замѣтно упадать; мнѣ это кажется не совсѣмъ справедливымъ. Дѣйствительно, послѣдняя поэма его „Коробейники“ очень слаба, потому что не могутъ же составить поэмы нѣсколько удачныхъ стиховъ, напр., разсказъ Тихоныча о прежнихъ и новыхъ барахъ. Отсутствіе интереса разсказа еще болѣе становится замѣтнымъ вслѣдствіе отсутствія характеровъ; поэма, поневолѣ, становится растянутой; но въ нынѣшнемъ году напечатана пьеса „Крестьянскія Дѣти“, которую можно поставить между лучшими пьесами Некрасова. Дѣло въ томъ, что созданіе характеровъ не можетъ удасться Некрасову, а потому онъ напрасно принимается за поэмы; чувство же должно быть выражено сильно и сжато, иначе неминуема растянутость.

Перечислять всѣ лучшія, по нашему мнѣнію, пьесы,— не стоитъ; во-первыхъ, онѣ давно извѣстны читателю, а во-вторыхъ, о каждой изъ нихъ въ отдѣльности придется повторить то, что мы сказали вообще о пѣсняхъ Некрасова.

Некрасовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ поэтовъ, которые нравятся людямъ съ извѣстнымъ характеромъ, и эти люди любятъ своихъ поэтовъ со всею страстью. То же можно сказать и объ отношеніи общества къ Некрасову; значеніе его, безъ сомнѣнія, было гораздо больше лѣтъ 10—12 тому назадъ; тогда появленіе его стихотворенія было чуть ли не праздникомъ; но съ тѣхъ поръ прошло много времени; на насъ пахнуло свѣжимъ вѣтромъ. Но если значеніе Некрасова теперь и не такъ велико, то вспомнимъ, что онъ въ былое время псевдопатріотическихъ увлеченій, которымъ подвергся не одинъ русскій поэтъ, шелъ прямо и остался твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ.

Дм. Аверкіевъ.

* * *

*) ...Нѣтъ пощады у судьбы
Тому, чей благородный геній
Сталъ обличителемъ толпы,
Ея страстей и заблужденій.

*) *„Отечественныя Записки“* 1861 г., № 12.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооруживъ сатирой,
Проходитъ онъ тернистый путь
Съ своей карающею лирой.
Его преслѣдуютъ хулы:
Онъ ловитъ звуки одобренья
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Истина хотя и горькая, но несправедливая... по крайней мѣрѣ, въ отношеніи къ г. Некрасову. И мы очень рады, что она несправедлива — рады за наше общество, за нашу литературу въ настоящемъ случаѣ и за г. Некрасова, потому что здѣсь говорится о немъ. Гдѣ въ нашей литературѣ, напримѣръ, онъ встрѣтилъ „крики озлобленія“? Какіе кружки общества „преслѣдовали какого-нибудь сатирика хулами“, когда—

И вѣря и не вѣря вновь
Мечтѣ высокаго призванья,
Онъ проповѣдовалъ любовь
Враждебнымъ словомъ отрицанья?

Г. Некрасовъ это зналъ, и благо ему, что онъ это зналъ и крѣпко вѣрилъ въ „мечту высокаго призванья“, зналъ, что неправда, будто-бы

... Каждый звукъ его рѣчей
Плодитъ ему враговъ суровыхъ,
И умныхъ и пустыхъ людей,
Равно клеймить его готовыхъ.

Онъ зналъ, что ни умные ни пустые люди не были готовы клеймить у насъ сатириковъ и обличителей, несмотря на всевозможныя дрязги, и потому напрасно давалъ волю реторическому лиризму, будто

Со всѣхъ сторонъ его клянутъ,
И только трупъ его увидя,
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ
И какъ любилъ онъ ненавидя!

Кого общество и народъ больше помнятъ: тѣхъ ли, кто за него страдалъ, или тѣхъ, кто эгоистически хлопоталъ только о своей славѣ?—Вопросъ въ нашей жизни и исторіи не только праздный, но и несправедливый. Такого предположенія и дѣлать нельзя.

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ *мало желчи,* много чувства (?)
. . . . . .
Ему сочувствіе въ толпѣ,
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо.
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ (?)—
Сей пытки творческаго духа;
Любя безпечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его коварно не злословятъ,
И современники ему
При жизни памятникъ готовятъ.

Мы останавливаемся на этомъ стихотвореніи потому, что оно очень характеристично для нашего времени, для нашихъ понятій объ искусствѣ и для нашей поэзіи. Всѣмъ извѣстно, что современники Пушкина именно тогда отъ него отвернулись, когда онъ сдѣлался спокоенъ и бросилъ „желчь“, замѣнивъ ее чувствомъ. Слѣдовательно, нужно было бы сказать наоборотъ: справедливость отдали Пушкину не современники, а потомство.

„Блаженъ незлобивый поэтъ...“ Но гдѣ и кто изъ нашихъ поэтовъ былъ незлобивъ? Гоголь, Лермонтовъ, Грибоѣдовъ? Нѣтъ. — Слѣдовательно, Пушкинъ? Повидимому, такъ думаетъ г. Некрасовъ. Онъ любилъ безпечность и покой? Онъ властвовалъ толпой?...

Что нужно для того, чтобы властвовать толпой? Нужна всегда истинная поэзія? И развѣ не бываетъ такихъ эпохъ, когда желчь замѣняетъ чувство, и „современники“ готовятъ памятники не поэтамъ, а желчнымъ стихотворцамъ при *жизни ихъ?*

Сколько вопросовъ! И не считайте эти вопросы празд-

ными. Они наши вопросы, вчерашніе и сегодняшніе. Пушкинъ жаловался на толпу—г. Некрасовъ жалуется на толпу; Пушкинъ жаловался, что толпа не понимаетъ искусства,—г. Некрасовъ жалуется, что толпа понимаетъ только искусство; Пушкинъ требовалъ чувства—г. Некрасовъ требуетъ желчи... Какое странное потемнѣніе и въ такой короткій періодъ времени! Здѣсь что-нибудь да не такъ. Понятія спутались, мы не понимаемъ сами себя и начинаемъ говорить загадки.

Однакожъ, наши загадки будутъ продолжаться на тему только-что выписаннаго нами стихотворенія. Въ немъ цѣлый трактатъ о поэзіи, трактатъ новый, не провѣренный критикой и основанный на новыхъ началахъ—желчи. Начала эти, какъ и стихотворенія г. Некрасова, успѣли утвердиться въ нашей литературѣ, помимо критики, минуя ея привязчивыя требованія, и одною силою обстоятельствъ, силою напора ихъ.—Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ до настоящаго времени оцѣнка таланта г. Некрасова? Ея нѣтъ. Раздавались изрѣдка въ литературѣ похвальные отзывы о немъ, на него возлагались надежды; „современники“, нисколько не сконфуженные стихомъ г. Некрасова, что „заживо готовятся памятники только незлобивымъ поэтамъ“, говорили: „если бы да не обстоятельства, мы имѣли бы случай видѣть нашего истиннаго поэта“, и эти скромные отзывы „современниковъ“ о своемъ поэтѣ замѣняли все: критику, похвалу, скромность и намекъ. Другіе, приведенные въ негодованіе намеками, старались отнять всякія достоинства у г. Некрасова. Мы не будемъ дѣлать ни того ни другого, а съ благодарностью возьмемъ то, что онъ предлагаетъ намъ прекраснаго, и укажемъ на то, что, по нашему мнѣнію, есть произведеніе одной желчи—новаго принципа въ поэзіи, котораго мы не признаемъ (мы старовѣры и признаемъ „чувство“), или что составляетъ сухой перечень „хорошихъ мыслей“, по мнѣнію современниковъ, но по нашему мнѣнію, не одно и то же, что поэзія.

По нашему мнѣнію, въ стихахъ г. Некрасова много дорогого для каждаго русскаго, кто пятнадцать лѣтъ, день-*за-день, переживалъ* и трудные и улыбавшіеся дни нашей

пестрой жизни. Чего-чего мы не видѣли въ эти пятнадцать лѣтъ, чего не переживали, какихъ надеждъ не хоронили!

Я молодъ, молодъ былъ тогда,
Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи,
Ласково любовь сулила
Мнѣ блага лучшія свои...

говоритъ г. Некрасовъ. Съ тѣхъ поръ многое перемѣнилось:

Склонила муза ликъ печальный
И, тихо зарыдавъ, ушла...

Но, перечитывая два томика стихотвореній г. Некрасова, замѣнившіе одинъ томъ, изданный въ 1856 году, мы вновь остановились на тѣхъ прекрасныхъ, свѣжихъ произведеніяхъ, въ которыхъ еще желчь не вступала въ права чувства и обличеніе—въ права искусства". (Приводится стихотвореніе: „Что ты жадно глядишь на дорогу"...)...

Если не ошибаемся, стихотвореніе это относится къ первымъ, полнымъ свѣжести произведеніямъ г. Некрасова и напоминаетъ намъ времена „Петербургскаго Сборника" или начала „Современника" 1847 года, когда еще Бѣлинскій правилъ русской литературой. Ему посвящено, такъ намъ кажется, стихотвореніе:

„Наивная и страстная душа,
Въ комъ помыслы прекрасные кипѣли,
Упорствуя, волнуясь и спѣша,
Ты честно шелъ къ одной высокой цѣли" и т. д.

Это горькое, но правдивое, хотя нѣсколько и прозаическое стихотвореніе, многимъ покажется невѣроятнымъ. Какъ могли относиться къ Бѣлинскому стихи:

„И о тебѣ не скажетъ ничего своимъ потомкамъ вѣтреное племя..." „Затеряна давно твоя могила, и память благодарная друзей дороги къ ней не проторила". А между тѣмъ *они вполнѣ справедливы...* были. Да, были, и, къ счастію, *теперь нельзя уже* повторить:

И о тебѣ не скажетъ ничего
Своимъ потомкамъ вѣтреное племя.

Но когда были напечатаны впервые эти стихи—до 1856 года—имя Бѣлинскаго *ни одного разу* со времени его смерти не было напечатано на страницахъ ни одного журнала. Кромѣ непріятной статьи г. Шевырева, появившейся тотчасъ послѣ смерти Бѣлинскаго въ „Москвитянинѣ“, да статьи Булгарина въ „Сѣверной Пчелѣ“, въ томъ же тонѣ, литература, сочувствовавшая Бѣлинскому, вынуждена была молчать... Темная завѣса надолго пала на нашу жизнь. Въ этой темнотѣ ничего не было видно; безъ свѣта и жизнь была безплодна, и всѣ силы тратились на то, чтобъ поддержать хоть подъ пепломъ священный огонь. Наступила пустота въ жизни.—

Ахъ! пѣснію моей прощальной
Та пѣсня первая была!
Склонила муза ликъ печальный
И, тихо зарыдавъ, ушла.
Съ тѣхъ поръ не часты были встрѣчи;
Украдкой, блѣдная, придетъ
И шепчетъ пламенныя рѣчи,
И пѣсни гордыя поетъ;
Зоветъ то въ города, то въ степи,
Завѣтнымъ умысломъ полна.
Но...

Но въ это время пѣсенъ не слышно было, хотѣлъ сказать г. Некрасовъ. Однако-жъ, въ этотъ промежутокъ, обнимающій большую половину перваго тома стихотвореній г. Некрасова, было написано много стиховъ. Мы останавливаемся съ любовью надъ тремя: „Въ деревнѣ“, „Несжатая Полоса“ и „Забытая Деревня“ — три поэтическія картины, волновавшія въ то время наше сердце и до сихъ поръ памятныя намъ... Онѣ стоятъ въ параллели съ тогдашнимъ направленіемъ всей нашей литературы, сдѣлавшей крестьянскій бытъ главнымъ мотивомъ своихъ произведеній, подъ вліяніемъ „Записокъ Охотника“ г. Тургенева. То было время, когда литература въ первый разъ съ гуманной точки

зрѣнія взглянула на этотъ бытъ. И этотъ-то гуманный взглядъ, явившійся въ поэтическихъ очертаніяхъ г. Тургенева, увлекъ всю литературу. Ему послѣдовалъ и г. Некрасовъ". (Приводятся стихотворенія: „Въ деревнѣ", „Несжатая Полоса" и „Забытая Деревня").

„Это былъ лучшій мотивъ тогдашней поэзіи, свѣжій, молодой и полный силъ. Онъ впервые явился въ поэтическихъ очертаніяхъ „Записокъ Охотника", хотя и прежде появлялся у г. Григоровича, но какъ-то насильственно, заучено, на французскій складъ. Г. Тургеневъ, съ свойственною ему способностью самыми легкими очертаніями лицъ и природы указывать на глубокія поэтическія черты крестьянскаго быта, имѣлъ вліяніе въ этомъ отношеніи и на элегическій (замѣтьте, не сатирическій) тонъ этихъ произведеній. А такъ какъ г. Некрасовъ рѣшительно не художникъ, а только *лирикъ* тамъ, гдѣ онъ можетъ совладать со стихомъ,—то понятно, какую важную роль долженъ былъ играть для лирическаго поэта другой талантъ, сумѣвшій освѣтить картину истиннымъ, нефальшивымъ свѣтомъ. Вліяніе это подтверждается еще слѣдующимъ.

Мы помнимъ появленіе Рудина, этого послѣдняго изъ могикановъ той западной образованности, которая такъ много принесла намъ общихъ взглядовъ, человѣческихъ чувствъ, борьбы за гуманныя стремленія, отвлеченную любовь къ добру и родинѣ.

Этотъ мотивъ, такой сильный у насъ со временъ Пушкина, подъ перомъ г. Тургенева получившій, какъ извѣстно, новый колоритъ, нашелъ себѣ откликъ и въ г. Некрасовѣ. Мы помнимъ появленіе его поэмы „Саша" вслѣдъ за „Рудинымъ" и наше пріятное изумленіе, когда мы въ этой поэмѣ нашли того же Рудина, только переложеннаго въ стихи. Читатель, конечно, помнитъ, кто такой Рудинъ, и потому въ характеристику его вдаваться здѣсь не станемъ. Сходство между нимъ и Агаринымъ до того сильно, что даже выразилось не только въ общихъ чертахъ, но и въ мелочахъ. Такъ, напр., Рудинъ хорошо и много говоритъ; Агаринъ, дѣйствующее лицо въ поэмѣ г. Некрасова, тоже *хорошо и много говоритъ*. Рудинъ уменъ, образованъ, го-

воритъ цвѣтисто, но ни на какое дѣло не способенъ; Агаринъ тоже:

Это не бѣсъ, искуситель людской,
Это, увы!—современный герой,
Книги читаетъ да по свѣту рыщетъ—
Дѣла себѣ исполинскаго ищетъ,
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо итти по дорогѣ избитой
Лѣнь помѣшала да разумъ развитый.

Г. Тургеневъ говоритъ о Рудинѣ, какъ о человѣкѣ, который, однако-жъ, сѣялъ доброе сѣмя,—и г. Некрасовъ то же говоритъ о своемъ Агаринѣ. Такъ, когда героиня поэмы, Саша, испугавшись желчныхъ рѣчей Агарина, отказалась отъ него, г. Некрасовъ говоритъ:

Благо теперь догадалась она,
Что отдаваться ему не должна,
А остальное все сдѣлаетъ время...
Сѣетъ онъ все-таки доброе сѣмя!..
Знайте и вѣрьте, друзья: благодатна
Всякая буря душѣ молодой—
Зрѣетъ и крѣпнетъ душа подъ грозой.
Чѣмъ неутѣшнѣе дитятко ваше,
Тѣмъ встрепенется свѣтлѣе и краше!
Въ добрую почву упало зерно—
Пышнымъ плодомъ отродится оно!

Не правда ли, читатель, все мотивы знакомые и нѣкогда постоянные въ нашей литературѣ? Сходство поэмы г. Некрасова и романа г. Тургенева такъ велико, что даже мелочи поэмы напоминаютъ романъ, прежде прочитанный. Умъ Рудина сильно дѣйствуетъ на развитіе Наташи — умъ Агарина почти такъ же дѣйствуетъ на Сашу; оба заставляютъ героинь влюбиться въ себя, оба ихъ бросаютъ. Даже объясненіе въ любви происходитъ одинаково въ обоихъ произведеніяхъ... Такъ талантъ г. Тургенева въ то время вполнѣ покорялъ г. Некрасова, и это лучше всего выразилось въ превосходномъ началѣ поэмы. Оно нисколько не гармонируетъ съ другимъ мотивомъ произведеній г. Некрасова“. (Критикъ приводитъ начало поэмы „Саша“)...

„Время шло, мѣнялись обстоятельства, настала война...

Когда надъ Русью безмятежной
Возсталъ немолчный скрипъ телѣжный,
Печальный, какъ народный стонъ:
Русь поднялась со всѣхъ сторонъ,
Все, что имѣла, отдавала
И на защиту высылала
Со всѣхъ проселочныхъ путей
Своихъ покорныхъ сыновей.
Войска водили офицеры,
Гремѣлъ походный барабанъ,
Скакали бѣшено курьеры;
За караваномъ караванъ
Тянулся къ мѣсту ярой битвы—
Свозили хлѣбъ, сгоняли скотъ.
Проклятья, стоны и молитвы
Стояли въ воздухѣ...

Со всѣмъ тѣмъ наше общество встрепенулось и почуяло какъ-будто что-то новое. Когда мы геройствовали, собирали арміи и ополченія, еще болѣе собирали забытыя воспоминанія о бранной славѣ двѣнадцатаго года, и многіе, даже очень многіе поэты и прозаики пустились въ воинственныя пѣсни псевдо-народнаго содержанія—г. Некрасовъ написалъ слѣдующее маленькое стихотвореніе, которое намъ нравилось болѣе всѣхъ воинственныхъ стиховъ:

Внимая ужасамъ войны,
При каждой новой жертвѣ боя
Мнѣ жаль не друга, не жены,
Мнѣ жаль не самого героя...
Увы! утѣшится жена
И друга лучшій другъ забудетъ;
Но гдѣ-то есть душа одна—
Она до гроба помнить будетъ!
Средь лицемѣрныхъ нашихъ дѣлъ
И всякой пошлости и прозы
Однѣ я въ мірѣ подсмотрѣлъ
Святыя, искреннія слезы—
То слезы бѣдныхъ матерей!
Имъ не забыть своихъ дѣтей,
Погибшихъ на кровавой нивѣ,
Какъ не поднять плакучей ивѣ
Своихъ поникнувшихъ вѣтвей...

Наконецъ, еще больше приближаясь къ нашему времени, когда послѣ войны все, казалось, заговорило и зашевелилось, когда столица наша начала ораторствовать и появились надежды — въ это время, въ 1858 году, г. Некрасовъ написалъ слѣдующее превосходное стихотвореніе:

Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи,
Кипитъ словесная война,
А тамъ, во глубинѣ Россіи—
Тамъ вѣковая тишина.
Лишь вѣтеръ не даетъ покою
Вершинамъ придорожныхъ ивъ,
И выгибаются дугою,
Цѣлуясь съ матерью землею,
Колосья безконечныхъ нивъ.

Мы остановимся здѣсь, потому что во многихъ другихъ стихахъ г. Некрасова не видимъ уже той тѣсной связи между жизнью и *поэзіей*, которая составляетъ лучшую принадлежность всякаго поэта; не видимъ дружнаго сочетанія двухъ необходимыхъ элементовъ, и преобладаніе одного, желчнаго, становится все выпуклѣе и выпуклѣе. Но намъ пріятно было вспомнить, вмѣстѣ съ стихотвореніями г. Некрасова, и то недавнее, но безвозвратно ушедшее время, въ которомъ мы многому уже не вѣримъ, такъ оно было безобразно въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ.

Рядомъ съ стихотвореніями, о которыхъ мы упоминали выше и которыя безспорно принадлежатъ къ лучшимъ изъ всего того, что было написано въ послѣднее время, рядомъ съ этими стихотвореніями у г. Некрасова постоянно шли такія, которыя никакъ не хотѣлось бы приписать автору „Несжатой Полосы“, „Забытой Деревни“. Лица, казалось бы, тѣ же, обстановка та же—а, между тѣмъ, стихотворенія эти возмущали насъ клеветой на русскаго человѣка, поддѣлкой подъ русскую рѣчь. Долго мы были въ недоумѣніи, пока „Пѣсня Еремушки“ не разъяснила намъ сущности дѣла не показала, что мы не совсѣмъ хорошо понимали нѣкоторыя стихотворенія г. Некрасова. Отсюда для насъ сдѣлалс, уже самъ собою понятенъ и еще одинъ недостатокъ—частая *поучительность* стихотвореній. Поучительность — дѣло по-

лезное, какъ всякій урокъ, но мы не хорошо понимаемъ, какъ уроки можно задавать стихами. Оказывается, что это можно дѣлать при нѣкоторыхъ условіяхъ. Но къ поучительности стиховъ мы еще вернемся, а теперь перейдемъ къ разъясненію того недоумѣнія, о которомъ сказали выше.

Любовь къ простому народу, казалось бы, такая неподдѣльная, какъ мы ее видимъ въ „Забытой Деревнѣ“, полная той *элегической* силы, которая кладетъ на нее поэтическій колоритъ, но не той *сатирической*, ѣдкой, холодной любви, которая высиживается *умомъ* безъ участія сердца,— эта любовь къ народу, казалось бы, есть господствующій мотивъ стихотвореній г. Некрасова. Вотъ почему, безъ всякаго сомнѣнія, имъ сочувствуютъ и что даетъ имъ право на уваженіе. Этой стороною объясняется и рѣзкая сатира на классы бездѣйствующіе, живущіе на счетъ бѣдняка, унижающіе его, помыкающіе имъ. Мотивъ этотъ до того простъ, до того обнаженъ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, что сомнѣваться въ немъ, казалось бы, нѣтъ никакой возможности. Тѣмъ лучше для автора, тѣмъ легче для критика. Однако-жъ, мы хотѣли бы согласить съ этимъ мотивомъ, съ этою любовью къ народу тѣ странные облики простонародья, которые передъ нами будутъ слѣдовать одинъ за другимъ“. (Приводятся стихотворенія: „Въ дорогѣ“, „Извозчикъ“, — послѣднее, по мнѣнію критика, одно изъ самыхъ плохихъ и по стиху и по идеѣ). „Что хотѣлъ сказать г. Некрасовъ, продолжаетъ критикъ по поводу стихотворенія „Извозчикъ“, объ этомъ простомъ народѣ, который съ досады, что не укралъ чужихъ денегъ, повѣситься готовъ? Вѣдь, другого смысла тутъ не пріищете. Подобное отношеніе къ народу, на ряду съ филантропіей, составляетъ тотъ неразрѣшимый для насъ контрастъ, который какъ-то больно рѣжетъ глаза въ стихотвореніяхъ г. Некрасова“.

По поводу стихотворенія:

— Такъ служба! самъ ты въ той войнѣ
Дрался—тебѣ и книги въ руки,
и т. д...

критикъ говоритъ: „И эта исторія разсказывается развязнымъ, шутливымъ голосомъ, какъ „Гусаръ“ Пушкина разсказывалъ о чертовщинѣ на Лысой Горѣ, въ Кіевѣ, приговаривая: „а мы видали виды“! Есть разница въ сюжетѣ и есть оттѣнки народнаго характера и въ томъ и въ другомъ стихотвореніи. Развязно разсказывать эту ужасающую картину 1812 г., разсказать въ томъ смыслѣ, что убить „эту гадину“—француза намъ ничего не стоитъ... что это такое? Были ужасающія сцены 1812 года, мы ихъ знаемъ, но онѣ были слѣдствіемъ неслыханнаго опустошенія цѣлаго края, ужасающей нищеты, холода, голода и войны,— сцены, подобныя сценамъ голода, описаннымъ Байрономъ... Но эти сцены у Байрона понятны. Онѣ наступаютъ въ то время, когда и разсудокъ помутится, и чувство исчезнетъ въ человѣкѣ, тѣ немногія страшныя минуты, которыя рѣдко достается переживать человѣчеству... Г. Некрасовъ все это устранилъ, и такимъ образомъ звѣрство русскаго мужика вышло на-голо, какъ неслыханное чудовище природы, которое только приводитъ въ ужасъ“.

Приводя стихотвореніе „Вино“, критикъ говоритъ: „Какое представленіе останется у васъ объ этомъ знаменитомъ русскомъ молодцѣ, который, наперекоръ всѣмъ народнымъ пѣснямъ, способенъ только *не дѣлать подвиговъ?*... Ужъ если г. Некрасову такъ мало извѣстенъ русскій бытъ, мы бы для этого посовѣтовали познакомиться хотя съ волжскими разбойничьими пѣснями: можетъ-быть, онѣ перемѣнили бы нѣсколько его неутѣшительное понятіе объ апатіи русскаго человѣка. Не забывайте, что онъ вездѣ хочетъ совладать съ чертою русскаго народнаго характера, а, между-тѣмъ, видитъ въ этомъ характерѣ одну грубую сторону, однѣ отрицательныя его черты. Почему же такъ упрямо ему не даются положительныя стороны? Вѣдь, народъ совсѣмъ не то, что, напримѣръ, приказные, обязанные всѣмъ своимъ существованіемъ современно-условному порядку вещей, административному распоряженію, начальнической волѣ; народъ не есть что-то внѣшнее, которое такъ легко убивается обличительной литературой, если только эта литература способна *кого-нибудь убить*. Корни его глубже и сущность его обширнѣе.

Вотъ, гдѣ эта сущность? Пусть покажетъ ее намъ г. Некрасовъ. Только, вѣдь, прямое отношеніе къ ней, пониманіе ея и изображеніе ея въ истинномъ свѣтѣ даетъ намъ поэзію; всякое другое отношеніе ложно, потому что оно односторонне, исключительно.

Чувствовалъ это очень часто г. Некрасовъ, и старался взглянуть глубже на предметъ взглядомъ *художника;* но тогда передъ нимъ выростали новыя недоумѣнія..." (Для примѣра критикъ приводитъ стихотвореніе „Власъ"). „Литература наша, продолжаетъ критикъ, съ легкой руки Евгенія Онѣгина и сна Татьяны, безпрестанно возилась съ видѣніями. Ни одинъ поэтъ не могъ избѣгнуть этой чепухи; напротивъ, каждый считалъ своею обязанностью гдѣнибудь вклеить сновидѣніе. Г. Некрасовъ попытался тоже представить видѣніе... но уже сообразно требованію времени, *въ народномъ духѣ*. И коснулся онъ въ этомъ видѣніи одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ жизни. Здѣсь говорится о будущемъ, о томъ страшномъ будущемъ, о которомъ равно думали и философы и простые люди. Но это будущее каждый рѣшаетъ по своему. Неужто же въ воображеніи русскаго человѣка совмѣщаются „вѣдьмы-егозы", „крокодилы", „скорпіи", какой-то тигръ шестикрылатъ, грѣшники, нанизанные на шестѣ, лижущіе полъ... и т. д. Конечно, если набирать въ стихъ все, что придетъ въ голову, то отчего жъ не составить видѣніе и изъ такихъ представленій! Но если поэтическое представленіе должно имѣть смыслъ (а мы полагаемъ, что дѣйствительно должно имѣть смыслъ, если самъ авторъ не безъ цѣли сочиняетъ), то выборъ картины долженъ быть, во-первыхъ, *русскимъ*, а во-вторыхъ, *осмысливающимъ* народное *преданіе*. Неужели же это представленіе Власа о грѣшникахъ — русское? неужели оно осмысливаетъ народныя вѣрованія? Какой смыслъ, спрашиваемъ каждаго, находитъ г. Некрасовъ въ немъ? Что за этимъ наборомъ словъ читаете вы въ душѣ русскаго мужика? ничего! А между тѣмъ, вѣдь, оно написано для насъ, и отнюдь не для Власа и ему подобныхъ.

Не обходитесь такъ легко съ народными вѣрованіями, *не позволяйте себѣ* сочинять ихъ: они важнѣе, нежели вы

объ нихъ думаете. Вы считаете ихъ бредомъ, глупостью, и позволяете себѣ, не зная ихъ, сочинять, что угодно. Не такъ думали истинные поэты. Весь Дантовъ „Адъ“ созданъ на подобныхъ вѣрованіяхъ. А въ жизни того лица, которое вы сдѣлали предметомъ вашего разсказа, они, эти вѣрованія, играютъ первостепенную роль; они измѣнили всю его жизнь, весь характеръ; онъ бросилъ все, сталъ нищенствовать и собирать на построеніе храма. И такую-то душевную драму г. Некрасовъ мотивируетъ подобнымъ наборомъ словъ!...

На ту-же тему, какъ и Власъ, то-есть, не исключительно сатирическую, обличительную, но на поэтическую, въ которой авторъ, какъ *художникъ*, старался выразить положительную сторону русскаго міра, сочувственную — г. Некрасовымъ въ послѣднее время написано еще нѣсколько другихъ стихотвореній. Но результатъ вездѣ одинъ и тотъ же. Вотъ, напримѣръ, „Крестьянскія Дѣти“, стихотвореніе, написанное въ 1861 г., слѣдовательно, одно изъ послѣднихъ. Въ немъ авторъ хотѣлъ выразить свое сочувствіе не къ дѣтямъ вообще, а именно къ *крестьянскимъ* дѣтямъ; старался кистью *художника* дать поэтическія краски этой беззавѣтной порѣ крестьянина, когда на свободѣ развивается его душа, его чувство и воображеніе, подстрекаемое разсказами прохожихъ, преданьями старины, уцѣлѣвшими въ разсказахъ стариковъ, повѣрьями народными и самою жизнію на деревенскомъ просторѣ, въ лѣсу, въ полѣ... Задача великая, которую уже пытались выполнить другіе наши авторы, по отношенію къ дѣтству людей образованныхъ. И потому мы уже имѣемъ отъ С. Т. Аксакова и гр. Толстого прелестные, поэтическіе разсказы въ этомъ родѣ. Г. Некрасовъ задумалъ написать нѣчто подобное по отношенію къ *крестьянскимъ* дѣтямъ. Онъ не остановился передъ трудностью задачи, да и зачѣмъ останавливаться, когда предметъ кажется такъ простъ!...“ (Приводится стихотвореніе „Крестьянскія Дѣти“ съ подробными комментаріями). „Скучно и длинно, заключаетъ критикъ разборъ этого стихотворенія, знакомить читателя съ этою безсвязною риѳмованною повѣстью, въ которой на каждомъ шагу видишь желаніе передать поэзію того, чего не знаетъ авторъ, или чему не сочувствуетъ. Любовь къ

дѣлу выражается не общими мѣстами и фразами, не банальными разсужденіями, а самымъ мелочнымъ, подробнымъ описаніемъ. Что любишь—то дорого, и ни малѣйшая черта любимаго предмета никогда не ускользаетъ. Чего не любишь или прикидываешься, что любишь, тамъ должно торопиться скорѣй въ разсужденіяхъ. Такъ дѣлаетъ и г. Некрасовъ. И хорошо дѣлаетъ. Тамъ, по крайней мѣрѣ, языкъ готовъ, риѳмы заучены и потому послушны, филантропія выработана учеными книгами и журнальными статейками—слѣдовательно, нечего опасаться, что ошибаешься въ краскѣ, не доскажешь того, что другіе сказали. Такимъ образомъ, въ этомъ же самомъ стихотвореніи, мысль, выраженная просто какъ мораль изъ прописи, гораздо сноснѣе для чтенія.

Однако же, зависть въ дворянскомъ дитяти
Посѣять намъ было бы жаль.
И такъ, обернуть мы обязаны кстати
Другой стороною медаль.
Положимъ, крестьянскій ребенокъ свободно
Растетъ, не учась ничему,
Но выростетъ онъ, если Богу угодно,
А сгибнуть ничто не мѣшаетъ ему.
Положимъ, онъ знаетъ лѣсныя дорожки,
Гарцуетъ верхомъ, не боится воды,
За то безпощадно ѣдятъ его мошки,
За то ему рано знакомы труды...

Такъ проще и лучше, г. Некрасовъ! Не беритесь за то, что требуетъ, кромѣ мозгового раздраженія, еще и... ничтожной вещи — любви, неподдѣльной любви и художническаго таланта, а не вычитанной изъ хорошихъ, впрочемъ, книгъ и, можетъ быть, случайной въ вашихъ произведеніяхъ. Доказательствомъ можетъ служить то же стихотвореніе. Въ немъ есть удавшаяся вамъ картинка мальчика, въ отцовской одеждѣ, везущаго дрова изъ лѣсу. Но посмотрите, какъ нейдетъ къ этой картинкѣ ваша хорошая мораль, какъ она плаваетъ поверху этой картинки, точно масло надъ водой...

Такъ не даются поэтическія картины тому, кто съ одною *напередъ заданною* цѣлію подходитъ къ нимъ. Что-нибудь

одно: или преднамѣренная идея, которую вы силою навязываете быту, или любовь къ нему, которая создаетъ неуловимыя отношенія ко всему окружающему, доступныя одному поэту. На этомъ пробномъ оселкѣ вы можете лучше всякихъ фразъ пробовать и силу таланта и искренность чувства. Посмотрите, какую картину создало одно мозговое раздраженіе — невольно еще хотимъ привести одинъ примѣръ — что въ ней русскаго: гдѣ языкъ народный? гдѣ хоть одинъ удачный стихъ? гдѣ, наконецъ, разговоръ, хоть сколько-нибудь рисующій бытъ—не говоримъ уже поэтическій? Посмотрите на „Знахарку“, это уродливое произведеніе, превосходящее даже „Деревенскія Новости“ своею слабостью въ литературномъ отношеніи. А между тѣмъ г. Некрасовъ очень ѣдко хотѣлъ подтрунить надъ невѣжествомъ крестьянина (приводится самое стихотвореніе)... Къ чему это написано и что это такое? Что за смыслъ? Что за народность? А, вѣдь, авторъ имѣлъ претензію въ эпическомъ, спокойномъ разсказѣ нарисовать сцену ворожбы... Молодые гадаютъ о своей судьбѣ, а имъ колдунья сулитъ „пузыречекъ съ чертенятами“—истинно гоголевскій юморъ! И какая прелесть простого разсказа, отрывчатаго до того, что даже русскій не пойметъ, въ чемъ дѣло... Вотъ какъ казнится насмѣшка надъ народнымъ бытомъ! Тутъ всякій юморъ, всякая сатира показываетъ только одно безсиліе автора, который и хотѣлъ бы унизить то, что ему непріятно, да не дается въ руки! Это ужасная казнь, которая всегда должна слѣдовать за неправильнымъ отношеніемъ къ предмету. Выходитъ безобразіе, вмѣсто сатиры, и падаетъ всею тяжестью на самого автора. Какъ ложь въ наукѣ, происходящая отъ софизмовъ, уничтожается доказательствами, основанными на фактахъ, такъ въ искусствѣ поэтическая истина сама за себя мститъ за свое униженіе тѣмъ, что не даетъ автору истинныхъ красокъ, прячетъ предметъ отъ глазъ его. И отчего у того же самаго автора, когда онъ подходитъ къ другому предмету, къ предмету, которымъ онъ любуется безъ желчи теоретика, а съ любовью русскаго, вдругъ являются яркія картины, стихъ дѣлается плавенъ, чувство выходитъ изъ общихъ фразъ и

замѣняетъ ихъ живыми красками? За примѣромъ недалеко ходить; вотъ воспоминаніе одного изъ „Несчастныхъ“ этой же Россіи:

„Его плѣняло солнце юга:
Тамъ море ласково шумитъ“... (и т. д.

кончая стихомъ: „Вокругъ уснувшихъ деревень“...).

„Въ другомъ мѣстѣ“, продолжаетъ критикъ, „говоря о нашихъ городахъ, онъ разомъ схватываетъ ихъ жизнь слѣдующими тремя превосходными стихами:

Тамъ время тянется сонливо,
Какъ самодѣльная расшива
По тихой Волгѣ въ лѣтній день...

Или вотъ еще одна маленькая, поэтическая картинка нашей деревенской природы:

.....Ямщикъ свиститъ
И выѣзжаетъ на приволье
Луговъ... родной, любимый видъ!
Тамъ зелень ярче изумруда,
Нѣжнѣе шелковыхъ ковровъ,
И какъ серебряныя блюда
На ровной скатерти луговъ
Стоятъ озера...

Скажите: отчего эти стихи такъ удаются г. Некрасову, что не вѣришь, будто онъ написалъ „Знахарку“, „Власа“, „Крестьянскихъ Дѣтей?“ Что за тайна?..

Намъ бы слѣдовало теперь разсказать поэму „Коробейники“. Но что же она намъ докажетъ новаго? Опять ту же самую истину, которую мы уже вывели и изъ „Власа“, и изъ „Крестьянскихъ Дѣтей:“ стоитъ ли повторять одинъ разъ доказанное? А если кого не убѣдили до сихъ поръ наши слова, того, конечно, они не убѣдятъ, если мы даже передадимъ точно такъ-же неудавшееся стихотвореніе, гдѣ опять авторъ пытался создать что-нибудь положительное. Ничего не удалось! И это черта весьма неутѣшительная *для поэта, который* „ненавидитъ любя“, *у котораго подъ сатирой кроются* слезы. Что же любитъ онъ, когда

положительныя краски такъ трудно даются ему?—Онъ любитъ абстрактъ народа, а не самый народъ.

Мы полагаемъ, что „Коробейники“ для того только и напечатаны, чтобъ придѣлать къ нимъ то замысловатое посвященіе, которое, конечно, очень многихъ прельститъ, какъ выраженіе истинно-народныхъ чувствъ автора. Но насъ и оно не обманываетъ. Они блестящи только своимъ заглавіемъ: „Другу-пріятелю *Гаврилѣ Яковлевичу* (крестьянину деревни Шоды, Костромской губерніи)“.

Знаете ли, почему мы и это посвященіе считаемъ внѣшнимъ лоскомъ и не вѣримъ ему? Многое бы могли сказать здѣсь... очень многое. Конечно, не съ точки зрѣнія какого-нибудь аристократическаго клуба повели бы мы наши разсужденія о русскомъ крестьянинѣ—мы мало знаемъ эту точку зрѣнія, и предоставляемъ съ этой стороны обсуживать вопросъ людямъ болѣе компетентнымъ; мы вамъ скажемъ—съ вашей же точки, народной: какъ это вы въ такомъ прекрасномъ посвященіи не нашли ничего лучшаго сказать русскому крестьянину, кромѣ слѣдующихъ словъ:

Какъ съ тобою я похаживалъ
По болотинамъ вдвоемъ,
Ты меня по-часту спрашивалъ:
Что строчишь карандашомъ?
Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебѣ хочу.
Буду радъ, коли понравится,
Не понравится—смолчу.
Не побрезгуй на подарочкѣ!
А увидимся опять,
Выпьемъ мы по доброй чарочкѣ
И отправимся стрѣлять.

А, вѣдь, эти слова очень характерны—для „посвященія!“

Далѣе, приведя стихотвореніе „Пѣснь ЕремушкѢ“, критикъ говоритъ: „Что это такое?“ Повторимъ еще разъ. Нельзя достаточно налюбоваться на слѣдующіе стихи, обращенные къ простому народу:

Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.

Мы не вѣримъ собственнымъ глазамъ, не вѣримъ, чтобъ эти стихи могли выйти изъ-подъ пера, посвятившаго своихъ „Коробейниковъ“ одному изъ народа, изъ-подъ пера писателя, будто бы „ненавидящаго любя“! Какъ же мы повѣримъ слѣдующимъ словамъ, сказаннымъ тѣмъ же г. Некрасовымъ:

„Во многомъ насъ
Опередили иноземцы,
Но мы догонимъ въ добрый часъ!
Лишь Богъ помогъ бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольнѣй—
Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знаетъ середины—
Черна—куда ни погляди!
Но не проѣлъ до сердцевины
Ея порокъ. Въ ея груди
Бьжитъ потокъ живой и чистый
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ;
Такъ подъ корой Сибири льдистой
Золотоносныхъ много жилъ“...

Какъ въ 1856 году еще могъ написать послѣднее стихотвореніе г. Некрасовъ, а въ 1859 году онъ уже говорилъ, что „въ насъ нѣтъ ни одного человѣческаго зерна?“ Игра ли словъ въ томъ и другомъ случаѣ, теорія ли тутъ виновата? Будь же проклята та теорія — скажемъ мы, перефразируя стихи г. Некрасова — теорія, которая изъ-за тумана отвлеченныхъ представленій не видитъ жизни и въ жизни нашего народа не видитъ ни одного плодотворнаго зерна! Она любитъ не народъ, а свои абстрактныя идеи, любитъ—себя. Было время, когда этакой стихъ не возмущалъ читателя; было время той слѣпоты, когда мы считали плодотворными только сѣмена, посѣянныя людьми во фракахъ и мундирахъ, но эта слѣпота срѣзана давно, какъ наростъ, какъ бѣльмо; было время нашего безостановочнаго коверканія передъ народомъ, нашего ученаго и литературнаго самодурства передъ массой, съ изумленіемъ глядѣвшей на этихъ коверкавшихся господъ, выводившихъ свои пѣсни на *разные лады, выкидывавшихъ* штуки на разныя манеры; но *время это безвозвратно* ушло...

Баю-баюшки-баю...

Это напомнило намъ другую колыбельную пѣсню г. Некрасова былыхъ временъ — такъ мы называемъ ее потому, что она написана лѣтъ пятнадцать назадъ и нѣкогда очень нравилась. А въ эти пятнадцать лѣтъ много воды утекло! Ту, прежнюю колыбельную пѣсню, мы не находимъ уже въ этомъ собраніи сочиненій — и очень рады за г. Некрасова, если онъ ее выбросилъ. Тамъ тоже мать, убаюкивая своего сына, пѣла:

Будешь ты чиновникъ съ виду
И подлецъ душой,
Провожать тебя я выду—
И махну рукой!
Въ день привыкнешь ты картинно
Шею гнуть свою
Спи *постръмъ*, пока невинный!
Баюшки-баю.

Тогда, мы помнимъ, эта колыбельная пѣсня, пародія на всѣми повторяемую пѣсню Лермонтова — ужасно нравилась. Мы тогда, какъ и четыре года назадъ, были въ горячкѣ, и преслѣдовали мелкихъ взяточниковъ, плутишекъ, и литература наша гордо высила голову, наказавъ квартальнаго N, или секретаря земскаго суда NN. Мы тогда были отчаянные прогрессисты, и аплодировали г. Некрасову за ту безобразную пѣсню, гдѣ мать называетъ малютку „подлецомъ“... нѣтъ, не называетъ, а съ удовольствіемъ пророчитъ ему это блестящее положеніе. Но времена немного перемѣнились: бѣдные чиновники оказались совсѣмъ не такъ виновными, какъ думала тогдашняя прогрессивная литература, человѣческое чувство вступило въ свои права — и отшатнулось съ презрѣніемъ отъ этой тупой ненависти, простительной человѣку неопытному, но не извинительной гуманисту, какъ тогда себя мы величали.

Теперь г. Некрасовъ, въ „Пѣснѣ Еремушкѣ“, нашелъ нужнымъ возобновить забытый мотивъ, и приложилъ его не къ чиновнику — времена перемѣнились — а къ бѣдному крестьянину! Только одна холодная, чисто-разсудочная мысль,

которой до другихъ отправленій души нѣтъ дѣла, для которой чувство есть помѣха напередъ сдѣланному заключенію о народѣ, какъ грубая обстановка есть тоже помѣха филантропической идеѣ — только такая мысль, готовая расширить свои крылья въ кабинетѣ и сжаться въ иронію, когда передъ нею предстанетъ жизнь—только такая мысль можетъ сама себя успокаивать отвлеченными разсужденіями...

Во второй половинѣ своей „Пѣсни Еремушкѣ“ г. Некрасовъ высказываетъ общія идеи своихъ стихотвореній; идеи эти для нашего времени безупречны. Но этого намъ мало. Если г. Некрасовъ будетъ излагать свои мысли въ стихахъ, то онѣ будутъ забыты. Для этого существуетъ проза. Намъ нужно видѣть эти мысли въ жизни народа олицетворенными, намъ нужно видѣть не одну любовь къ идеѣ, но и въ жизни къ тому, что носитъ эту идею. Тамъ же, гдѣ мы ее искали, какъ въ „Крестьянскихъ Дѣтяхъ“, въ „Коробейникахъ“, въ „Власѣ“, „Знахаркѣ“, тамъ мы находимъ одно черствое изученіе этой жизни, однѣ поверхностныя краски, и, наконецъ, высказанное о ней сужденіе такого рода, что въ ней нѣтъ ни одного *человѣческаго* зерна! Какъ же воспѣвать то, въ чемъ нѣтъ и зерна человѣческаго!.. Охъ, загубило насъ фразерство въ прозѣ, губитъ оно насъ и въ стихахъ! Губитъ тѣмъ, что не позволяетъ всмотрѣться въ жизнь — низко-де очень, ниже нашего умственнаго уровня; загубило тѣмъ, что изгнало любовь изъ всѣхъ поръ нашей души и замѣнило ее чваннымъ разсужденіемъ. А что сдѣлаешь въ поэзіи съ самыми лучшими разсужденіями, когда они только отталкиваютъ такъ называемыхъ поэтовъ отъ грубой дѣйствительности? загубило тѣмъ, что заставило видѣть въ русскомъ народѣ одну мерзость и запустѣніе, такую мерзость, которая не мирится ни съ какою филантропическою иностранною книжкою: мы любимъ-молъ абстрактъ народа, идею, а не самый народъ. Загубило еще тѣмъ, что фразерству трудно сдѣлать шагъ въ жизнь дѣйствительную отъ фразы; всѣ это чувствуютъ, и никто не можетъ перешагнуть этой бездны. Загубило тѣмъ, что пріучило къ фейерверку фразъ, который особенно *не*сносенъ въ стихахъ, ибо тамъ онъ такъ же остается

фразой, какъ и въ прозѣ, да, сверхъ того, занимаетъ непринадлежащее ему мѣсто — поэзіи. Много нужно смиренія будущему таланту, если онъ захочетъ быть поэтомъ: нужно отбросить въ сторону весь блескъ общихъ мѣстъ и дешевой филантропіи — и изучать жизнь, любить ее, и то только писать, что навѣваетъ эта любовь... То будетъ любовь не чиновницы, которая убаюкиваетъ своего сына названіемъ подлеца; то будетъ не любовь няни, которая учитъ дитя кланяться, ничего не дѣлать и только играть съ дѣвками — то будетъ иная любовь... Она подмѣтитъ въ народѣ черты, которыхъ мы съ вами, г. Некрасовъ, не знаемъ, и на ея пѣсню отзовется восторгомъ... не наша братья, писатели, а самъ народъ. Тотъ, кто это скажетъ народу, будетъ и самъ любимъ народомъ.

Послѣ всего сказаннаго выше, никому не покажется страннымъ, что нѣкоторые мотивы стихотвореній г. Некрасова, казалось бы, чисто-русскіе, навѣянные жизнію, на самомъ дѣлѣ навѣяны книгой, чтеніемъ другихъ поэтовъ. Въ этихъ случаяхъ г. Некрасову принадлежитъ честь окончательной отдѣлки и во многихъ случаяхъ превосходной. Такимъ образомъ поэма Крабба „Приходскіе Списки“ дала тему одной изъ лучшихъ пьесъ г. Некрасова: „Забытая Деревня“. Изъ описанія Крабба забытаго деревенскаго дома у г. Некрасова вышло превоскодное стихотвореніе, такъ начинающееся:

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лѣсу попросила...

Г. Некрасовъ, оставивъ въ сторонѣ описаніе заброшеннаго господскаго дома—описаніе такое поэтическое въ стихѣ Крабба, по отзыву англійскаго критика Джефри, переданное нами въ подстрочномъ переводѣ г. Дружинина — оставивъ въ сторонѣ это описаніе дома, г. Некрасовъ всю силу описанія обратилъ на распоряженія бурмистра — и нельзя сказать, чтобы отъ этого стихотвореніе не выиграло...“ Далѣе критикъ приводитъ отрывокъ изъ той-же поэмы Крабба, передѣланный, по его словамъ, въ стихотвореніе, подъ названіемъ „Свадьба“.

Свой обширный критическій этюдъ критикъ заключаетъ слѣдующимъ выводомъ:

„Мы собрали факты изъ воспоминаній и изъ книжки г. Некрасова, чтобы показать, что у него постоянно идутъ, или, лучше сказать, шли до послѣдняго времени, рядомъ два направленія: одно, въ которомъ есть и непосредственное чувство, и одушевленіе, и поэзія, и лиризмъ — остатокъ прежняго поэтическаго мотива, прежней поэтической теоріи. Здѣсь онъ дѣлается поэтомъ, на сколько теорія, проникнутая симпатіей къ народу, можетъ сдѣлать поэтомъ человѣка, не имѣющаго художническаго таланта. Тутъ у него есть и сила негодованія и теплота увлеченія. Но рядомъ съ этимъ направленіемъ у него идетъ другое, въ которомъ господствуетъ теорія, мертвая, холодная — и грустнѣе всего, несправедливая. Вторая теорія служитъ уже абстракту народа, а не народу.

Эта теорія, состоящая вся изъ одного отрицанія, прежде всего, не есть какая-либо новость въ нашей литературѣ. Мы уже пережили одно отрицаніе—самое безотрадное, отрицаніе Гоголя, временъ „Мертвыхъ Душъ“ и стихотвореній Лермонтова. То было отрицаніе до такой степени безпощадное, что не вѣрится теперь. Если хотѣли что-нибудь побранить — называли русскимъ; даже слово „русскій“ не говорили, а *россѣйскій*. Славянинъ — было браннымъ словомъ, и это отчаянное, ожесточенное отношеніе ко всему своему вызвало и развило больше всего славянофильство. Пусть не думаютъ, чтобы гоголевское или лермонтовское отрицаніе было мелко — нѣтъ, оно захватывало всѣ стороны, только оно не выражалось такъ обнаженно, сухо, въ голыхъ сентенціяхъ, какъ, напр., у г. Некрасова. Таланты Гоголя и Лермонтова облекали безпощадное отрицаніе блестящими, въ высшей степени поэтическими формами.

Но въ первую пору отрицанія — и это нужно замѣтить особенно — великіе отрицатели, каковы Гоголь и Лермонтовъ, обращались преимущественно къ тогдашнему нашему образованному, чиновному, высшему классу — и поэтому *были правы*. Духъ времени быстро перенесъ поэтическіе *замыслы на иную* арену—крестьянинъ и работникъ сдѣла-

лись героями, и имъ-то посвятилъ свое сочувствіе „поэтъ абстракта“. Что же вышло у г. Некрасова! Онъ бросилъ камень въ того, кого защищаетъ теорія! Вы, г. Некрасовъ, мѣтили не туда, куда попали; и любовь къ народу осталась у васъ знаменемъ, за которымъ не слѣдуетъ никакого народа. Вы ополчились на то, что защищаете — гдѣ же выходъ?

Это со стороны идеи отрицанія г. Некрасова. Со стороны же формы намъ не нужно будетъ много доказывать, что желчь и произведенія ея, холодныя, разсудочныя—не поэзія. Стихи г. Некрасова то же обличеніе, которое мы видимъ и въ нашей прозаической литературѣ. Въ этомъ отношеніи г. Некрасовъ стоитъ ниже Щедрина и Печерскаго, потому что ихъ сатира одѣта въ формы разсказовъ; въ нихъ выведены лица, лица эти имѣютъ характеры, подъ ногами у нихъ есть почва — и обличительный разгулъ ихъ авторовъ имѣетъ дѣло съ дѣйствительностію.

Поэзія — не сатира; сатира есть одинъ изъ элементовъ поэзіи, одна изъ сторонъ ея. Сатирикъ не видитъ въ мірѣ ничего, кромѣ ошибки, пустоты, ничтожества — а кто скажетъ, что въ обществѣ, которое бичуетъ сатирикъ, ничего нѣтъ? Если въ немъ дѣйствительно ничего нѣтъ, то изъ ничего и не рождается ничего. Вотъ на основаніи какихъ причинъ умъ никогда вполнѣ не довѣряетъ сатирику. Умъ ищетъ для себя будущности и не находитъ отвѣта у сатирика. Отъ этого сатирикъ, обличитель, нравятся только въ то время, когда и общество одинаково съ ними раздражено, когда сатирикъ удовлетворяетъ чувству минутнаго настроенія. Пройдетъ это настроеніе—и сатира утрачиваетъ все.

А между тѣмъ у г. Некрасова есть свой особенный пріемъ въ стихѣ, есть сила, ему одному свойственная; онъ былъ бы способенъ обнимать шире предметъ, не одною стороною разсудка, но и чувства... Это намъ говорятъ многія изъ стихотвореній, выше нами указанныхъ. Слѣдовательно, у Некрасова есть задатки того, чего требуетъ истинная поэзія. Тамъ, напр., гдѣ онъ находится подъ вліяніемъ г. Тургенева, тамъ, гдѣ онъ описываетъ *не крестьянъ*, а русскую *природу, которой* сочувствуетъ, тамъ, наконецъ, гдѣ обще-

ственная пошлость вызываетъ у него непосредственное чувство негодованія, — тамъ и стихъ его дѣлается поэтичнѣе; тамъ же, гдѣ онъ, взявъ себѣ въ руководители только теорію, смотритъ на общество изъ-за параграфовъ книгъ, какъ въ „Еремушкѣ“, тамъ онъ доходитъ до результатовъ, невообразимо-противорѣчащихъ ему же самому, такъ что изъ нихъ и выхода нѣтъ. Съ другой стороны, плохой тотъ поэтъ, у котораго истины науки читаются въ стихахъ, какъ въ учебникѣ. Надѣемся, это доказывать не нужно. Какимъ же образомъ писатель, который имѣетъ за собою лѣтъ двадцать литературной дѣятельности и, слѣдовательно, не принадлежитъ къ тѣмъ юношамъ, которые пишутъ диссертаціи въ стихахъ; [писатель, который съ лѣтами долженъ дѣлаться требовательнѣе въ художественномъ отношеніи, какимъ образомъ онъ можетъ дойти до этихъ результатовъ? Что это— упадокъ творчества или статьи въ стихахъ, писанныя для журнала, въ угоду массѣ?

Г. Некрасовъ постоянно затрогиваетъ предметъ, дорогой каждому — и въ этомъ его сила и все достоинство. Онъ больше, нежели кто другой изъ нашихъ поэтовъ, носитъ въ себѣ зачатки того лиризма, которому какъ-будто суждено жить въ будущемъ и на который указалъ намъ первый Кольцовъ. Г. Некрасовъ дѣйствуетъ въ духѣ времени, старается уловить поэзію, идетъ какъ-будто по слѣдамъ ея—и не можетъ догнать. Его „Коробейники“, его „Крестьянскія Дѣти“ говорятъ намъ, что предметъ, полный жизни, гдѣ-то близко, вотъ чуть-чуть, и онъ бы нашелъ его... А между тѣмъ нѣтъ! Да, нѣтъ того поэтическаго элемента, котораго ищетъ г. Некрасовъ. То онъ съ озлобленіемъ набрасывается на этотъ предметъ и говоритъ, что въ немъ нѣтъ „ни одного человѣческаго зерна“, то въ другомъ мѣстѣ говоритъ, что въ народѣ кроются великія, таинственныя силы, а какія силы — никто ихъ не видитъ, и г. Некрасовъ не предчувствуетъ ихъ, какъ поэтъ. Вотъ это дурно... не въ насъ ли самихъ лежитъ причина того, что мы не видимъ хорошо окружающій міръ? Давно бы пора спросить это у себя самого, и тогда, можетъ быть, много *излишнихъ проклятій* окажется въ нашемъ негодованіи!—Вотъ

вопросъ, о который суждено было разбиться таланту г. Некрасова тамъ, гдѣ онъ хотѣлъ быть поэтомъ, а не обличителемъ только. Что дѣлать? Участь эту долженъ раздѣлить г. Некрасовъ со многими, поэтами и непоэтами, учеными и литераторами нашего времени... Есть поэты съ міросозерцаніемъ широкимъ и узкимъ. Это не подлежитъ сомнѣнію. Многіе, вѣроятно, думаютъ, что г. Некрасовъ принадлежитъ къ первымъ. Онъ всего касается: политическихъ вопросовъ, общественныхъ сторонъ жизни, народа и его вѣрованій, интимныхъ сторонъ сердца человѣческаго. Чего въ самомъ дѣлѣ шире?—Но если вы вслушаетесь въ тонъ этихъ широкихъ взглядовъ, то увидите, что онъ очень монотоненъ. Отрицаніе, отрицаніе и отрицаніе — вотъ его девизъ на всякомъ пути, точно журнальныя статьи, заданныя какимъ-нибудь узенькимъ направленьицемъ. Девизъ легкій и доступный каждому! Онъ не требуетъ ровно никакихъ разсужденій и міросозерцанія, точно такъ же, какъ безразличная похвала всему существующему — тоже очень легка. Міросозерцаніе старое, сороковыхъ годовъ, и мы его не назовемъ широкимъ. Въ наше время гораздо труднѣе отличить годное отъ негоднаго, а между тѣмъ въ этой-то трудности и состоитъ задача и политическихъ наукъ и философіи. Поэзія, какъ высшее чутье народа, должна намъ помогать тамъ, гдѣ наука колеблется при помощи одного холоднаго ума. Поэзія должна своимъ сочувствіемъ согрѣть тѣ блестящіе огоньки, которые поднимаются въ наше время надъ безконечнымъ пространствомъ нашей жизни. Въ этомъ отношеніи поэтъ будетъ и передовой человѣкъ... *)

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1861 г.

* * *

Выписавъ стихотвореніе:

Праздникъ жизни, молодости годы—
Я убилъ подъ тяжестью труда,
(и т. д....)

критикъ „Русскаго Слова“ говоритъ:

*) Разборъ этой критики А. Григорьевымъ см. далѣе (1862 г.).

*) „Эти шесть куплетовъ Некрасова превосходно опредѣляютъ значеніе всей его поэтической дѣятельности и въ то же время служатъ великолѣпнымъ образчикомъ этой дѣятельности. Некрасовъ говоритъ о себѣ совершенно справедливо, что онъ не ищетъ образовъ для выраженія явленій дѣйствительности, не вырабатываетъ для нихъ изящной формы, а просто выливаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ то настроеніе, которое вызвали въ душѣ эти явленія: слезы — такъ слезы, желчь — такъ желчь, сарказмъ — такъ сарказмъ. Нашъ поэтъ понимаетъ самого себя, не обманывается на свой счетъ; онъ чувствуетъ, что его сила состоитъ не въ яркости образовъ, не въ отдѣлкѣ подробностей, не въ пѣвучести стиха, а въ искренности чувства, въ глубинѣ страданія, въ неподдѣльности стона и слезъ.— Приведенное мною стихотвореніе представляетъ собою слово поэта о самомъ себѣ; смыслъ этого слова вѣренъ; тонъ, которымъ произнесено это слово, гармонируетъ съ тономъ всей некрасовской поэзіи; сурово относится Некрасовъ къ явленіямъ жизни; сурово и нерадостно смотритъ онъ и на собственную дѣятельность; но эта суровость не имѣетъ ничего общаго съ великопостною суровостью какого-нибудь аскета-пуританина; это не та суровость, которая во имя узкой идеи выжимаетъ изъ жизни сокъ и систематически давитъ всякую радость; это, напротивъ, естественная, печальная, задумчивая, порою желчно-раздражительная серьезность человѣка, много страдавшаго на своемъ вѣку, смотрѣвшаго съ непритворнымъ участіемъ на страданія другихъ, дошедшаго до невольнаго отвращенія къ причинѣ своихъ и чужихъ страданій и совершенно потерявшаго ребяческую способность и малодушную потребность зажмуривать глаза и утѣшать себя и публику фантастическими надеждами. Истинная любовь всегда правдива, всегда безпощадна, всегда старается видѣть свой предметъ, какъ онъ есть, и никогда не боится тѣхъ тяжелыхъ ощущеній, которыя можетъ вызвать созерцаніе неподкрашенной дѣйствительности. Такая любовь живымъ и чистымъ ключомъ бьетъ въ стихотвореніяхъ *Некрасова.*

*) *„Русское Слово“ 1861* г., № 11.

Онъ проповѣдуетъ любовь
Враждебнымъ словомъ отрицанья,
И каждый звукъ его рѣчей
Плодитъ ему враговъ суровыхъ,
И умныхъ и пустыхъ людей,
Равно клеймитъ его готовыхъ.
Со всѣхъ сторонъ его клянутъ,
И только трупъ его увидя,
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ,
И какъ любилъ онъ ненавидя.

Некрасовъ только въ одномъ отношеніи ошибается насчетъ самого себя; онъ, смотря на свою дѣятельность самымъ трезвымъ взглядомъ, оцѣниваетъ самого себя ниже своего достоинства; онъ считаетъ себя сатирикомъ, но этого слишкохъ мало; обличать пороки окружающаго общества можетъ всякій, кто достаточно развилъ въ себѣ нравственное чувство, или вѣрнѣе, силу простого здраваго смысла, чтобы стать выше уровня массы и отличать бѣлое отъ чернаго; и Персій обличалъ пороки римскаго общества, и Кантеміръ обличалъ, и Буало обличалъ; но ни Персій, ни Кантеміръ, ни Буало не могутъ быть названы поэтами. Некрасовъ не учитъ насъ: вотъ это хорошо, а то дурно; это мы и безъ него знаемъ; онъ увлекаетъ насъ силою лирическаго чувства; онъ самъ плачетъ, стонетъ, проклинаетъ; то тихая грусть, то мрачное отчаянье, то нѣжное сочувствіе разлиты въ его произведеніяхъ, и всѣ эти настроенія вызваны такими реальными явленіями и выражены въ такихъ простыхъ, мужественныхъ звукахъ, что они прямо идутъ отъ сердца поэта къ сердцу читателя,

Какъ внезапно хлынувшія слезы
Съ огорченнаго лица.

Никакой риторъ-сатирикъ, никакой краснорѣчивый проповѣдникъ не увлечетъ и не растрогаетъ васъ до слезъ, если онъ самъ не чувствуетъ того, что хочетъ перелить въ васъ. А кто перечувствовалъ столько, сколько — Некрасовъ, и кто увѣковѣчилъ эти чувства въ такихъ металлическихъ звукахъ, которые сами собою западаютъ и врѣзываются въ душу читателя, тотъ не только обличитель,

не только сатирикъ, только поэтъ, великій поэтъ, т. е. человѣкъ, глубоко чувствующій и сильно отзывающійся на истинно-человѣческіе вопросы. Такихъ людей и такихъ поэтовъ не забываетъ народъ, сколько-нибудь достигшій самосознанія. Два стиха Некрасова:

Но не льщусь, чтобы въ памяти народной
Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ.

оскорбительны для нашей народной гордости. Слишкомъ тяжело думать, что нашъ добрый народъ ни однимъ словомъ не почтитъ памяти тѣхъ людей, которые горячо и безкорыстно его любили, вмѣстѣ съ нимъ терпѣли горькую долю, и своими трудами приготовили ему болѣе свѣтлую участь. Когда мы встрѣчаемъ школьнаго товарища, терпѣвшаго вмѣстѣ съ нами скуку казенныхъ уроковъ и тяжелую рутину учителей, мы радуемся ему, протягиваемъ ему руку, вмѣстѣ съ нимъ припоминаемъ прошлое и разсуждаемъ о настоящемъ; мы даже осуждаемъ тѣхъ честныхъ джентльменовъ, которые вышедши въ люди, забываютъ своихъ сверстниковъ, дѣлившихъ съ ними въ молодые годы горе и радость, и остановившихся на низшихъ ступеняхъ іерархической лѣстницы. Скажите, неужели же цѣлый народъ будетъ такъ же забывчивъ, или такъ же неблагодаренъ, какъ бываютъ немногіе сухіе господа? Неужели народъ, достигнувъ этой степени развитія, которая теперь составляетъ для насъ предметъ неосуществимыхъ желаній, забудетъ тѣхъ честныхъ и скромныхъ работниковъ, которые, не щадя плечей и головъ, сносили камни для будущаго зданія и закладывали фундаментъ, не надѣясь даже дожить до окончанія постройки. Если бы такъ было дѣйствительно, тогда всю литературную дѣятельность Некрасова пришлось бы назвать дон-кихотскимъ подвигомъ; для пустого и вѣтренаго народа работать не стоитъ; самыя страданія такого народа, если бы только онъ былъ возможенъ, были бы такъ же смѣшны и притворны, какъ страданія чувствительной барыни, падающей въ обморокъ оттого, что завизжала ея *любимая* собачка; но этого нѣтъ; народъ любитъ и помнитъ *своихъ друзей*, только, къ сожалѣнію, онъ ихъ не

знаетъ. Попробуйте обласкать человѣка забитаго, заваленнаго работою, привыкшаго голодать и зябнуть, вы увидите, что онъ къ вамъ привяжется сильною преданностью существа, помятаго жизнію и неизбалованнаго нѣгою. Пусть русскій простолюдинъ услышитъ и пойметъ задушевное слово, сказанное безъ задней мысли о его житьѣ-бытьѣ, о его простомъ, невыплаканномъ горѣ, и вы увидите, что онъ запомнитъ это слово, начнетъ мурлыкать его въ часы раздумья и передастъ его дѣтямъ и внукамъ вмѣстѣ съ своими незатѣйливыми, заунывными напѣвами. Кто любитъ народъ, тотъ вѣритъ въ его силы, хотя порою тяжело становится отстаивать эту вѣру отъ набѣгающихъ сомнѣній. Некрасовъ, поэтъ трезвыхъ отношеній къ жизни и безотраднаго скептицизма, доставшагося горькимъ житейскимъ опытомъ, также вѣритъ въ непочатыя силы народа, въ естественную мощь человѣческой природы.

Онъ говорилъ: „во многомъ насъ
Опередили иноземцы,
Но мы догонимъ въ добрый часъ! (и т. д....).

Какъ истинный поэтъ, какъ живой человѣкъ, Некрасовъ любитъ человѣка, и, относя мрачныя стороны нашей жизни къ числу проходящихъ заблужденій, смотритъ въ отдаленное будущее съ свѣтлою, твердою, мужественною надеждою. Вотъ какую пѣсню поетъ нашъ поэтъ надъ спящимъ младенцемъ:

Въ пошлой лѣни усыпляющій
Пошлыхъ жизни мудрецовъ
Будь онъ проклятъ растлѣвающій,
Пошлый опытъ—умъ глупцовъ!
(и далѣе семь куплетовъ)...

Дѣйствительно, поэту-реалисту, подобному Некрасову, надо вѣрить въ природную силу человѣка сильнѣе, чѣмъ тому незлобивому поэту, который прислушивается къ звукамъ своей миролюбивой лиры,

Любя безпечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой.

Поэты-сибариты, которыхъ у насъ такъ много, зажмуриваютъ глаза, когда имъ приходится видѣть что-нибудь некрасивое и печальное; чтобы не сталкиваться съ такими сюжетами, они обращаются къ античному міру или къ области своихъ собственныхъ, чисто личныхъ ощущеній; живя и дѣйствуя такимъ образомъ, они могутъ безъ особеннаго труда сохранить любовныя отношенія къ жизни и къ людямъ; они ихъ не знаютъ, а мягко относиться къ тому, чего не знаешь, вовсе не трудно. Но тотъ поэтъ, который живетъ одною жизнью съ нами, тотъ, кто видитъ, какъ мы падаемъ и барахтаемся въ грязи, тотъ, кто вмѣстѣ съ нами страдаетъ и падаетъ, кто въ своихъ произведеніяхъ не старается стать выше этихъ человѣческихъ слабостей и страданій,—тотъ, конечно, долженъ сильно вѣрить въ возможность обновленія, тотъ, конечно, всѣми силами своего существа долженъ стремиться къ лучшему будущему. Страстности, патетическаго стремленія, пламеннаго отрицанія вы найдете у Некрасова больше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ нашихъ лириковъ, вмѣстѣ взятыхъ. Вѣры въ человѣка у него также больше, чѣмъ у всѣхъ другихъ, именно потому, что въ немъ сильнѣе, чѣмъ въ другихъ, существуетъ потребность этой вѣры. Только тотъ докторъ твердою рукою запускаетъ свой ланцетъ въ гнойную рану больного, который знаетъ, что больной можетъ и долженъ вынести операцію. Рѣзать умирающаго человѣка—трудъ тяжелый и неблагодарный. Только тотъ поэтъ способенъ безпощадно обнажить передъ нами язвы нашего общества, кто вѣритъ въ его силы; въ противномъ случаѣ поэтомъ-обличителемъ неминуемо овладѣетъ уныніе, и скоро лихорадочная энергія, съ которою онъ приступилъ къ своей вивисекціи, превратится въ тупую, вялую, мертвенную апатію. Но унынія вы у Некрасова не найдете; мрачна та картина, которой отдѣльные уголки вырисовываются въ его произведеніяхъ, но велика энергія поэта, живетъ въ немъ свѣжая любовь къ человѣку, и ни на минуту не покидаетъ его твердое убѣжденіе въ томъ, что должно быть и будетъ лучше. Некрасовъ неспособенъ сказать намъ: жизнь должна быть *страданіемъ, терпите* ваши страданія, миритесь съ жизнью,

какова она есть. Въ его стихотвореніяхъ нѣтъ малодушныхъ жалобъ; онъ не осуждаетъ тѣхъ слабыхъ существъ, которыя плачутъ, но неспособенъ сѣсть съ ними рядомъ и заплакать вмѣстѣ съ ними; въ его произведеніяхъ слышатся ожесточенные крики, звуки сознательнаго негодованія, горькія слезы озлобленія, далеко не безпредметнаго. Онъ говоритъ намъ своими произведеніями: „Мы страдаемъ, но страдаемъ потому, что глупы и вялы; потомки наши будутъ умнѣе насъ, и имъ будетъ легче жить на свѣтѣ; мы страдаемъ, но этого не должно быть и не будетъ; работать, работать надо; опускать руки стыдно и глупо“.

Покуда лучшею работою, достойною поэта и человѣка, является страстное, неутомимое преслѣдованіе зла во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ; преслѣдованіе это выражается въ протестѣ, который не пропадетъ для подрастающаго поколѣнія; чего нельзя искоренить, то надо, по крайней мѣрѣ, обнаружить, вывести на свѣтъ, показать во всемъ величіи безобразія. Чтобы такое клейменіе зла не вышло бездушнымъ перечнемъ преступленій и подлостей, необходимо могучее дарованіе, необходимо, чтобы поэтъ страдалъ вмѣстѣ съ угнетеннымъ и вслѣдствіе этого всею душою ненавидѣлъ обидчиковъ и утѣснителей. Именно такимъ поэтомъ является Некрасовъ; за такого поэта знаетъ его вся грамотная Русь, но я рѣшаюсь еще разъ напомнить объ этомъ, потому что повторять подобныя вещи всегда хорошо и всегда умѣстно.

Приводить ли еще отрывки изъ стихотвореній нашего поэта? Ограничусь двумя-тремя выписками, въ которыхъ выразится то, какимъ образомъ Некрасовъ, поэтъ нашей скорби, откликается на разнообразныя страданія людей, находящихся въ самыхъ различныхъ положеніяхъ. Вотъ тужитъ бѣднякъ:

Все—поводъ къ искушенію,
Все дразнитъ и язвитъ
И руку къ преступленію
Нетвердую манитъ...
Ахъ! еслибъ часть ничтожную!
Старушку полечить,

Сестрамъ бы не роскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелаго
Гнетущаго труда,—
Быть можетъ, буйну голову
Сносилъ бы я тогда!
Покинувъ путь губительный,
Нашелъ бы путь иной,
И въ трудъ иной—свѣжительный
Поникъ бы всей душой.
Но мгла отвсюду черная
Навстрѣчу бѣдняку...
Одна открыта торная
Дорога къ кабаку.—

А вотъ кручина дѣвушки, выходящей замужъ за фабричнаго:

Богъ не безъ милости—ты спасена...
Что же ты такъ безнадежно грустна?
Ждетъ тебя много попрековъ жестокихъ,
Дней трудовыхъ, вечеровъ одинокихъ:
Будешь ребенка больного качать,
Буйнаго мужа домой поджидать,
Плакать, работать да думать уныло:
Что тебѣ жизнь молодая сулила,
Чѣмъ подарила, что дастъ впереди...
Бѣдная! лучше впередъ не гляди!

Вотъ жалобы разсыльнаго, носящаго корректуры журналовъ:

„Знай ходи то въ Коломну, то къ Невскому,
Даже Фр—игъ устанетъ марать:
—Объяви, говоритъ, ты К— — —му,
Что я больше не стану читать!..
(и далѣе 20 стиховъ).

А вотъ цѣлая, обширная картина страданія, въ которой тонутъ, какъ въ необозримомъ океанѣ, всѣ отдѣльныя горести, стѣсненія и лишенія:

Я лугами иду—вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:
Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькій, холодно!..
(и далѣе 7 куплетовъ) *).

Изъ „Русскаго Слова„ за 1861 г.

*) Въ этой же книжкѣ „Русск. Слова“ (№ 11, 1861 г.) говорится о Некрасовѣ въ статьѣ подъ заглавіемъ: „Дневникъ темнаго человѣка“.

* * *

*) Много уже было и много еще будетъ впереди толковъ о Некрасовѣ, много „опредѣленій“ его таланта, опредѣленій самыхъ разнообразныхъ — всѣхъ и не перечтешь! Мы возьмемъ только крайности: одни, вознеся его выше облака ходячаго, соорудили ему почти что пьедесталъ генія, другіе низводили его чуть ли не на степень плохого версификатора. Къ числу послѣднихъ, конечно, принадлежали поклонники такъ называемаго чистаго искусства, для которыхъ желчное вдохновеніе поэта грустными явленіями обыденной жизни казалось преступленіемъ. Что же касается до настоящаго, истиннаго опредѣленія этого таланта, то его чуть ли не лучше всѣхъ (хотя и нѣсколько скромно, — нельзя же иначе!) сдѣлалъ самъ поэтъ...

Твои поэмы безтолковы,
Твои элегіи не новы,
Сатиры чужды красоты,
Но благородны и обидны,
Твой стихъ тягучъ. Замѣтенъ ты,
Но такъ безъ солнца звѣзды видны
Въ ночи, которую теперь
Мы доживаемъ боязливо,
Когда свободно рыскалъ звѣрь,
А человѣкъ бродилъ пугливо,—
Ты свѣточъ истины держалъ
Рукою твердой, но для свѣта
Онъ благотворно не сіялъ,
Какъ свѣточъ генія-поэта.

Хотя это уже и выходитъ „униженіе паче гордости“, но правда и характерность въ этомъ опредѣленіи есть. Еще яснѣе и глубже это опредѣленіе своей духовной и поэтической сущности выразилось у Некрасова въ его стихотвореніи „Муза“, тамъ, гдѣ онъ говоритъ: „Нѣтъ, музы, ласковопоющей и прекрасной не помню надъ собою я пѣсни сладкогласной“, и особенно въ этихъ стихахъ:

*) Вс. *Крестовскій.* „Русское Слово“ 1861 г., № 12.

Но рано надо мной отяготѣли узы
Другой неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для борьбы, страданья и трудовъ,—
Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото—единственный кумиръ...

Муза Некрасова, говоря его же словами, — „муза мести и печали", — и мы любимъ и чтимъ эту злобно-скорбящую музу. Такой поэтъ, какъ Некрасовъ, былъ намъ нужнѣе всего. — Его благородно-рѣзкое, нельстивое слово, вмѣстѣ съ немногими другими голосами и пропагандой Бѣлинскаго, больно царапало наши отупѣвшіе отъ апатическаго сна нервы, хватало за болѣзненныя струны нашего сердца и поддерживало въ насъ, насколько это было возможно при обстоятельствахъ времени, энергію. И Некрасовъ понялъ смыслъ своего призванія, и служилъ ему неизмѣнно, не уклоняясь въ стороны, не дѣлая никакихъ уступокъ и не увлекаясь ложными, хотя и блестящими призраками. Подобными увлеченіями можно попрекнуть многихъ, только не Некрасова, который понималъ, что „покуда не видно солнца ни откуда", то поэту съ подобнымъ настроеніемъ „стыдно спать" и

Еще стыднѣй въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря
И ласку милой воспѣвать.

Эти стихи были не пустое, звучное слово, — Некрасовъ цѣлымъ рядомъ своихъ самыхъ жизненныхъ произведеній доказалъ противное. Отношеніе его къ жизни, какъ поэта, было настоящее, прямое, истинное отношеніе. Онъ глубоко понялъ окружающую его жизнь со всѣми ея болящими, страдающими, угнетенными и темными сторонами. Вѣрнѣе же всего и глубже всего проникъ онъ въ жизнь и потребности народа. Мы говоримъ преимущественно о произведеніяхъ прежняго періода его поэтической дѣятельности. Тутъ нѣтъ ни подслащенности, ни розовыхъ цвѣтовъ, ни идеализаціи,—тутъ настоящая народная жизнь, со всѣми ея радостями и многоскорбными печалями, прошедшая сквозь призму вдохновенія правдиваго поэта.

Вотъ, напр., передъ нами проходятъ, одна за другою, цѣлымъ рядомъ, нѣсколько тяжелыхъ и глубокихъ драмъ, которыя щедро разсыпала по нашей „печальной юдоли“ сама жизнь своими безобразными, противуестественными условіями и требованіями. Вотъ, мимо насъ медленно, благочестивою поступью проходитъ сѣдой старикъ, съ обнаженною головою, весь въ веригахъ, на груди у него мѣдная икона: это дядя Власъ — нашъ старый знакомецъ, съ которымъ часто мы сталкивались въ жизни. Ходитъ уже онъ не первый годъ; онъ искрестилъ всю Россію, прося подаянія на построеніе храма. Какой сановитый, почтенный образъ! Онъ и всѣмъ казался и кажется таковымъ же; иная добродушная старушка, пожалуй, и въ божьи угодники зачислила его; а между тѣмъ было время, когда этотъ самый святой божій человѣкъ

. . . . побоями
Въ гробъ жену свою вогналъ,
Промышляющихъ разбоями
Конокрадовъ укрывалъ,

у всего бѣднаго сосѣдства скупалъ задаромъ хлѣбъ и втрое дралъ съ нищаго въ голодный годъ, а потомъ... ну, а потомъ пошелъ замаливать грѣхи. Положимъ, пошелъ онъ отъ чистаго сердца, съ искреннимъ раскаяніемъ, да только вотъ вопросъ: разумное ли сознаніе привело его къ такому результату?—Нѣтъ! Ему просто-напросто во снѣ привидѣлась чертовщина; онъ испугался, струсилъ, суевѣрный обирало, этой чертовщины, и пошелъ замаливать грѣхъ и „творить доброе дѣло“—церковь построилъ! А между тѣмъ посмотрите, что за грандіозный образъ:

Ходитъ съ образомъ и съ книгою,
Самъ съ собой все говоритъ
И желѣзною веригою
Тихо на ходу стучитъ;
Ходитъ въ зимушку студеную,
Ходитъ въ лѣтніе жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары.

Ну, какъ тутъ не подкупиться этимъ образомъ?! Читатель невольно какъ-то этими стихами позволяетъ положить въ карманъ себѣ взятку—и, совершенно удовлетворенный, мирится съ дядей Власомъ и начинаетъ любить его! Конечно, бываютъ въ жизни и такіе грандіозные Власы, да только рѣдко между ними встрѣтишь искренняго Власа, а большая часть изъ нихъ остаются тѣми же выжигами, пройдохами, кулаками и бездушными грабителями, только подъ іезуитскою маскою благообразнаго смиренія и пощенія. Положимъ, переломъ въ жизни Власа былъ переломомъ къ лучшему; онъ, если не много принесъ существенной пользы, то хоть, по крайней мѣрѣ, не дѣлалъ болѣе зла, да вотъ что обидно: переломъ-то самъ по себѣ нелѣпъ, хоть и глубоко искрененъ, и причины перелома этого еще болѣе нелѣпы. Отсутствіе разумности, здраваго смысла поражаетъ въ подобныхъ явленіяхъ.

Вотъ вамъ другая картина, но какая грустная, какая безотрадная!.. Передъ вами голое поле, съ котораго уже давнымъ-давно сняты хлѣба. Поздняя осень, стаи грачей, пустота и холодъ—вотъ фонъ этой картины. „Только не сжата полоска одна“—и грустную думу наводитъ она на поэта, да и на каждаго, кто только остановится передъ этой картиной. Гдѣ же пахарь?

.... Пахарю моченьки нѣтъ.
Зналъ для чего и пахалъ онъ, и сѣялъ,
Да не по силамъ работу затѣялъ.
Плохо бѣднягѣ—не ѣстъ и не пьетъ,
Червь ему сердце больное сосетъ,
Руки, что вывели борозды эти,
Высохли въ щепку, повисли, какъ плети,
Очи потускли, и голосъ пропалъ,
Что заунывную пѣсню пѣвалъ,
Какъ, на соху налегая рукою,
Пахарь задумчиво шелъ полосою.

Нѣсколько штриховъ — и картина готова; а за этою грустною картиною вашему воображенію предоставляется *дорисовывать цѣлую* и еще болѣе грустную драму разбитой *жизни, разбитыхъ* надеждъ одного человѣка, тщетно стре-

мившагося вырваться изъ удушающей сферы на чистый воздухъ вольнаго простора. И эту жизнь, и эту силу, и эти надежды разбилъ какой-нибудь нелѣпый капризъ посторонняго...

Вотъ вамъ еще одна новая драма, тоже разбитой, порванной жизни, въ которой чуть ли не все — общее съ предыдущей. Передъ вами встаетъ поэтическій образъ Груши, простой крестьянской дѣвушки, которой, вслѣдствіе ничѣмъ неоправдываемаго каприза, дано было образованіе вмѣстѣ съ ея барышней и, вслѣдствіе еще болѣе нелѣпаго каприза, приказано выйти за мужика. Парень ей въ мужья попался добрый, любящій, работящій, который ее

Бить—такъ почти не бивалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку.

Онъ даже и подарки, и обновы ей дѣлаетъ, и жалѣетъ ее, а между тѣмъ, — странное дѣло! — Груня при чужихъ еще ничего, не блажитъ, „а украдкой реветъ, какъ шальная“—

На какой-то патретъ все глядитъ
Да читаетъ какую-то книжку...
Инда страхъ меня, слышь ты, щемитъ,
Что погубитъ она и сынишку:
Учитъ грамотѣ, моетъ, стрижетъ,
Словно барченка, каждый день чешетъ,
Бить не бьетъ—бить и мнѣ не даетъ...
Да не долго пострѣла потѣшитъ!
Слышь, какъ щепка худа и блѣдна,
Ходитъ тоись совсѣмъ черезъ силу,
Въ день двухъ ложекъ не съѣстъ толокна,—
Чай, свалимъ черезъ мѣсяцъ въ могилу...
А съ чего?..

Вы не отдохнули еще отъ тяжелаго впечатлѣнія этой драмы, а передъ вами уже выдвигается новая. Передъ вами парень, котораго безъ вины высѣкъ сотскій. Кажется бы, дѣло бывалое: не онъ первый, не онъ и послѣдній — много и до него было, да только чуть ли не всѣ остальные многіе прошли послѣ такой операціи весь ужасный рядъ тѣхъ нравственныхъ мученій, про которыя разсказываетъ парень:

Какъ подумаю, весь задрожу,
На душѣ все чернѣй и чернѣй.
Какъ теперь на людей погляжу?
Какъ приду къ ненаглядной моей?

Нашептало ему ночью сердце много „неразумныхъ и буйныхъ рѣчей", хотѣлъ ужъ онъ-было привести ихъ и въ исполненіе, да на утро подвернулась сестра съ словами: „не хочешь ли, братикъ, вина?" Парень осушилъ цѣлый штофъ, и уже въ тотъ день не ходилъ со двора!.. Полюбилъ онъ сосѣдскую дочку, да староста поперечилъ, и выдалъ силою ее за другого, немилаго. Выскочилъ парень на улицу съ крикомъ: „Погоди! Разочтусь я съ тобой!" Для смѣлости хватилъ вина, да и задремалъ въ кабакѣ. „А на утро раздумье пришло"... Взялся онъ съ артелью у купца передѣлать въ дому всѣ печи. Передѣлалъ и пришелъ за расчетомъ, купецъ не далъ ни гроша; парень неудачно ходилъ къ нему восемь недѣль; а артель межъ тѣмъ требуетъ разсчета и грозитъ ему острогомъ. Парень махнулъ рукою, сказалъ съ отчаянія: „Пропадай!" и

Побѣжалъ, притаился какъ воръ
У знакомаго дома—и ждалъ.
Да прозябъ, а напротивъ кабакъ,
Разсудилъ: отчего не зайти?
На послѣдній хватилъ четвертакъ,
Подрался—и проснулся въ части...
Одна открыта торная
Дорога къ кабаку!..

Въ разсказанныхъ нами драмахъ разбивались жизни отдѣльно взятыхъ существъ, а въ этой взору нашему является уже какъ бы общій итогъ всѣхъ разбитыхъ и порванныхъ жизней, всѣхъ безвозвратно утраченныхъ силъ, несбывшихся надеждъ, картина скорби и смиреннаго, пришибленнаго терпѣнія,— это „Забытая Деревня" (приводится стихотвореніе)...

Къ этой послѣдней драмѣ прибавлять нечего и пояснять *ее незачѣмъ*: она слишкомъ ясно, просто и краснорѣчиво *сама за себя говоритъ* вашему сознанію и сердцу. Въ дру-

гихъ слояхъ общества страданія личности зависятъ почти настолько же и отъ нея самой, насколько отъ окружающей среды. Въ другихъ слояхъ общества страдающая личность если и не всегда имѣетъ возможность свергнуть съ себя иго страданій посредствомъ какой бы то ни было борьбы, то ей хоть остается возможность чѣмъ-нибудь заявить свой протестъ, слѣдственно хоть какъ-нибудь, но все-таки проявиться активно. Возможность эта уже дается нѣсколько самымъ относительнымъ развитіемъ личности и ея соціальнымъ положеніемъ, съ которымъ болѣе или менѣе ужъ какъ-то невольно соединяется возможность дѣйствія, протеста и отпора наплыву враждебныхъ обстоятельствъ. А тутъ, вѣдь, въ этой замкнутой и приниженной сферѣ, и самое-то страданіе пассивно: оно безропотно и терпѣливо.

Возьмите теперь некрасовскаго „Огородника“ и „Тройку“, и тутъ вы найдете многое, надъ чѣмъ сильно можно будетъ призадуматься, и тутъ поглядите вы не малую драму. Эти вещи какъ-то родственны между собою. Какъ въ той, такъ и въ другой въ основаніи лежитъ та же идея. Идея эта заключается въ сопоставленіи чувства симпатіи, любви, чувства совершенно свободнаго, тѣснымъ и узкимъ условіямъ сословной жизни. Въ первомъ оно падаетъ на мужчину, во второмъ на женщину. Выраженіе обоихъ чрезвычайно граціозно, тепло и поэтично. Въ „Тройкѣ“ за женщину мыслитъ и страдаетъ поэтъ; въ „Огородникѣ“ онъ заставляетъ самого героя высказывать свое горе. Грустнѣе всего на душу читателя дѣйствуетъ та нѣсколько иронически высказанная мораль, которая слѣдуетъ какъ результатъ, какъ выводъ изъ отношеній свободнаго *человѣческаго* чувства любви, не подчиняющагося никакимъ кастовымъ принципамъ, къ тяжелой замкнутости сословныхъ различій.

Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь.

Это слова такія, которыя много и много заставятъ надъ собою призадуматься; но мы не будемъ останавливаться надъ ними; иначе бы это повело насъ слишкомъ далеко —

гораздо за предѣлы нашего журнальнаго очерка!.. Говорятъ намъ: „Огородникъ“ и „Тройка“— вещи аффектированныя, но, Боже мой, что значитъ эта аффектація передъ громаднымъ впечатлѣніемъ, которое, словно молотъ, неотразимо бьетъ въ глубину вашей души! „Тройка“ всѣмъ намъ пришлась по̀ серцу и по плечу. Посмотрите, гдѣ только ее не поютъ, и кто только не поетъ ее; хоть и перевираютъ, да все-таки поютъ! А это, какъ хотите, по нашему мнѣнію, говоритъ безусловно въ пользу произведенія. Нужды нѣтъ, что оно аффектировано,— оно правдиво, оно искренно,—а въ этомъ-то и есть главное дѣло и главная причина его популярности.

Всмотритесь же теперь пристальнѣе и глубже во всѣ эти произведенія, и вы поймете значеніе ихъ для того времени, въ какое они писались.

Отношеніе къ народной жизни Некрасова было реальнѣе всѣхъ остальныхъ поэтовъ, и это не реальность Пушкина, не реальность Кольцова, нѣтъ, это нѣчто свое, совершенно особенное, чисто индивидуальное, что принадлежитъ исключительно одному Некрасову,— это именно — проникновеніе въ самую глубокую сущность народной жизни со стороны ея насущныхъ потребностей и затаенныхъ, незримыхъ страданій. Кольцовъ тоже задѣвалъ эти струны народной жизни, только, по свойству своего таланта, задѣвалъ ихъ со стороны, такъ сказать, психологической, а Некрасовъ со стороны психіатрической, и преимущественно съ соціальной. Въ этомъ ихъ существенное различіе.

Но Кольцовъ стоитъ какъ-то особнякомъ въ нашей литературѣ. Онъ является чѣмъ-то въ родѣ переходнаго звена, связующаго эпоху пушкинскаго періода съ дѣятелями современной намъ русской поэзіи. Кольцовъ не могъ еще стоять посреди тѣхъ животрепещущихъ соціальныхъ интересовъ, которыхъ и самая жизнь того времени въ общей массѣ была почти чужда совершенно и которые только въ настоящую минуту могутъ волновать чувство дѣятелей русской мысли. Поэтому мы оставимъ его въ сторонѣ и посмотримъ лучше, кто изъ современныхъ намъ поэтовъ *касался народной жизни* и какъ, и съ какой стороны, и на-

сколько касался ея? Это гораздо ближе къ намъ, и потому гораздо интереснѣе. Но тутъ — увы! результатъ будетъ весьма скуденъ!..

Въ то время, когда за Некрасовымъ считались уже такія произведенія, какъ „Забытая Деревня“ и др., Майковъ, напримѣръ, не далъ намъ ничего изъ среды народной жизни, оставаясь вѣчно замкнутымъ въ своемъ строгомъ классицизмѣ, и только недавно послѣднія событія вызвали у него два вполнѣ прекрасныхъ стихотворенія, это: „Сфинксовая Загадка“ и „Картина“. Фетъ въ своихъ „Снѣгахъ“ и въ „Гаданьяхъ“ далъ два или три очень милые пейзажика, двѣ или три нѣсколько фантастическія вещи — и больше ничего. Полонскій относился нѣсколько живѣе къ этой жизни, но его отношеніе, во-первыхъ, чисто фантастическое, сказочное, хоть и обаятельное всѣмъ обаяніемъ сказки, а во-вторыхъ, оно очень бѣдно, потому что въ то еще время, сколько помнится, выразилось только въ двухъ его стихотвореніяхъ. Нѣсколько болѣе реальности проглянуло у него въ „Бѣглый“, самомъ послѣднемъ его стихотвореніи. И желательно, конечно, чтобы оно не было послѣднимъ въ этомъ родѣ. И вотъ въ то-то время раздался одинъ только свѣжій и вполнѣ русскій звукъ, не принадлежащій Некрасову. Это была „Запѣвка“ Мея:

Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская,
Благовѣстная, побѣдная, раздольная,
Пригородная, посельная, попольная, и т. д.

Въ этихъ стихахъ почуялась было свѣжая сила. Къ нимъ вполнѣ можно было приложить для охарактеризованія ихъ пушкинскій стихъ:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

И въ то же время появились его „Хозяинъ“, „Русалка“ и нѣсколько другихъ вполнѣ прекрасныхъ въ своемъ родѣ вещей. Но въ талантѣ Мея элементъ *русскаго, народнаго* принялъ не соціальный, не современный, а какой-то археологическій колоритъ. Во всѣхъ его лучшихъ вещахъ этого рода вы невольно чуете *Русь* и Русь народную, если хо-

тите, Русь вѣчную, какою суждено ей быть въ своемъ идеалѣ; если хотите, поющую, празднующую, да только не Русь современнаго намъ народа. Эта послѣдняя только и далась одному Некрасову. Читая Мея, вы можете эстетически наслаждаться; читая Некрасова, вы будете страдать.

Некрасовъ страдаетъ вмѣстѣ съ русскимъ человѣкомъ, но нисколько не идеализируетъ его. Онъ умѣетъ заставить насъ сочувствовать его горю, совершенно не разцвѣчивая его. Онъ глубоко понимаетъ народъ и внѣ всякой идеализаціи становится даже безпощаднымъ въ отношеніи его и проявленіи его жизни и духа. За примѣромъ ходить не далеко: мы припомнимъ вамъ одно его стихотвореніе. Вслушайтесь, всмотритесь въ него:

— Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ
Дрался—тебѣ и книги въ руки,
Да дай сказать словцо и мнѣ:
Мы сами дѣлывали штуки.
— Какъ затесался къ намъ Французъ,
Да увидалъ, что проку мало,
Пришелъ онъ, помнишь ты, въ конфузъ
И на попятный тотчасъ драло:
Поймали мы одну семью,
Отца да мать съ тремя щенками,
Тотчасъ ухлопали мусью,
Не изъ фузеи – кулаками!
Жена давай вопить, стонать;
Рветъ волоса,—*глядимъ да тужимъ!*
Жаль стало: топорищемъ хвать—
И протянулась рядомъ съ мужемъ!
Глядь: дѣти! Нѣтъ на нихъ лица:
Ломаютъ руки, воютъ, скачутъ,
Лепечутъ—не поймешь словца—
И въ голосъ, бѣдненькія, плачутъ,
Слеза прошибла насъ, ей ей!
Какъ быть? Мы долго толковали,
Пришибли бѣдныхъ поскорѣй,
Да вмѣстѣ всѣхъ и закопали...
Такъ вотъ что, служба! вѣрь же мнѣ:
Мы не сидѣли сложа руки,
И хоть не бились на войнѣ,
А сами дѣлывали штуки!

Вѣдь не шутя, морозъ подираетъ по кожѣ, становится страшно отъ этой голой ужасающей правды. Вѣдь, нельзя отказаться: *это наше*, это наша жизнь, или по крайней мѣрѣ, одинъ изъ ея заурядно-характерныхъ эпизодовъ! Въ основѣ этой вещи лежитъ страшное пониманіе русской жизни, пониманіе ее до цинизма, до безпощадности — и вотъ этимъ-то и дорогъ намъ Некрасовъ. Эта странная, но жизненная смѣсь звѣрства, удалой похвальбы этимъ звѣрствомъ и совершенно человѣческаго чувства жалости, состраданія, сожалѣнія вполнѣ свойственны нашему сѣрому человѣку. На это стихотвореніе, сколько помнится, совершенно не было обращено вниманія нашей критики, — а жаль! оно одно изъ самыхъ характерныхъ произведеній Некрасова!

Но если Некрасовъ силенъ безпощаднымъ даже до цинизма отношеніемъ анализа своего къ народу, его характеру и жизни, то столько же силенъ онъ и вѣрою въ этотъ народъ, въ эту темную, но могучую и здоровую силу. Его „Школьникъ“ служитъ порукою въ томъ. Вспомните хоть только это одно восьмистишіе:

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа
Столько славныхъ—то-и-знай,—
Столько добрыхъ, благородныхъ,
Сильныхъ любящей душой
Посреди тупыхъ, холодныхъ
И напыщенныхъ собой.

Припомните также и стихи изъ „Несчастныхъ“. Это уже переходъ отъ безысходнаго отчаянія, мрака и скорби къ могучей вѣрѣ и свѣтлой надеждѣ. Но эта вѣра и надежда пока еще принадлежатъ грядущему, будущему; настоящее навѣваетъ на поэта горькія думы, даетъ ему грустные мотивы. Мотивы ему напѣваетъ только жизнь, зато какіе подчасъ мотивы! Намъ особенно нравятся все-таки мотивы, данные ему народною жизнію.

Вотъ хоть „Коробейники“. Мы съ удовольствіемъ останавливаемся на этомъ произведеніи, потому что оно рас-

крыло намъ въ Некрасовѣ много такого, чего мы, при всей нашей вѣрѣ въ его чуткій талантъ, даже и не предполагали въ немъ. Что это за вещь въ сущности?—опредѣлить невозможно, или, по крайней мѣрѣ, весьма трудно, потому что она не подходитъ какъ-то ни подъ одно піитическое опредѣленіе стихотворныхъ произведеній. Это повѣсть не повѣсть, поэма не поэма, разсказъ не разсказъ, а нѣчто въ высшей степени жизненное, нѣчто трогающее, задѣвающее и поэтическое—и замѣтьте, жизненное болѣе въ частностяхъ, нежели въ цѣломъ, потому что въ цѣломъ-то въ немъ и нѣтъ ничего, т. е. нѣтъ того, что мы привыкли называть *содержаніемъ, сюжетомъ*. Шли коробейники, изъ которыхъ одинъ, Ванюха, разстался съ невѣстой, продали они весь товаръ; Ванюха мечтаетъ, какъ къ Покрову онъ женится, но вдругъ попался имъ на дорогѣ недобрый человѣкъ—лѣсникъ, который убилъ изъ ружья обоихъ разомъ, ограбилъ, да пьяный въ кабакѣ и проболтался про свой грѣхъ, вотъ и все!—Ну, чѣмъ-бы тутъ, кажется, вдохновиться? А между тѣмъ взгляните, что сдѣлалъ изъ этого Некрасовъ! Правда, что къ этому произведенію удобнѣе всего примѣняется его собственный стихъ:

Твои поэмы безтолковы,

обращенный имъ къ самому-же себѣ, да что намъ до того за дѣло, коли въ этой безтолковости есть плоть и кровь, есть обаятельно-захватывающая васъ струя жизни, вѣяніе которой вы инстинктивно чуете чуть что не въ каждой строфѣ!

Вотъ начало этого произведенія—полюбуйтесь на это начало: стихи, одинъ за другимъ, такъ и западаютъ въ вашу память, такъ и шевелятъ вашу душу за ея исключительныя, національныя струны:

«Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
Пожалѣй, моя зазнобушка,
Молодецкаго плеча!
Выди, выди въ рожь высокую!
Тамъ до ночки погожу,
Я завижу черноокую—

Всѣ товары разложу.
Цѣны самъ платилъ не малыя,
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губы алыя,
Ближе къ милому садись!"
Вотъ и пала ночь туманная,
Ждетъ удалый молодецъ.
Чу, идетъ!—пришла желанная,
Продаетъ товаръ купецъ.
Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
Парень съ дѣвицей цѣлуется,
Проситъ цѣну набавлять.
Знаетъ только ночь глубокая,
Какъ поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!

Сколько тутъ удали, широты и страсти въ этой безыскусной простотѣ! Это чисто русская, удалая, задушевно-теплая поэзія. Отрывокъ самъ по себѣ до того художественно-законченъ и цѣленъ, что, право, порой намъ становится даже жаль, зачѣмъ это приступъ къ большой вещи, а не отдѣльное стихотвореніе! Но не однимъ началомъ щеголяютъ „Коробейники",— нѣтъ, въ нихъ разсыпано много хорошаго, много истинныхъ алмазовъ, которые выпукло красуются на общемъ фонѣ, художественно отграненные опытною рукою хорошаго мастера. Вспомните только „пѣсню убогаго странника":

Я лугами иду—вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:
Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькій, холодно! и т. д.

Духъ захватываетъ отъ этой страшной, громадной силы! А между тѣмъ, что можетъ быть безыскусственнѣе и проще этой пѣсни! Но простотой-то она и сильна. Это великая и грозная своимъ величіемъ простота. Дальше уже въ этомъ отношеніи, мнѣ кажется, поэту итти некуда: въ пѣснѣ странника онъ овладѣлъ элементомъ народнаго творчества, онъ пустилъ тайну этого творчества. У насъ много было поддѣлокъ подъ народный стиль, но это не поддѣлка: тутъ

совершенно не видать претензіи сдѣлать эту вещицу, такъ сказать, *„понарядне“*; она написалась, какъ Богъ положилъ на душу, она вылилась непосредственно изъ души, какъ одинъ вопль нашей всеобщей великой скорби! Да, Некрасовъ своею пѣсней сталъ поэтомъ этой великой скорби! И „пѣсня убогаго странника“ не должна быть пройдена равнодушіемъ или невниманіемъ, — нѣтъ, она должна быть подхвачена сотнями тысячъ голосовъ. Да, эта пѣсня не должна быть забыта: она долгая, безконечная наша пѣсня. Самъ Некрасовъ лучше всего и характернѣе всего опредѣлилъ ея значеніе:

Вся-то пѣсня—два словца,
А запой ее, дѣтинушка,
Не дотянешь до конца!
Эту пѣсенку мудреную
Тотъ до слова допоетъ,
Кто всю землю, Русь крещеную,
Изъ конца въ конецъ пройдетъ.
Самъ ее Христосъ угодничекъ
Не допѣлъ—спитъ вѣчнымъ сномъ.

Вотъ смыслъ этой пѣсни! Мы отнюдь не увлекаемся, высказывая эти мнѣнія,—мы только открыто исповѣдуемъ нашу личную искреннюю и задушевную думу. „Пѣсня странника“ заставила насъ еще болѣе вѣровать въ талантъ ея автора. Она намъ много открыла въ немъ. Въ послѣднее время мы болѣе были склонны къ мнѣнію, что талантъ Некрасова выдыхается и слабѣетъ; теперь, послѣ „пѣсни странника“, мы готовы вѣрить, что талантъ этотъ крѣпнетъ и что онъ дастъ намъ еще много впереди. Въ этомъ отношеніи, еще болѣе говоритъ въ пользу нашего убѣжденія одно небольшое стихотвореніе —„Дума“, съ которымъ мы встрѣтились также въ послѣднее время. Это—сила, сила и сила, которая такъ и мечется вамъ въ глаза въ каждомъ отдѣльномъ стихѣ. Широта размаха, чисто русскаго, удаль и здоровье, полное горячей крови, такъ и брызжетъ въ этомъ стихотвореніи:

Сторона наша убогая,
Выгнать некуда коровушку,
Проклинай житье мѣщанское.
Да почесывай головушку. (И т. д.)

Но... чѣмъ больше талантъ, тѣмъ больше и тѣмъ строже съ него взыщется. А Некрасовъ не безупреченъ и не безгрѣшенъ относительно своихъ произведеній. Есть у него вещи, хотя и написанныя подъ вліяніемъ идеи весьма благородной и честной, но написанныя не искренно. Спѣшимъ оговориться: если мы говоримъ *не искренно*, то это значитъ, что появленіе ихъ вызвано не душевной настоятельной потребностью, а просто какимъ-нибудь постороннимъ обстоятельствомъ. Мы возьмемъ „Знахарку“ и „Деревенскія Новости“. Надѣемся, что какъ то, такъ и другое произведеніе настолько извѣстны читающей массѣ, что мы можемъ избавить себя отъ неудовольствія приводить ихъ въ нашемъ очеркѣ. Будь подъ этими произведеніями подписано имя гг. Бенедиктова или Розенгейма, Свистокъ „Современника“ не замедлилъ бы, во время оно, взять съ нихъ извѣстную лепту для своего мѣткаго и злого остроумія; будь они никѣмъ не подписаны, мы бы просто-на-просто прочли ихъ и сказали бы: дрянь, плохо! — тѣмъ и судъ бы весь былъ покончен. Но, признаемся, когда мы увидѣли подъ ними имя Некрасова, насъ весьма непріятно покоробило отъ этого. Покоробило еще болѣе, когда мы увидѣли ихъ рядомъ въ новомъ собраніи его стихотвореній. Скажите, Бога ради, г. Некрасовъ, и для чего вы печатали подобныя вещи? Какъ вы-то сами рѣшились печатать такія плохія вирши, которыя заставляли вчужѣ краснѣть за васъ людей, уважающихъ вашъ талантъ. Эти стихотворенія могъ написать кто угодно, но не вы. Вамъ стыдно подписывать подъ ними свое имя. Писать для какой-нибудь одной современной фразы, которая давнымъ-давно уже успѣла орутинериться и опошлиться, цѣлыя страницы—извините за откровенное выраженіе—стиховной лапши и ерунды—воля ваша!—неприлично, стыдно, въ особенности стыдно для человѣка, который могъ намъ дать „Пѣсню убогаго странника“ и много другихъ безподобныхъ вещей. Мы вамъ высказываемъ это прямо и рѣзко, быть можетъ, даже увлекаясь отчасти, но высказать мягче или совсѣмъ промолчать мы не считаемъ себя вправѣ: съ такимъ талантомъ, какъ Некрасовъ, церемониться нечего, а тѣмъ болѣе щадить его! Его силу *этимъ* не поколеблешь — она слишкомъ крѣпка.

и потому-то давать подобные промахи Некрасову непростительнѣе, чѣмъ кому бы то ни было другому, по крайней мѣрѣ, таково наше искреннее убѣжденіе.

„Деревенскія Новости“ выкупаетъ еще отчасти одна чрезвычайно граціозная картинка, это то мѣсто, гдѣ говорится про мальчика-пастуха, убитаго молніей:

Угомонился Волчокъ:—
Спитъ себѣ. Кровь на рубашкѣ,
Въ лѣвой ручонкѣ рожокъ,
А на шляпкѣ вѣнокъ
Изъ васильковъ да изъ кашки.

Этотъ эпизодъ заставляетъ еще нѣсколько снисходительнѣе смотрѣть на „Деревенскія Новости“. Стихъ Некрасова вообще неуклюжъ и тяжелъ, но мы любимъ эту неуклюжесть и тяжесть — это тяжесть желѣза, тяжесть желѣзнаго молота; въ ней его сила, его мѣткость. Тамъ, гдѣ Некрасовъ вдохновляется и пишетъ отъ души, тамъ его неуклюжій стихъ удивителенъ. И дайте въ этихъ мѣстахъ стихъ майковскій или меевскій, или всякаго другого поэта, вышло бы изъ рукъ вонъ скверно. Тутъ именно нуженъ стихъ Некрасова со всѣми его оригинальными особенностями. Но... это все относится къ тѣмъ произведеніямъ, которыя вылились изъ непосредственнаго вдохновенія настрадавшейся души, а тамъ, гдѣ поэтъ нашъ пишетъ ради одной только заключительной фразы, тамъ эта тяжесть и неуклюжесть переходятъ въ потугу, въ сонливую вялость, и производятъ крайне непріятное впечатлѣніе. Все такъ и кажется, будто идешь въ сумерки по грязному, крайне-ухабистому переулку, когда петербургская оттепель разжидитъ въ грязь и мутную кашицу весь уличный снѣгъ. Да, г. Некрасовъ, подобныя вещи никому непригодны, онѣ никого не научатъ, ни на кого не произведутъ иного впечатлѣнія, кромѣ невыгоднаго для васъ. Вѣдь, согласитесь, что любой публицистъ, даже самый тупой и бездарный, своими десятью строками скорѣе сдѣлаетъ несравненно болѣе пользы, чѣмъ вы сотнею подобныхъ виршей. Слѣдственно, для чего же и писать ихъ, для чего же и не поберечь своего стиха, который, право, заслуживаетъ болѣе уваженія, *чѣмъ вы ему оказываете*?

Къ подобной же категоріи мы готовы отнести и еще одну вашу вещь, которая по формѣ стоитъ, впрочемъ, неизмѣримо выше вашей „Знахарки“ и которая задумана несравненно глубже и сердечнѣе. Это — „Несчастные“, — вещь аффектированная и добродѣтельная, изображающая каторжниковъ до того добродѣтельными, что они даже заслуживаютъ любовь и благоволеніе своихъ начальниковъ, вещь ложная и ложная самымъ незнаніемъ изображаемой жизни, вещь, въ которой только и есть одинъ силуэтъ живого лица—это Кротъ, и только одно правдивое, живое и сердечно-теплое слово, это стихъ:

Чтобъ человѣкъ не баловался.

А что касается до пѣсни преступниковъ, то о такой ложно аффектированной вещи и говорить не стоитъ. Она *сдѣлана* поэтомъ, сочинена имъ, и, право, съ такими данными, какія лежатъ въ основѣ „Несчастныхъ“, должно бы было распорядиться лучше, чѣмъ вы распорядились.

Доселѣ мы говорили объ отношеніи Некрасова, какъ поэта, къ народу; теперь же мы бросимъ взглядъ на отношеніе его къ нашему обществу и нашей такъ называемой или, лучше сказать, подразумѣваемой общественной жизни. Для насъ кругъ предметовъ, служащихъ матеріаломъ для творческой дѣятельности Некрасова, какъ *поэта современности*, представляется раздвоеннымъ. Первую вѣтвь этого раздвоенія, вѣтвь, воспринявшую въ себѣ народную жизнь, мы уже разсмотрѣли. Теперь дѣло за второй. И вотъ именно эта-то вторая вѣтвь и заключаетъ въ себѣ отношеніе его къ нашей общественности. Въ первой онъ является почти исключительно поэтомъ скорби и горя и, замѣтьте, по преимуществу *поэтомъ;* во второй онъ чаще дѣлается негодующимъ сатирикомъ, оставаясь, впрочемъ, въ то же самое время и поэтомъ. Здѣсь у него иронія и болѣзненная скорбь, желчь и злоба, ѣдкая, могучая насмѣшка и почти рядомъ съ нею тяжкій вопль безсилія честнаго человѣка передъ порокомъ и зломъ сплетаются между собою въ одну крѣпкую ткань. Весь отдѣлъ произведеній этого рода непосредственно относится къ сферѣ нашей петербургской жизни. Она вся тутъ,

какъ есть, со своими нравственными людьми, которые, живя согласно съ строгою моралью, никому не сдѣлали въ жизни зла, со своими филантропами, которые ищутъ какъ бы свѣтъ весь заново къ общей пользѣ измѣнить,

А голоднаго отъ пьянаго
Не умѣютъ отличить;

со своими падшими и отверженными за бѣдность созданіями, которыя продаютъ себя изъ-за куска насущнаго хлѣба и нагло презираются за то модною блестящею развратницею, у которой „на лбу роковыя слова“:

„Продается съ публичнаго торга“.

Однимъ словомъ, все, все сошлось и сгруппировалось здѣсь, въ этихъ улицахъ, гдѣ рядомъ съ бѣднымъ гробомъ мчатся великолѣпныя коляски; тутъ всѣ—начиная отъ великолѣпныхъ салоновъ до несчастныхъ матерей несчастныхъ рекрутовъ и даже до жалкаго разсыльнаго изъ типографіи, который подъ грохотъ экипажей, подъ вопли нужды и горя, и самодовольный смѣхъ спесивой наглости и подъ звуки подмокшихъ барабановъ болтаетъ о красныхъ крестахъ и о литераторахъ и о томъ, какъ

Даже Фр--нгъ устанетъ марать.

И все это кишитъ, суетится, бѣснуется и мучится подъ хмурымъ, холоднымъ и кислымъ небомъ; не что иное, какъ это же самое небо нагоняетъ на поэта тоскливыя и безысходно-тяжелыя впечатлѣнія „О погодѣ“ — и въ его впечатлѣніяхъ намъ невольно чуется весь этотъ гнетъ тяжелаго и тлетворнаго петербургскаго неба. Изъ этой жизни нѣтъ исхода, и вырваться некуда. Въ народной скорби для нашего поэта существуетъ еще вѣра въ его будущее, — здѣсь уже не существуетъ ничего. Вспомните только хоть „Ѣду ли ночью ю улицѣ темной“ или „Въ больницѣ“ — и вы вполнѣ оправдаете нашу характеристику. Вотъ общее впечатлѣніе, выносимое читателемъ изъ всего отдѣла стихотво-
реній этого рода.

Съ особеннымъ грустнымъ чувствомъ остановимся мы теперь на заключительныхъ строфахъ стихотворенія „Въ больницѣ“. Мы, безо всякихъ комментаріевъ и психологоэстетическихъ объясненій, просто напомнимъ ихъ читателю. Эти строки и сами за себя говорятъ хорошо и понятно нашему сердцу.

Вотъ они:

Братья—писатели! въ нашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое:
Если бы всѣ мы, не вѣря себѣ,
Выбрали дѣло другое—
Не было бъ точно, согласенъ и я,
Жалкихъ писакъ и педантовъ—
Только бы не было также, друзья,
Скоттовъ, Шекспировъ и Дантовъ!
Чтобъ одного возвеличить, борьба
Тысячи слабыхъ уноситъ—
Даромъ ничто не дается: судьба
Жертвъ искупительныхъ проситъ...

Въ основѣ всѣхъ задушевнѣйшихъ произведеній Некрасова лежитъ горячая и искренняя любовь — и, замѣтьте, любовь гражданская, что составляетъ главную характеристическую черту Некрасова. Некрасовъ—поэтъ-гражданинъ. Одна только эта горячая любовь и вызываетъ его слезы, и скорбь, и желчь, и насмѣшку. Главная причина его скорби—это отсутствіе того идеала, къ которому стремится поэтъ всей душою:

А что такое гражданинъ?
Отечества достойный сынъ.—
Ахъ, гдѣ же онъ? Кто не сенаторъ,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантаторъ,
Кто гражданинъ страны родной?
Гдѣ ты? Откликнись! Нѣтъ отвѣта.
И даже чуждъ душѣ поэта
Его могучій идеалъ!
Но если есть онъ между нами,
Какими плачетъ онъ слезами!!!...

Самъ Некрасовъ болѣе всего склоненъ видѣть въ себѣ сатирика, и только сатирика. Мы думаемъ совершенно на-

оборотъ: сатирикъ-то онъ именно меньше всего,—онъ поэтъ, крѣпко приросшій къ почвѣ русской жизни, поэтъ, сросшійся съ нею до того, что внѣ ея для него ничего не существуетъ, что каждая ея рана, боль и скорбь есть и его рана и скорбь; каждая ея надежда есть въ то же время и его надежда. Сатирикъ какъ-то невольно заставляетъ предполагать въ себѣ дидактизмъ, а въ Некрасовѣ дидактизма почти нѣтъ совершенно. Въ немъ дидактизмъ замѣняется желчью и соболѣзнованіемъ, которыя сами по себѣ жизненны въ высшей степени, тогда какъ дидактика въ сущности есть сухое, холодное, мертвое начало. Дидактикъ, повѣрьте, не написалъ бы ни пѣсни убогаго странника, ни думы, ни Саши и ничего подобнаго.

Если же вы хотите найти ключъ къ разгадкѣ всего направленія поэзіи Некрасова, то прочтите его „Старыя Хоромы“, „Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой“ и нѣкоторыя другія вещи изъ Лары, и вамъ станетъ ясно, что направленіе это подготовила сама жизнь—она первая положила въ него закваску и она же выработала изъ него поэта, который сталъ ея выраженіемъ.

Да, Некрасовъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, принадлежитъ намъ; онъ выработанъ намъ самою жизнію, онъ есть ея выраженіе, ея характеристика, ея протестъ. Скажемъ болѣе: онъ ея послѣднее слово. Настанетъ новый періодъ нашего соціальнаго бытія, выработаетъ общественная жизнь для себя иныя, новыя формы и иное содержаніе, тогда выработаетъ она и новое выраженіе для себя, и новаго поэта, который, быть можетъ, скажетъ тогда свое новое слово. А пока у нея, у этой жизни, остается только Некрасовъ неуклоннымъ выразителемъ ея грустныхъ проявленій. И какъ поэтъ этой жизни, онъ смѣло, прямо и совершенно чистосердечно имѣетъ полное право сказать:

Клянусь, я честно ненавидѣлъ,
Клянусь, я искренно любилъ! *)

Вс. Крестовскій.

*) Разборъ настоящей статьи см. въ слѣдующей крит. статьѣ А. Григорьева. Еще см. крит. статьи 1861 года: „Русск. Рѣчь“, № 103—104, стр. 805—809 *(А. С.)*; „Современникъ“, № 1, въ статьѣ: „Литературн. Воспоминанія“, И. Панаева; *особое изд. Спб. 1876* г. стр., 328—330.

1862 г.

I.

*) Отчего это такъ у насъ теперь устроилось, что ни объ одномъ важномъ и знаменательномъ литературномъ явленіи нельзя въ настоящую минуту начать говорить, не попутавшись напередъ въ нашихъ печальныхъ литературныхъ дрязгахъ? Вотъ первый вопросъ, которымъ задается непремѣнно всякій искренній критикъ, если онъ дѣйствительно искрененъ. И, вѣдь, право, чѣмъ явленіе важнѣе и знаменательнѣе, тѣмъ неизбѣжнѣе является эта горькая необходимость. Хотѣлось бы прямо о дѣлѣ говорить, опредѣлить по крайнему честному разумѣнію мѣсто и значеніе извѣстнаго литературнаго факта въ ряду другихъ фактовъ, оцѣнить его безотностельное достоинство,—такъ нѣтъ: прежде распутай паутину, которая соткалась вокругъ факта, и для того, чтобы распутать эту паутину, во-первыхъ, прежде всего подыми литературную исторію факта, т. е. разскажи, какъ фактъ принимался нашею такъ-называемою критикою, — которая, право, послѣ Бѣлинскаго утратила уже свой первый шагъ передъ литературою;—разсмотри, почему онъ такъ или иначе принимался, и во-вторыхъ, подними непремѣнно общіе вопросы, какъ будто все, что толковано о нихъ великимъ критикомъ, погибло совершенно безслѣдно. Въ примѣръ того и другого неудобства позвольте привести вамъ нѣсколько доказательствъ.

Возьмете ли вы явленія крупныя: ну, хоть, напримѣръ, „Минина“ Островскаго (хорошъ онъ или нѣтъ—не объ этомъ покамѣстъ рѣчь), „Мертвый Домъ“ Ѳ. Достоевскаго, „Стихотворенія Н. Некрасова“; возьмете ли вы явленія тоже значительныя, хотя менѣе яркія, какъ произведенія графа Л. Толстого, начавши говорить о которыхъ, я такъ запутался сразу въ литературныя дрязги, что до сихъ поръ еще высказалъ о самомъ предметѣ разсужденія, т. е. о дѣятельности

*) Аполлонъ Григорьевъ. „Время“ 1862 г., № 7. Статья подъ заглавіемъ „Стихотворенія Н. А. Некрасова“.

Л. Толстого, только сжатыя общія положенія; возьмете ли вы, наконецъ, явленія чисто-художественныя, исключительныя, каковы стихотворенія любого изъ нашихъ лирическихъ поэтовъ,—вездѣ одна и та же печальная исторія.

Ну, какъ, напримѣръ, начать рѣчь хоть о „Мининѣ“, не поднявши съ одной стороны вопроса о томъ, почему такое глухое молчаніе господствуетъ въ нашей критикѣ объ этой драмѣ? Недовольна критика—прекрасно; что жъ изъ этого? Бѣлинскій не молчалъ бы, еслибъ онъ былъ недоволенъ, какъ не молчалъ тогда, когда былъ недоволенъ поэмой Пушкина „Анджело“. Почему спеціалисты дѣла, т. е. глубокіе знатоки исторіи эпохи междуцарствія, не сказали до сихъ поръ своего слова, и почему неспеціалисты могли разразиться только весьма краткою, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма замѣчательною ерундою? Съ другой стороны, какъ вы начнете говорить о „Мининѣ“, не предпославши статьѣ нѣсколько тертыхъ и перетертыхъ, вамъ самимъ давно надоѣвшихъ теоретическихъ разсужденій—не говорю ужъ о сущности драмы вообще? Мы вѣдь все, рѣшительно все перезабыли, что̀ по части искусства вообще ни говорили намъ Бѣлинскій и немногіе вѣрные его ученики. Наше развитіе—дѣйствительно Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ, какъ выразился разъ въ своей неблагопристойной статьѣ пріятель мой „ненужный человѣкъ“. Вѣдь, вонъ же неспеціалисты дѣла историческаго, поторопившись съ своей ерундою, поставили въ упрекъ драмѣ то, что она кончается въ Нижнемъ, гдѣ *драма* дѣйствительно и кончается, и не переходитъ въ Москву, гдѣ начинается уже эпопея, гдѣ великая личность сливается, несмотря на все свое величіе, съ побѣднымъ торжествомъ громаднаго земскаго дѣла...

Вотъ вамъ одинъ фактъ изъ крупныхъ; а насчетъ „мелкихъ“—печальной необходимости „попутаться“ въ дрязгахъ и перетрясти старые вопросы, кажется, и разъяснять нечего. Начните, напримѣръ, говорить о стихотвореніяхъ Фета (я беру это имя, какъ наиболѣе оскорбленное и оскорбляемое нашей критикой...): тутъ, во-первыхъ, надобно кучу сору разворачивать, а во-вторыхъ, о поэзіи вообще говорить, о ея *правахъ на всесторонность*, о широтѣ ея захвата и т. п.,—

говорить, однимъ словомъ, о вещахъ, которыя критику надоѣли до смерти, да которыя и всѣмъ надоѣли, хотя въ то же самое время всѣми положительно позабыты.

Довольно съ васъ этихъ двухъ примѣровъ. Я не упомянулъ даже о послѣднемъ романѣ Тургенева, по поводу толковъ о которомъ пришлось порядочнымъ людямъ защищать великое и любимое имя отъ сближенія съ именемъ г. Кочки-Сохрана, и по поводу котораго чуть ли не придется ратовать *даже* (credite, posteri!!!) со статьею г. П. Кускова, потому что и эта статья тоже, пожалуй, находитъ извѣстный кругъ читателей.

Какъ же не путаница озадачиваетъ бѣднаго критика, лишь только подойдетъ онъ къ знаменательному явленію? Да что я говорю! Ему самую знаменательность-то нашихъ литературныхъ явленій приходится безпрестанно отстаивать. Потому что—странное, вѣдь, это право дѣло! — иностранцы, которые серьезно знакомятся съ русскою литературою, какъ, напримѣръ, гг. Боденштедтъ и Вольфсонъ, Мериме и переводчикъ Делаво, исполняются глубокаго къ ней уваженія, а мы или *игнорируемъ* ее за то, что она не англійская, какъ игнорируетъ ее „Русскій Вѣстникъ“, для котораго ея явленія—величины безконечно малыя; или ничего не видимъ въ ней, кромѣ лжи, какъ не видитъ славянофильство, или просто, наконецъ, какъ теоретики, похѣриваемъ ея значеніе наравнѣ съ значеніемъ литературы вообще, вещи совершенно ненужной въ томъ усовершенствованномъ мірѣ, гдѣ луна соединяется съ землею и гдѣ Базаровъ будетъ совершенно правъ, восторгаясь „свѣжатинкой“.

„Жалобы, вѣчныя жалобы!.. скажутъ мнѣ, навѣрное, немногіе мои читатели:—да говорите, дескать, дѣло, критикъ“. Я ничего бы лучшаго не желалъ, какъ говорить одно дѣло, говорить по возможности сжато, хотя не впадая въ „соблазнительную“ ясность (весьма удачный, по моему мнѣнію, терминъ другого моего литературнаго пріятеля, г. Н. Косицы), т. е. не мысля за васъ до тла и не отучая васъ отъ этого не всегда пріятнаго, но до сихъ поръ считавшагося довольно полезнымъ упражненія. Да, нельзя, рѣшительно нельзя, сами видите. Путаница—повсюду путаница.

Путаница эта, извольте видѣть, собственно двухъ родовъ: или эта путаница въ литературныхъ дрязгахъ, или это путаница въ рутинности мыслей и фразъ.

Два рода этой путаницы необыкновенно ярко кидаются въ глаза по отношенію къ этому большой гласности литературному факту, который называется „Стихотворенія“ Н. Некрасова.

Редакторъ „Времени“, съ которымъ я говорилъ объ этой назрѣвавшей у меня въ душѣ статьѣ, совѣтовалъ мнѣ поговорить сначала о критическихъ толкахъ по поводу стихотвореній любимаго современнаго поэта. Я читалъ эти толки, потому что до сихъ поръ сохранилъ наивнѣйшее уваженіе къ россійской словесности, и интересуюсь не только ей самой, но даже и толками о ней: вотъ это-то послѣднее собственно и составляетъ — впрочемъ, позволительнѣйшую въ лѣта мои — наивность. Въ толкахъ этихъ сразу почуялись мнѣ два указанные мною рода путаницы, — но только еще почуялись, пока я читалъ ихъ какъ дилетантъ. Когда же я принялся за нихъ съ тѣмъ, чтобы изучить ихъ основательно какъ матеріалъ, два рода путаницы для меня въ нихъ окончательно, наияснѣйшимъ образомъ обозначились. Отъ одного рода мнѣ стало довольно тяжело, зато отъ другого весело.

Начну съ послѣдняго. Онъ удивительно рельефно явился въ „Русскомъ Словѣ“, въ статьѣ г. В. К—го. Уморительная, вѣдь, право статья! тѣмъ въ особенности уморительная, что она, повидимому, и прекрасно, и тепло, съ „заскокомъ“ написана, а между тѣмъ въ ней ничего... ровно ничего нѣтъ, кромѣ *казенщины* да *просаковъ*. Право такъ; я говорю безъ малѣйшаго преувеличенія. Ея молодой (по всей видимости) авторъ только и дѣлаетъ, что излагаетъ собственное сочувствіе къ народу да рутиннымъ образомъ восторгается сочувствіемъ къ народу нашего поэта, и съ другой стороны— безпрестанно попадаетъ въ просаки, указывая на такія мѣста въ его стихотвореніяхъ, которыя въ глазахъ всякаго серьезно сочувствующаго и народу и Некрасову человѣка составляютъ просто пятна желчной горячки въ поэтическихъ *отзывахъ этой высокой*, но часто неумѣренно-раздражи-

тельной „музы мести и печали“... Ну, скажите, напримѣръ, какому человѣку съ здравымъ... не говорю смысломъ, это будетъ обидно, — но съ здравымъ чувствомъ, придетъ въ голову написать хоть вотъ эти строки съ слѣдующей за ними выпиской:

„Некрасовъ—говоритъ юный критикъ—страдаетъ вмѣстѣ съ русскимъ человѣкомъ, но *нисколько не идеализируетъ его.* Онъ умѣетъ заставить насъ сочувствовать его горю, совершенно не расцвѣчивая его. Онъ *глубоко* понимаетъ народъ, и внѣ всякой идеализаціи становится даже безпощаднымъ въ отношеніи его и *проявленій его жизни и духа. За примѣромъ ходить недалеко.* (NB. Какъ кому! позволю себѣ замѣтить). Мы припомнимъ вамъ одно его стихотвореніе. *Вслушайтесь,* всмотритесь въ него“.

И за симъ юный критикъ, въ доказательство, вѣроятно, того, какъ недалеко ему ходить за примѣрами, выписываетъ несчастное желчное пятно, подъ вліяніемъ котораго больной, раздраженный поэтъ взглянулъ на великую эпоху 1812 года, отмѣтивши въ ней по болѣзненному капризу только исключительный фактъ. Выписавши цѣликомъ этотъ поэтическій промахъ («Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ“ и проч. Я не буду, кромѣ крайнихъ случаевъ, прибѣгать къ выпискамъ изъ стихотвореній поэта, почти заученнаго читающимъ людомъ), юный критикъ „въ забвеніи чувствъ“ восклицаетъ:

„Вѣдь, не шутя морозъ подираетъ по кожѣ, становится страшно *отъ этой голой, ужасающей* правды. Вѣдь, нельзя отказаться: *это наше* (NB: слова эти — курсивомъ въ подлинникѣ), это наша жизнь или, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ ея заурядно-характерныхъ эпизодовъ. Въ основѣ этой вещи лежитъ *страшное пониманіе русской жизни,* пониманіе ея до цинизма, до безпощадности, — и вотъ этимъ-то и дорогъ намъ Некрасовъ. Это странная, но жизненная смѣсь звѣрства, *удалой* похвальбы этимъ звѣрствомъ и совершенно человѣчнаго чувства жалости, состраданія, сожалѣнія — вполнѣ свойственны нашему сѣрому человѣку. На это стихотвореніе, сколько помнится, совершенно не было обращено вниманіе нашей критики, *а жаль,* оно одно изъ самыхъ *характерныхъ произведеній Некрасова*“.

Что вы, что вы, любезный мой господинъ юный критикъ! Да, вѣдь, вы вовсе не туда забрели, куда хотѣли. Вѣдь, знаете что? Вы совсѣмъ забыли, увлекшись, *о чемъ* это стихотвореніе. Вѣдь, оно о „вѣчной памяти двѣнадцатомъ годѣ“, котораго голая правда, та голая правда, къ которой вы проникнуты такою страстью,—не въ этомъ исключительномъ фактѣ, а въ возстаніи великаго народнаго духа, возстаніи, которое своею поэзіею и мощью сглаживаетъ несчастные и отвратительные эпизоды, неизбѣжные, къ сожалѣнію, во всякой народной войнѣ. Припомните-ка гверильясовъ Испаніи и припомните-ка тоже кстати, что величайшій поэтъ скорби, Байронъ, не на эти факты указываетъ, рисуя широкими чертами картину возвышенной народной борьбы въ первой пѣсни своего „Гарольда“,— онъ, безпощаднѣйшій, конечно, поболѣе Некрасова ко всему, даже къ своей Англіи, онъ, ненавистникъ всякаго насилія. Да припомните-ка еще, когда самъ поэтъ иногда въ своемъ превосходномъ стихотвореніи, здоровомъ и могучемъ стихотвореніи „На Волгѣ“, рисуетъ съ любовью и широкими чертами картину другого, хотя по смыслу менѣе великаго возстанія народнаго духа,—севастопольскаго возстанія. Вѣдь, вы явно увлеклись до „забвенія чувствъ“ Устиньки *). Вѣдь, вы просто вообразили, что стихотвореніе взято изъ эпохи Стеньки Разина. Тамъ точно были бы умѣстны (употребляю ваши, безъ отношенія къ этому стихотворенію, прекрасныя выраженія) „эта странная, но жизненная смѣсь звѣрства, удалой похвальбы этимъ звѣрствомъ“ и проч. А тутъ и удалой похвальбы-то нѣтъ, а есть одна безнравственная похвальба. Вѣдь, одностороннее представленіе событія, представленіе, лишающее событіе его настоящей, то-есть общей правды, то-есть поэтической и исторической правды, можетъ быть прощено больному и раздраженному человѣку, а не поэту. Вы Байрона-то, Байрона-то скорбнаго и раздраженнаго припомните, припомните эту дивную смѣсь негодованія на насиліе и любви къ великому, желчи на Англію и возвратовъ любви къ ней, къ ея величію, — которая власти-

*) *„Праздничный сонъ до обѣда“*. Сцены А. Н. Островскаго.

тельно царствуетъ надъ нашей душою, когда читаете „Гарольда". И не жалѣйте вы, пожалуйста, что не оцѣнила критика этого стихотворенія Некрасова, а пожалѣйте лучше, что больной поэтъ не исключилъ нѣсколько желчныхъ пятенъ изъ ряда своихъ высокихъ созданій. И не этимъ дорогъ намъ Некрасовъ, т. е. не такимъ безпощаднымъ отношеніемъ къ дѣйствительности.

По одному этому эпизоду могутъ уже читатели судить о духѣ статьи. Къ ней, по одному этому эпизоду, можно обратиться съ словами: „Loquela tua manifestam te facit". Просаки вродѣ указаннаго, да казенщина— вотъ ея содержаніе, и говорить о ней серьезно, какъ о толкѣ по поводу стихотвореній Некрасова, — рѣшительно нечего. Это только съ вѣтру.

Обращаюсь теперь къ другой статьѣ, представляющей собою другой родъ критико-литературной путаницы,—путаницу домашнихъ дрязгъ.

Эта другая статья напечатана въ старѣйшемъ изъ нашихъ толстыхъ журналовъ — въ „Отечественныхъ Запискахъ". Въ противоположность вышеупомянутой она явнымъ образомъ писана критикомъ опытнымъ, критикомъ старымъ, исполнена застарѣлыми, такъ-сказать, заскорузлыми домашними дрязгами. Она не бросается въ выпискахъ безразлично на хорошее и дурное: нѣтъ, какъ воронъ падали, ищетъ она желчныхъ пятенъ и тыкаетъ въ нихъ пальцемъ, по большей части справедливо. Иной вопросъ—справедливъ ли весь духъ ея. Для назиданія современниковъ и памяти потомства я позволю себѣ нѣсколько подробнѣе изложить ея содержаніе.

Начинаетъ статья прямо съ упрековъ поэту за то, что онъ въ одномъ стихотвореніи изображаетъ горькими чертами участь поэта, который

Сталъ обличителемъ толпы,
Ея страстей и заблужденій,

и доказывается весьма основательно по отношенію къ нашему времени, что быть поэтомъ обличительнымъ гораздо *выгоднѣе,* чѣмъ быть поэтомъ незлобивымъ. Слово *выгоднѣе...* Въ статьѣ, впрочемъ, не употреблено слово выгоднѣе, но для

тѣхъ, которые привыкли читать между строками, оно въ ней слышно.

Что же такое, спрашиваю я васъ, какъ не домашнія дрязги, подобный пріемъ?.. Отчего въ ту эпоху, когда Гоголь начиналъ одну изъ главъ своихъ „Мертвыхъ Душъ“ элегіею различной участи двухъ писателей: одного, на долю котораго выпало изображеніе „прекраснаго“ человѣка, и другого, на долю котораго досталось изображеніе пошлости пошлаго человѣка, никто не покушался начать статью о его поэмѣ доказательствами, что гораздо *выгоднѣе* въ наше время изображать пошлость пошлаго человѣка?.. А, вѣдь, и тогда уже это хорошо зналось и чувствовалось!.... и тогда карающая поэзія, видимо, брала перевѣсъ надъ спокойной поэзіей... Статья все это очень хорошо сама знаетъ, но ей *выгодно* упрекнуть г. Некрасова за его ложное мнѣніе объ участи поэта-обличителя...

Почему выгодно? спросятъ, можетъ быть, немногіе читатели, непосвященные, несмотря на всѣ наши совокупныя усилія россійскихъ литераторовъ, въ наши arcana fidei, въ наши милыя домашнія дрязги? А вотъ почему. Сразу надобно тонъ задать. Сразу нужно сказать, что желчное вдохновеніе музы Некрасова, если не всецѣло, то по крайней мѣрѣ наполовину—вдохновеніе преднамѣренное, вдохновеніе, такъ-сказать, разсчитавшее свои шаги.

Жалкій, больше позволю себѣ сказать — постыдный пріемъ!.. А, впрочемъ, коли хотите, не новый. Находились же люди, которые, напримѣръ, приписывали Шатобріану преднамѣренность и разсчетливость въ его католическо-романтическихъ стремленіяхъ. Отчего же не заподозрить въ преднамѣренности и поэтовъ стремленій противоположныхъ? Нѣтъ нужды до того, что стихотворенія Некрасова вообще и стихотвореніе, указываемое критикомъ въ особенности — исторически вышли изъ той эпохи, когда обличеніе и кара сами еще не вѣрили въ свою силу, когда сами поэты обличенія и кары, какъ Гоголь, Лермонтовъ и Некрасовъ, смотрѣли искренно, какъ на тяжкій крестъ, на свое мрачное призваніе. Нѣтъ нужды до міра души поэта, возмущеннаго *преслѣдующими* душу тягостными впечатлѣніями, міра, са-

мому поэту подчасъ непереноснаго, и который онъ считаетъ искренно столь же непереноснымъ подчасъ для его читателей. Нѣтъ нужды, наконецъ, и до того, что Лермонтовъ, столь же мало, какъ и Некрасовъ, имѣвшій право жаловаться на безучастіе людей къ его поэзіи, но преслѣдуемый давящимъ его кошмаромъ, суровыми и горькими чертами изображаетъ участь скорбнаго пророка, въ котораго всѣ ближніе его

Кидали бѣшено каменья...

Нѣтъ нужды ни до чего такого. Нужно только одно: внушить ловко и тонко подозрѣніе къ искренности „музы мести и печали“ любимаго читателями поэта...

„Пушкинъ—говоритъ затѣмъ, повидимому, весьма резонно статья — жаловался на толпу, и г. Некрасовъ жалуется на толпу; Пушкинъ жаловался, что толпа не понимаетъ только искусства; г. Некрасовъ жалуется, что толпа понимаетъ искусство; Пушкинъ требовалъ чувства, г. Некрасовъ требуетъ желчи... Какое странное потемнѣніе и въ такой короткій періодъ времени. Здѣсь что-нибудь да не такъ“.

Это точно, что не такъ. Но особенныхъ загадокъ, кажется, искать нечего.

Знаете ли что? Ежели мы сколько-нибудь поглубже всмотримся въ поэтическія избранныя натуры, мы едва ли не дойдемъ до примиренія требованій Пушкина съ требованіями... ну хоть Гоголя, ибо мнѣ, старовѣру, при всей любви моей къ поэзіи Некрасова, все какъ-то неловко, изволите видѣть, поставить его имя на одну доску съ именемъ одного изъ величайшихъ поэтовъ міра. Упрекая ли толпу за непониманіе искусства, какъ Пушкинъ въ то время, когда одно только искусство поднимало душу человѣческую выше общаго фамусовскаго и молчалинскаго строя, и устанавливая въ душѣ новыя требованія, готовило новую эпоху; упрекая ли толпу за то, что она понимаетъ только искусство,—подразумѣвается какое искусство: искусство безъ содержанія, искусство, ставшее баловствомъ, праздным дилетантствомъ, — поэты всегда хотятъ отъ толпы одного: *возвышенія ея* душевнаго строя. Вѣдь, не за то, положимъ, хоть

Некрасовъ упрекаетъ толпу, что она понимаетъ искусство въ пушкинскомъ смыслѣ: до пониманія этого искусства она по большей части не доросла, ибо дорости она — такъ были бы ненужны

Бичи, темницы, топоры;

а за то, что она способна праздно баловаться разными наслажденіями, принимаемыми ею за искусство, и затѣмъ остается такъ же груба и безчувственна... Понятіе объ искусствѣ поклонники такъ-называемаго чистаго искусства, искусства для искусства, довели до грубѣйшей гастрономіи эстетической. Это понятіе, какъ кажется поэту, привилось и къ толпѣ. Вотъ съ этимъ-то онъ и ратуетъ, т. е. съ пошлымъ и низкимъ душевнымъ строемъ толпы, какъ ратовалъ съ нимъ и Пушкинъ, знавшій тоже очень хорошо, какъ

Выстраданный стихъ
Ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой,

и хвалившійся не тѣмъ, что онъ „чистый художникъ“, а тѣмъ

Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ...

Но пойдемте далѣе за искусной и ловкой статьей опытнаго критика.

„Однакожъ наши загадки—говоритъ онъ—будутъ продолжаться на тему только-что выписаннаго нами стихотворенія. Въ немъ цѣлый трактатъ о поэзіи, трактатъ новый, не провѣренный критикой и основанный на новыхъ началахъ—желчи...“

Вѣдь, вотъ охота же, подумаешь, видѣть всюду и вездѣ что-то новое! — невольно прерываю я выписку. Странное это, право, дѣло, что „Отечественныя Записки“, несмотря на свои почтенныя лѣта, не могутъ затвердить для себя мудрый совѣтъ Горація: nil admirari!.. То имъ покажется чѣмъ-то новымъ и особеннымъ наше народное міросозерцаніе, и они разжалуютъ какъ-разъ Пушкина изъ народныхъ поэтовъ, то *имъ вдругъ* ново то, что поэзія, какъ только она вышла *изъ растительнаго* момента, изъ непосредственнаго слiянія

съ народною жизнью, какъ только она стала художественною — носить въ себѣ непремѣнно начала протеста, живетъ анализомъ и этимъ поднимаетъ душевный строй массы. Дѣйствительно, какъ говоритъ критикъ, „понятія наши спутались“; но выраженіе это относится собственно къ нему и къ его журналу. А все виноваты сказки, собранныя г. Аѳанасьевымъ, и псевдо-якушкинскій сборникъ пѣсенъ. Не будь ихъ, этихъ явленій, перевернувшихъ вверхъ дномъ всю критику журнала,— понятія его критиковъ не спутались бы до того, чтобы народность, т. е. національность, грубо смѣшать съ простонародностью и лишить Пушкина его національнаго значенія, вслѣдъ за чѣмъ слѣдовало бы логически лишить національнаго значенія и Гёте, и Шиллера, и даже самого Шекспира, оставшись, да и то съ грѣхомъ пополамъ, при Гебелѣ, Бёрнсѣ и Кольцовѣ. Съ другой стороны, если бъ вчитались хорошенько критики журнала въ напечатанные у нихъ памятники растительной поэзіи, они бы убѣдились, хоть на раскольническихъ стихахъ, напримѣръ, что какъ только народная жизнь раздвояется, поэзія начинаетъ жить протестомъ, — протестомъ и слезъ, и горя, и желчи. „Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія“, говорилъ Надеждинъ. Можно добавить: гдѣ поэзія, тамъ и протестъ. Поэзія есть высшее, лучшее и наиболѣе дѣйствительное узаконеніе этого святѣйшаго изъ правъ человѣческой души. Оттого-то безъ ея побрякушекъ, по слову Гоголя, заглохла бы жизнь и проч.

Кажется бы дѣло очень ясное, и что тутъ попустому путаться? Никакихъ новыхъ началъ, кромѣ изстаринныхъ и вѣчныхъ, въ современной поэзіи нѣтъ, да и быть не можетъ. Новыя формы, а начала все тѣ же, какъ та же душа человѣческая, рѣшительно не подлежащая развитію. Что было для нея поэзіей, то поэзіей и осталось: одно—какъ прошедшее, потерявшее, конечно, свою толкающую впередъ силу относительно къ обществу, но сохранившее свою власть надъ индивидуальнымъ усовершенствованіемъ, другое — какъ настоящее, полное протеста и движенія. Такъ нѣтъ, критику кажется, что новыя „начала эти, какъ и стихотворенія г. Некрасова, успѣли утвердиться въ нашей литературѣ помимо

критики, минуя ея привязчивыя требованія и одною силою обстоятельствъ, силою напора ихъ...“ Да, вѣдь, дѣло-то въ томъ, что если дѣйствительно стихотворенія Некрасова успѣли утвердиться въ нашей литературѣ, то утвердились не во имя новыхъ началъ, а просто потому, что они — поэзія, что въ нихъ душа нашла отзывъ на свою жизнь; а если они утвердились помимо критики, такъ виновата въ этомъ близорукость нашей критики. Дѣло опять очень простое и путаться въ немъ нечего.

Критика наша точно молчала о стихотвореніяхъ Некрасова, и на то были двѣ причины. Одна заключалась въ независящихъ отъ критики обстоятельствахъ, и ее разъяснять не нужно. Другая... другая рѣшительно заключалась въ печальныхъ домашнихъ дрязгахъ, которымъ она предалась съ какимъ-то упоеніемъ по смерти своего великаго руководителя Бѣлинскаго, домашнихъ дрязгахъ, вслѣдствіе которыхъ она долго не признавала Островскаго, тупо молчитъ о Ѳ. Достоевскомъ, восторгалась Обломовымъ и проч. и проч.

По отношенію къ Некрасову являются два сорта домашнихъ дрязгъ. Во-первыхъ, тѣ, вслѣдствіе которыхъ люди, внутренно глубоко сочувствовавшіе его поэзіи, иногда какъ-будто враждебно къ ней относились, приводимые въ справедливое негодованіе преувеличенными возгласами его исключительныхъ поклонниковъ; во-вторыхъ... а во-вторыхъ, тѣ, вслѣдствіе которыхъ явилась, напримѣръ, статья „Отечественныхъ Записокъ“. Первые, хоть и дрязги же, имѣютъ все-таки какой-либо литературный характеръ; другіе же чисто основываются на личныхъ отношеніяхъ къ поэту. Не говоря, конечно, ни слова о сихъ послѣднихъ, критикъ „Отечественныхъ Записокъ“ мѣтко указываетъ на первые.

„Въ самомъ дѣлѣ,— говоритъ онъ,— гдѣ до настоящаго времени оцѣнка таланта г. Некрасова? Ея нѣтъ. Раздавались изрѣдка въ литературѣ похвальные отзывы о немъ, на него возлагались надежды; „современники“, ни сколько не сконфуженные стихомъ г. Некрасова, что „заживо готовятся памятники только незлобивымъ поэтамъ“, говорили: „*если бы да не обстоятельства*, мы имѣли бы случай ви-

дѣть нашего истиннаго поэта"—и эти скромные отзывы „современниковъ" о своемъ поэтѣ замѣняли все: критику, похвалу, скромность и намекъ. Другіе, приведенные въ негодованіе намеками, старались отнять всякія достоинства у г. Некрасова..."

Это очень вѣрно, хотя далеко не полно. Я, впрочемъ, оставлю пока въ сторонѣ толкъ о домашнихъ дрязгахъ, на которые указалъ критикъ „Отечественныхъ Записокъ", и займусь тѣми, на которые онъ по естественному чувству самосохраненія не указываетъ, т. е. буду продолжать анализъ его собственной статьи.

„Мы—говоритъ критикъ вслѣдъ за вышеприведеннымъ мѣстомъ—не будемъ дѣлать ни того ни другого, а съ благодарностью возьмемъ то, что онъ предлагаетъ намъ прекраснаго, и укажемъ то, что, по нашему мнѣнію, есть произведеніе одной желчи, новаго принципа въ поэзіи, котораго мы не признаемъ (мы старовѣры—и признаемъ чувство), или что составляетъ сухой перечень „хорошихъ мыслей", по мнѣнію „современниковъ", но, по нашему мнѣнію, не одно и то же, что поэзія..."

Все это прекрасно, кромѣ безусловнаго отрицанія законности желчи въ поэзіи, которую не должно смѣшивать съ болѣзненными желчными пятнами, и отрицая которую мы должны будемъ развѣнчать Байрона; все это прекрасно, повторяю я, насколько это искренно—мудрено сказать.

„Благодарное принятіе" прекраснаго, находящагося въ стихотвореніяхъ Некрасова, заключается:

1) Въ совершенно дикой и неумѣстной выходкѣ на поэта за стихотвореніе:

„Наивная и страстная душа",

которое критикъ подозрѣваетъ посвященнымъ памяти Бѣлинскаго. Дикость выходки заключается въ томъ, что критику показалось почему-то стихотвореніе поэта обиднымъ.

2) Въ скромной похвалѣ стихотвореніямъ: „Въ деревнѣ", „Несжатая Полоса" и „Забытая Деревня", — похвалѣ, въ которой такъ и слышно, что эти стихотворенія хороши не столько сами по себѣ, сколько по выгодному выбору пред-

мета, потому что ловко приноровились къ потребностямъ времени, при чемъ между прочимъ высказывается новое эстетическое положеніе, что „г. Некрасовъ рѣшительно не художникъ, а *только* лирикъ тамъ, гдѣ онъ *можетъ* совладать со стихомъ“, какъ-будто лирикъ—не художникъ.

3) Въ странномъ сопоставленіи поэмы „Саша“ съ тургеневскимъ „Рудинымъ“ и обвиненіи поэта въ явномъ подражаніи.

4) Наконецъ, въ нѣсколькихъ справедливыхъ замѣткахъ насчетъ желчныхъ пятенъ поэзіи Некрасова.

Какой же заключительный выводъ статьи? А вотъ онъ вамъ цѣликомъ:

„Есть поэты съ міросозерцаніемъ широкимъ и узкимъ: это не подлежитъ сомнѣнію. Многіе, вѣроятно, думаютъ, что г. Некрасовъ принадлежитъ къ первымъ...“

Но я не продолжаю выписки. Вы уже поняли, что Некрасовъ принадлежитъ къ поэтамъ съ міросозерцаніемъ узкимъ. И прекрасно. Вся цѣль статьи заключалась въ этомъ выводѣ.

До опредѣленія существенныхъ свойствъ поэзіи Некрасова, разъясненія историческихъ причинъ ея появленія и громаднаго успѣха—критику нѣтъ дѣла. Онъ пишетъ явно подъ вліяніемъ одного только негодованія на исключительныхъ поклонниковъ Некрасова, и по временамъ подъ вліяніемъ другого сорта домашнихъ дрязгъ. Съ перваго пріема чуется уже въ статьѣ какое-то затаенное враждебное настройство, и не измѣняетъ ей во все ея теченіе.

По отношенію къ вопросу о значеніи поэзіи Некрасова, она рѣшила дѣло столь же мало, какъ рутинно-хвалебная статья г. В. К—го.

II.

А, вѣдь, стоитъ и стоитъ серьезнаго обыслѣдованія вопросъ о значеніи поэзіи Некрасова, ибо значеніе это несомнѣнно. О немъ свидѣтельствуетъ та необыкновенная популярность,—я не скажу еще народность,—которой достигли *эти вдохновенія „музы* мести и печали“. Вѣдь, популярность

эта куплена не однимъ тѣмъ только, что поэтъ затронулъ живую струну современности, указалъ на ея больныя мѣста. Вмѣстѣ съ этими *лирическими*, стало-быть, по мнѣнію критика „Отечественныхъ Записокъ", *нехудожественными* произведеніями являлось множество другихъ, съ большими претензіями на художественность. Они затрогивали тѣ же струны, тревожили тѣ же больныя мѣста русской жизни. И они между тѣмъ почти-что забыты, даже очень талантливыя изъ нихъ, какъ, напримѣръ, „Антонъ-Горемыка". Отчего же живутъ, да еще какъ живутъ, до сихъ поръ самыя первыя пѣсни Некрасова? Какъ „ударили" онѣ разъ „по сердцамъ съ невѣдомою силой", такъ и до сихъ поръ ударяютъ. Можно сказать даже, что сила ихъ на молодое поколѣніе все росла и росла въ теченіе пятнадцати лѣтъ. Стало-быть, есть же въ нихъ что-то такое свое, особенное, „некрасовское", и, стало-быть, это свое, особенное, некрасовское коренится органически въ самомъ существѣ русской національности (я ужъ боюсь употреблять слово „народность", ибо это понятіе слишкомъ обузили въ послѣднее время). И, вѣдь, ужъ что хотите, ничего не подѣлаете: имя поэта не ставится въ рядъ съ именами даже даровитѣйшихъ изъ второстепенныхъ дѣятелей литературы, каковы, положимъ въ разныхъ родахъ, Фетъ, Писемскій, Гончаровъ: нѣтъ, оно на ряду съ именами Кольцова, Островскаго, Тургенева. Шутка! Въ чемъ же эта особенность поэзіи Некрасова и вмѣстѣ въ чемъ ея національность, въ чемъ ея органическая сущность? Вотъ главный вопросъ, который должна предложить себѣ критика.

А между тѣмъ, все-таки прежде чѣмъ приступить къ этому прямому дѣлу, надобно очистить еще послѣдній домашній дрязгъ. Онъ и поведетъ, впрочемъ, къ прямому дѣлу.

Критикъ „Отеч. Записокъ" указалъ на тотъ фактъ, что „современники" слишкомъ нецеремонно выражали свое крайнее сочувствіе къ поэзіи Некрасова, но указаніе его неполно, неточно и главное,—узко. Что намъ за дѣло, что „современники" въ томъ узкомъ смыслѣ, какой явно желаетъ придать этому слову критикъ, говорили о Некрасовѣ, *пожалуй, и* больше того, что привелъ онъ, говорили прямо-

что если бы не обстоятельства, то значеніе поэта въ нашей литературѣ было бы выше значенія Пушкина и Лермонтова?.. Мало ли что говорить у насъ можно. Да сила не въ томъ: они говорили, и ихъ слушали съ сочувствіемъ, слушали настоящіе современники, слушало молодое поколѣніе, и слушая ихъ, только и питалось нравственно почти исключительно некрасовскою поэзіею.

Перенесемтесь за пятнадцать лѣтъ назадъ. Еще имя Некрасова вовсе не извѣстно или извѣстно съ вовсе незавидной стороны. Некрасовъ еще водевилистъ и писатель повѣстей, не производившихъ особеннаго впечатлѣнія, но въ которыхъ, порывшись, найдешь уже заложеніе „мести и печали“. Еще всею силою своей давитъ насъ мрачное обаяніе поэзіи Лермонтова, еще за абсолютнымъ отрицаніемъ Гоголя не видать вдали ни болѣзненно-симпатичныхъ отношеній къ нашей жизни Достоевскаго, ни любви съ грустью пополамъ къ родной почвѣ Тургенева, ни всего менѣе—здоровыхъ, простыхъ пріемовъ Островскаго. Это еще время повѣстей сороковыхъ годовъ съ ихъ вѣчною темою о трагической гибели избранныхъ женскихъ и мужскихъ натуръ, задыхающихся въ грязной и душной „дѣйствительности“. Дѣйствительность наша намъ, совершенно одурманеннымъ привитыми извнѣ идеалами, кажется звѣремъ. Мы боремся съ нимъ, мы клевещемъ даже на этого звѣря, клевещемъ до цинизма, ругаемся надъ воспоминаніями дней,

извѣстныхъ
Подъ звонкимъ именемъ роскошныхъ и чудесныхъ,

разоблачаемъ безжалостно и даже иногда легкомысленно-безжалостно завѣтнѣйшія чувства наши, посмѣиваясь надъ ними и надъ многими дорогими образами. Еще разъ повторяю: мы клевещемъ и на себя и на дѣйствительность, т. е. на начала нашего быта и собственной нашей души... Великій вождь нашъ самъ увлекся въ этотъ „необузданный потокъ“, и влечетъ насъ все далѣе и далѣе всей силою своей сердечной діалектики, всѣмъ пламенемъ своего краснорѣчія. *Бѣлинскій сороковыхъ* годовъ уже не тотъ Бѣлинскій *тридцатыхъ, который* жарко вѣрилъ въ искусство, какъ въ выс-

шее изъ откровеній жизни. Бѣлинскій уже весь — протестъ, и всѣ вмѣстѣ съ нимъ и вслѣдъ за нимъ протестуетъ, протестуетъ жарко, энергически, до крайнихъ граней, до клеветы.

Но не попрекайте, господа, насъ, людей той эпохи, этою клеветою. Законна была эта клевета. Она происходила отъ глубокаго, вполнѣ русскаго, т. е. цѣльнаго увлеченія великими идеалами, и мы, полные этими идеалами, сами, какъ различныя „Наташи“, „Романы Петровичи“ и проч., задыхались въ тѣхъ поверхностныхъ слояхъ дѣйствительности, которые мы съ наивностью принимали за слои бытовые. Въ односторонности нашего взгляда была, вѣдь, и своя доля правды, лежали залоги безпощаднаго и вмѣстѣ прямого анализа. Мы были виноваты въ томъ только, что эти залоги сразу принимали за конечные результаты; что не достаточно всмотрѣлись въ самихъ себя и, снимая наносные слои, думали, что дорылись до почвы и разрывались съ этою почвою. Разрывъ этотъ былъ постоянно привѣтствіемъ и напутствіемъ великаго вождя и сочувствіемъ читающей массы. Мы мчались впередъ, закусивши удила, пока не ударились въ какую-то стѣну. Натуры высшія, какъ Гоголь и Бѣлинскій, даже не выдержали этого удара, и погибли рановременно, мученически. Ни тотъ ни другой не имѣли даже отрады умирающаго Моисея, — отрады видѣть обѣтованную землю хоть издали. Одинъ изъ нихъ, Гоголь, погибъ вслѣдствіе трагической необходимости: ему не было выхода изъ его дороги: великій отрицатель могъ только сочинять, выдумывать положительныя стороны быта и жизни. Другой погибъ вслѣдствіе чистой случайности, уже, можетъ-быть, видя смутно грань поворота дороги. Какъ жизнь сама, пламенный и воспріимчивый, онъ — нѣтъ сомнѣнія — остался бы вѣчно вождемъ жизни, еслибы организмъ его выдержалъ.

Но въ тотъ моментъ, въ который просилъ я перенестись мысленно читателя, мы еще лбомъ въ стѣну не ударились. Мы еще фанатически вѣрили и „въ гордое страданье“, и въ „проклятія право святое“ — позволяю себѣ для большаго couleur locale брать самыя крайнія выраженія, заимствуя ихъ какъ у другихъ, такъ и у себя, у бывалаго себя той старой эпохи... Еще не сказано было или лучше не сочинено

еще было дешевою практическою мудростью охлаждающее слово „Обыкновенной Исторіи“, еще Романъ Петровичъ „Послѣдняго Визита“ не былъ для насъ „педантъ, варенный на меду“, а казался чуть что не идеаломъ человѣка, еще Тургеневъ не принялся за грустный и симпатичный, но тѣмъ не менѣе правдивый анализъ натуры сконфуженныхъ жизнью личностей, вынужденныхъ, по выраженію монологовъ одного поэта,

.....горько надъ своимъ безсиліемъ смѣяться
И видѣть вкругъ себя безсиліе людей;

еще и вдали не виднѣлись намъ ни его „Лишній человѣкъ“, ни пустой, хоть и богато одаренный Веретьевъ, ни безсильный дѣломъ, хотя могучій словомъ Рудинъ, ни честный, но въ конецъ загубленный предшествовавшимъ своимъ развитіемъ Лаврецкій...

Прошли годы—и
что жъ осталось,
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей?

Что осталось отъ всей этой пламенно протествовавшей литературы сороковыхъ годовъ?.. Кто помнитъ „Послѣдній Визитъ“, кто помнитъ повѣсти Сто-одного—эти крайнія, голыя, сухія выраженія протеста, сходившія однако не только съ рукъ, но возбуждавшія даже интересъ своимъ голымъ протестомъ? Кто перечтетъ даже разсказы и повѣсти даровитаго Панаева?.. Знаете ли что̀ для насъ уцѣлѣло изо всей этой эпохи? Стоны сердца одного поэта—да одно некрасовское стихотвореніе, въ которомъ сжались, совмѣстились всѣ новости сороковыхъ годовъ,—первое стихотвореніе, выдвинувшее впередъ личность поэта. Вы, конечно, поняли, что я говорю о стихотвореніи „Въ дорогѣ“, объ этой горькой, односторонней, но правдивой въ своей односторонности пѣснѣ объ избранной и нѣжной натурѣ, загубленной дѣйствительностью, съ которой она разошлась и которая ее не понимаетъ, не можетъ даже понять, что̀ это она

На какой то патретъ все глядитъ,
Да читаетъ какую-то книжку...

Ну, зачѣмъ намъ перечитывать длинныя повѣсти о разныхъ Наташахъ, которымъ вмѣнялась авторами въ добродѣтель такая простая и обязательная вещь, какъ чистоплотность, все въ видѣ протеста противъ грубой и грязной дѣйствительности? Вся эпоха этихъ повѣстей тутъ, въ некрасовской пѣснѣ, отлилась въ сжатую поэтическую форму, точно такъ же, какъ всѣ варенныя на меду скорби Романовъ Петровичей не стоятъ одного изъ горькихъ стоновъ Огарева.

Эта первая изъ некрасовскихъ пѣсенъ совпала съ рядомъ новыхъ, неожиданныхъ явленій въ литературѣ. Она появилась въ „Петербургскомъ Сборникѣ“, а въ этомъ „Петербургскомъ Сборникѣ“ появились „Бѣдные Люди“ Достоевскаго, появилась первая вполнѣ блестящая вещь Тургенева: „Три Портрета“ и его же поэма „Помѣщикъ“, которая была бы великолѣпною вещью, еслибы поэтъ написалъ ее, какъ пародію на повѣсти сороковыхъ годовъ, поэма, въ которой, къ сожалѣнію, серьезно негодуетъ поэтъ на „козлиные“ (вмѣсто: „козловые“) башмаки провинціальныхъ дѣвицъ, на то, что дѣйствительность ѣстъ, пьетъ и спитъ...

Двѣ вещи „Сборника“ произвели общее сильное впечатлѣніе: „Бѣдные Люди“ и некрасовское стихотвореніе „Въ дорогѣ“. Разсказъ Тургенева „Три Портрета“ не былъ оцѣненъ, и былъ только обруганъ К. Аксаковымъ за блестящее изображеніе гнилого человѣка, какъ-будто Тургеневъ выставлялъ за идеалъ своего Василья Лучинова, и какъ-будто онъ, художникъ, виноватъ въ зловѣщемъ обаяніи представленнаго имъ образа!

Не потому только произвело сильное впечатленіе стихотвореніе Некрасова, что оно совмѣстило, сжало въ одну поэтическую форму цѣлую эпоху прошедшаго. И это, конечно, достоинство немалое. Но оно, это небольшое стихотвореніе, какъ всякое могучее произведеніе, забрасывало сѣти и въ будущее. Вглядитесь-ка въ него даже теперь, когда уже пятнадцать лѣтъ прошло съ его появленія. Не говорю о его формѣ, о томъ, что не поддѣлка подъ народную рѣчь, а рѣчь человѣка изъ народа въ немъ послышалась, — нѣтъ, всмотритесь въ его содержаніе, въ новость

постановки стараго вопроса. Когда вы читывали, бывало, „Послѣдній Визитъ“, „Безъ Разсвѣта“ и повѣсти Панаева, вы, читатель, а паче всего вы, читательница, „ничто же сумняся“, съ азартомъ винили грубую дѣйствительность: заѣла она, собака, избранныя личности Еленъ, Наташъ, Романовъ Петровичей! Ну, а, вѣдь, читая даже тогда стихотвореніе Некрасова, вы едва ли съ озлобленіемъ отнеслись къ ямщику, хоть онъ и говоритъ:

А чтобъ бить—видитъ Богъ не бивалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку...

а можетъ-быть, именно потому, что онъ *такъ* говоритъ.

Изъ стихотворенія явно было, что его писалъ человѣкъ съ народнымъ сердцемъ, человѣкъ закала Кольцова, что онъ не сочиняетъ ни рѣчи ни сочувствій. И тѣмъ поразительнѣе была новость этой пѣсни, что подлѣ нея же другія стихотворенія Некрасова, несмотря на силу протеста, непріятно дѣйствовали то рутинностью, то водевильностью своего тона, и потому непріятною для эстетическаго чувства даже и въ такихъ сильныхъ по содержанію вещахъ, какъ:

Жизнь въ трезвомъ положеніи
Куда нехороша!

Въ явленіяхъ, или, лучше-сказать, въ откровеніяхъ жизни есть часто безспорный параллелизмъ. Новое отношеніе къ дѣйствительности, къ быту, къ народу, смутно почувствовавшееся въ стихотвореніи Некрасова, почувствовалось тоже и въ протестѣ „Бѣдныхъ Людей“, протестѣ противъ отрицательной гоголевской манеры въ первомъ еще молодомъ голосѣ за „униженныхъ и оскорбленныхъ“, въ сочувствіи, которому волею судебъ надо было выстрадаться до сочувствія къ обитателямъ „Мертваго Дома“. Затѣмъ дѣло пошло разъясняться. „Петербургскій Сборникъ“ былъ только предвѣстникомъ „Современника“, но еще прежде появленія „Современника“, если память меня не обманываетъ, раздалась другая удивительная пѣсня Некрасова — объ „ого-*родникѣ“, и тоже* „ударила по сердцамъ съ невѣдомою си-

лой". Съ тѣхъ поръ пѣсни Некрасова сдѣлались безъ преувеличенія говоря — событіями.

Но... и вотъ тутъ-то я въ послѣдній разъ поднимаю послѣдній домашній дрязгъ: всѣ ли эти пѣсни, дѣйствовавшія какъ событія на молодое читающее поколѣніе, и какъ событія же дразнившія до пѣны у рта поколѣніе устарѣлое,— всѣ ли онѣ были такъ правильно жизненны, какъ эти двѣ первыя? Человѣкъ съ народнымъ сердцемъ, съ такимъ же народнымъ сердцемъ, какъ Кольцовъ и Островскій, поэтъ (да проститъ онъ мнѣ, одному изъ жаркихъ его поклонниковъ), всегда ли какъ Кольцовъ и Островскій бережно хранилъ чистоту своего народнаго сердца?.. Не кадилъ ли онъ часто личнымъ раздражительнымъ внушеніямъ и даже интересамъ минуты? Всегда ли онъ вполнѣ сознательно и объективно ставилъ себѣ свои мучительные вопросы? Если нѣтъ, то зналъ ли онъ, какой отвѣтственности подвергается онъ передъ судомъ потомства, онъ, неотразимо увлекавшій своими пѣснями все молодое поколѣніе?

Вѣдь, ужъ надобно все сказать. Я не виню Некрасова въ томъ, что молодое поколѣніе въ настоящее время никого, кромѣ его, не читало. Оно вообще ничего не читаетъ, и другъ мой, „ненужный человѣкъ", едва ли не былъ правъ, назвавши его циническую статью—статьею о распространеніи безграмотности и невѣжества въ россійской словесности,— но въ этомъ не виноватъ поэтъ, а виноваты его неумѣренные и исключительные поклонники, въ родѣ покойнаго Добролюбова и др.— Я виню Некрасова въ томъ, что онъ иногда слишкомъ отдавался своей „музѣ мести и печали", руководился подчасъ слѣпо, безсознательно, стало-быть, недостойно истиннаго художника, ея болѣзненными внушеніями. Неужели ему самому любо, что наравнѣ съ высокими его пѣснями, поколѣніе, на пѣсняхъ его воспитавшееся, восторгается безсмысленно и желчными пятнами въ родѣ стихотворенія о двѣнадцатомъ году, „Свадьбы", сказанія о Ванькѣ ражемъ и проч. и проч.? Неужели ему любъ такой безразличный и безсмысленный восторгъ? Вѣдь, онъ поэтъ, и большой поэтъ! Вѣдь, его впечатлительной натурѣ доступнѣе, чѣмъ многимъ другимъ, должна быть простая,

но мученически выстраданная Гоголемъ истина, что „съ словомъ надобно обращаться честно“.

Было время, и не такъ еще давно было, когда я, сочувствуя всѣмъ сердцемъ поэзіи Некрасова, положительно ненавидѣлъ вліяніе этой поэзіи на эстетическое, умственное и нравственное развитіе молодого поколѣнія, хотя очень хорошо сознавалъ, что не сама она, не поэзія виновата, а поэтъ, слѣпо къ ней относящійся, и преимущественно его яростные поклонники. Вѣдь, одной поэзіи желчи, негодованія и скорби слишкомъ мало для души человѣческой. Но теоретики рѣшительно сумѣли увѣрить своихъ послѣдователей, что это одно только и нужно. Своей „соблазнительной ясностью“ они отучали ихъ мыслить; своимъ послѣдовательнымъ азартомъ они отучали ихъ чувствовать широко и многосторонне. На нашихъ глазахъ совершались и доселѣ еще совершаются идольскія требы теоріи. Говорить ли о нихъ? Факты всѣмъ извѣстны. Поэзія Пушкина — не говорю уже другихъ, *меньшихъ* — побрякушки, и въ концѣ-концовъ, поэзія вообще побрякушки. Некрасовъ для теоретиковъ — кумиръ, не потому что онъ поэтъ, а потому что онъ шевелитъ и раздражаетъ. Не могу опять не спросить: любо ли поэту такого рода поклоненіе теоретиковъ, отрицающихъ поэзію вообще? Любо ли ему, поэту съ народнымъ сердцемъ, поклоненіе теоретиковъ, отрицающихъ народность? Наконецъ, любо ли ему безсознательное поклоненіе молодой толпы, эстетически развращенной до безнадежности, — поклоненіе разныхъ фальшиво-эмансипированныхъ барынь, которыя, закатывая глаза подъ лобъ, читаютъ съ паѳосомъ:

„Ѣду ли ночью по улицѣ темной“,

и извлекаютъ изъ этого больного, хотя могущественнаго вопля души — безнадежнѣйшую философію распутства?.. Вѣдь, ужъ сколькимъ порядочнымъ людямъ оскомину онѣ набили этимъ стихотвореніемъ!

Да не оскорбится поэтъ этими укорами. Онъ знаетъ очень хорошо, что они дѣлаются критикомъ не во имя рутинной *нравственности* и, съ другой стороны, не во имя „искусства *для искусства*“. Нравственна въ поэзіи — правда, и только

правда; но зато уже требованіе трезвой, никому и ничему не льстящей и не кадящей правды отъ поэзіи не должно знать тоже никакихъ кажденій и никакихъ приличій. Правда поэзіи никогда не должна быть личная или минутная правда. Поэзія не простое отраженіе жизни, безразличное и безвыборное въ отношеніи къ ея безконечно разнообразнымъ случайностямъ, а осмысленіе, оразумленіе, обобщеніе явленій. Въ томъ ея смыслъ, значеніе, законность, вѣчность— вопреки ученію теоретиковъ, осудившихъ ее *пока* на рабское служеніе теоріи, а въ будущемъ на конечное уничтоженіе, какъ вещь ненужную и безполезную, да вопреки же и ученію эстетическихъ гастрономовъ, обратившихъ ее въ какой-то sauce piquante жизни. Поэты истинные, все равно, говорили ли они:

Я не поэтъ – я гражданинъ,

или:

Мы рождены для вдохновеній,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ,—

служили и служатъ одному: идеалу, разнясь только въ формахъ выраженія своего служенія. Не надобно забывать, что руководящій идеалъ, какъ Егова израильтянамъ, является днемъ въ столпѣ облачномъ, а ночью въ столпѣ огненномъ. Но каково бы ни было отношеніе къ идеалу, оно требуетъ отъ жреца одного: неуклонной, неумытной правды.

Вотъ почему вездѣ, гдѣ поэтъ, и такой большой по натурѣ поэтъ, какъ Некрасовъ, увлекаясь минутнымъ раздраженіемъ, не договариваетъ полной правды, или далеко переступаетъ предѣлы общей правды, критика должна быть въ отношеніи къ нему безпощадна.

А она до сихъ поръ или безусловно и безразлично восторгалась его поэзіею или молчала.

Безусловно и безразлично восторгалась та критика, для которой поэзія вообще — побрякушки, терпимыя только до поры до времени. Молчала критика, которую (хоть это и очень „жалости подобно“, хоть это и броситъ, пожалуй, на нее тѣнь смѣшного) не обинуясь, назову я однако *обиженною.*

Да, она дѣйствительно обижалась, эта критика, упорно вѣрующая въ вѣчность законовъ души человѣческой и въ вѣчное значеніе вѣчнаго искусства,—но не обижалась самой поэзіей Некрасова, а исключительнымъ деспотизмомъ этой поэзіи; обижалась за человѣческую душу, которой многообразныя и широкія требованія такъ безжалостно обрѣзывались и суживались теоретиками, и потому собственно обижалась, что побѣда факта была на сторонѣ теоретиковъ. Одинъ изъ глубокихъ и самостоятельнѣйшихъ мыслителей въ нашу эпоху знаменъ, доктринъ и теорій, не стоящій ни подъ какимъ знаменемъ, Эрнестъ Ренанъ, сказалъ гдѣ-то: „il n'y a que des pensées étroites qui régissent le monde“. И онъ совершенно правъ. Узкая, т. е. теоретическая мысль можетъ быть всегда изложена, при извѣстной степени таланта въ излагателѣ, до „соблазнительной ясности“. Развитіе ея весьма несложно. Полнѣйшее отрицаніе съ одной стороны (а читатель знаетъ, что нѣтъ ничего сильнѣе отрицанія) и вдали идеальчикъ, хотя на время и окружаемый таинственнымъ нимбомъ, но тѣмъ не менѣе очень доступный. Вотъ и все. Другой вопросъ — почему, по какимъ побужденіямъ душа человѣческая легко ловится на удочку отрицанія. Если читатели только справятся съ собственной совѣстью, то увидятъ, что часто, по крайней мѣрѣ, исключительное сочувствіе къ отрицанію основывается у нихъ на рабской боязни показаться менѣе умными и передовыми людьми, чѣмъ другіе умные и передовые люди. Другой тоже вопросъ—успокоится ли душа человѣческая на доступномъ идеальчикѣ?

Вотъ почему постоянно молчала обиженная критика о поэзіи Некрасова. Глубоко сочувствуя ей самой, она нерѣдко обращалась къ ней внутренно со словами:

Люблю тебя, моя комета,
Но не люблю твой длинный хвостъ—

тѣмъ болѣе, что между кометою и ея хвостомъ видѣли связь не органическую, а механическую, чисто случайную, *и злясь на это и обижаясь* странными, уродливыми послѣдствіями *факта, о* самомъ фактѣ, т. е. о поэзіи Некрасова,

прорывалась только „скрежетомъ зубовнымъ“—указаніями на Ваньку ражаго, на „торгаша, у коего украденъ былъ колачъ“ и прочія, весьма мало изящныя пятна могучей, но довольно неряшливой „музы мести и печали“.

Но чтобы не оставить ничего недоговореннымъ въ настоящей статьѣ, чтобы до послѣднихъ, крайнихъ предѣловъ послѣдовательности довести искренность, я долженъ сказать, что обиженная критика сама была не во всемъ права и чиста. Она долго и упорно сидѣла сиднемъ на одномъ мѣстѣ; вѣрующая въ откровенія жизни, и потому самому жарко привязанная къ откровеніямъ, ею уже воспринятымъ, она была нѣсколько непослѣдовательна въ своей вѣрѣ. Она какъ-будто недовѣрчиво чуждалась новыхъ жизненныхъ откровеній и безсознательно впала на время въ односторонность.

Чтобы читатели совершенно ясно поняли, въ чемъ вся „суть дѣла“ la pointe de la chose, я опять попрошу ихъ перенестись мысленно въ эпоху нашихъ эстетическихъ понятій уже не за пятнадцать лѣтъ назадъ, а нѣсколько ранѣе,—лѣтъ за двадцать.

Вѣдь, это была хорошая тоже эпоха нашего духовнаго развитія, плодородная и обильная результатами эпоха, когда Рудины „безобразничали“ до самой страшной діалектической смѣлости,—до смѣлости крайняго *положенія*, смѣлости несравненно болѣе страшной, чѣмъ смѣлость крайняго *отрицанія*,—до статей Бѣлинскаго, о „Бородинской Годовщинѣ“. Нѣсколько разъ уже случалось мнѣ говорить объ общихъ чертахъ этой эпохи *отрочества* нашего сознанія, эпохи, когда Рудины на вѣру и съ пламенною вѣрою приняли змѣиное положеніе учителя: „was ist, ist vernünftig“, и принялись съ азартомъ за послѣдовательнѣйшее оправданіе всяческой дѣйствительности. Съ высоты величія смотрѣли они тогда на гораздо болѣе практическихъ и возмужалыхъ, чѣмъ они, Бельтовыхъ, казавшихся имъ жалкими фрондерами,—а Бельтовы „riaient dans leur barbe“, зная инстинктивно и практически, что змѣя кусаетъ свой хвостъ... Бельтовы оказались, конечно, правы во внѣшнихъ результатахъ, но едва-ли бы одни они, безъ Рудиныхъ, могли привести наше сознаніе къ тѣмъ многознаменательнымъ результатамъ, ко-

торые являются въ настоящую эпоху. Вѣдь, Рудины были, съ одной стороны, Бѣлинскій, съ другой—лучшія силы славянофильства...

Но дѣло не въ общемъ характерѣ той эпохи отрочества нашего сознанія, а въ тогдашнихъ нашихъ эстетическихъ понятіяхъ.

Жаркіе неофиты новой вѣры, послѣдовательные до безпощадности, какъ всѣ русскіе люди,—ибо намъ жалѣть-то, казалось, было нечего,—мы отреклись разомъ отъ всѣхъ литературныхъ кумировъ, которымъ еще за годъ какой-нибудь совершали вакханальныя требы... Мы отреклись отъ всякой „тревожной“ поэзіи, заклеймивши ее именемъ „субъективной“: хуже и обиднѣе прозвища въ то время не было какъ „субъективность“... „Субъективность“ въ поэтѣ была чуть-чуть что не уголовщиной въ глазахъ тогдашнихъ Рудиныхъ. Съ вождемъ сознанія, Бѣлинскимъ, молодое поколѣніе эпохи отреклось во имя художества и объективности отъ Гюго и Бальзака, за годъ назадъ ими боготворимыхъ, молчало въ какомъ-то недоумѣніи о Байронѣ и съ высоты отроческаго величія начало посматривать на великаго Шиллера, которому неизмѣнно вѣрны оставались *практическіе* Бельтовы. Результатомъ было одностороннее, но глубокое пониманіе искусства, до того глубокое, что слѣдъ его не исчезъ даже тогда, когда съ коня художественности и объективности великій критическій вожатый пересѣлъ на коня паѳоса, и выставилъ намъ на поклоненіе Санда, не совсѣмъ исчезъ даже и тогда, когда онъ осѣдлалъ яраго бѣгуна протеста и понесся на немъ, увлекая насъ за собою...

Въ односторонности пониманія поэзіи была глубина дѣйствительности. Односторонность встрѣчала себѣ оправданіе техническое во всѣхъ великихъ мастерахъ искусства—въ старомъ Гомерѣ и въ старомъ Шекспирѣ, въ Гёте и въ Пушкинѣ, даже въ Байронѣ и Шиллерѣ, когда ближе присмотрѣлись къ основамъ творчества и въ фактурѣ этихъ великихъ художниковъ, даже въ самой Сандъ, гдѣ она не увлекается теоріями своихъ „amis invisibles“... Идеалъ поэта поистинѣ представлялся великимъ: сила, какая бы она *ни была, огненная и* стремительная, или полная любви и

спокойствія, но всегда самообладающая, всегда объективная, даже въ субъективнѣйшихъ изліяніяхъ, все возводящая въ „перлъ созданія“. Согласитесь, что, вѣдь, много и правды въ этомъ идеалѣ, по крайней мѣрѣ, на двѣ трети, если даже не на три четверти. Разстаться съ этимъ идеаломъ и съ его мѣркою не легко критикѣ, которая себѣ его усвоила. Въ особенности относительно лирической поэзіи сформировался у критики опредѣленнѣйшій, строжайшій и тончайшій вкусъ. Оно и понятно. Кто воспитался на самомъ ясномъ и яркомъ изъ поэтовъ, на Пушкинѣ, да на стальномъ стихѣ Лермонтова, тому трудно помириться и съ многоглаголаніемъ, „въ немже нѣсть спасенія“, этимъ общимъ французскимъ недостаткомъ лирическихъ произведеній величайшаго поэта Франціи Гюго, и еще болѣе того—съ неряшливостью современныхъ нашихъ музъ. Ядра, зерна, Kern прежде всего требовала критика отъ лирическаго стихотворенія и скорлупы вокругъ него ровно настолько, насколько это нужно—ни больше ни меньше. „One shade the less, one ray the more“ и проч.; больше—такъ будетъ пухло и водянисто, меньше—голо и сухо. Требованіе строгое, суровое, но, вѣдь, какъ хотите, справедливое технически, по крайней мѣрѣ, оправдывающееся на созданіяхъ всѣхъ великихъ артистовъ—отъ „моремъ шумящихъ“ гекзаметровъ Одиссеи до мѣдно-литыхъ терцинъ „Inferno“, отъ прозрачной ясности пушкинской „Полтавы“ до мрачной сжатости байронова „Гяура“.

Съ другой стороны, критика требовала отъ лирическаго стихотворенія, чтобы въ немъ самое личное, не теряя своего личнаго характера, пожалуй, самаго капризнаго, пожалуй, самаго угловатаго,—обобщалось, по любимому тогдашнему выраженію, нынѣ страшно опошлившемуся—„возводило въ перлъ созданія“, т. е. проще говоря, выяснялось такъ, чтобы его особность, его самость становилась ярка и наглядна, понятна для всѣхъ, являлась бы съ правами законнаго гражданства. Понятно, что вслѣдствіе этого начала глубочайшія ли тайны внутренняго міра, высказываемыя Тютчевымъ, капризнѣйшія ли и тончайшія изъ ощущеній Фета—равно были законны для этой критики. Между тѣмъ критика не была только критикой формъ: она узаконивала всѣ движенія, ощущенія,

инстинкты, даже призраки ощущеній души человѣческой, лишь бы все это облекалось въ объективную форму, не стѣсняя, впрочемъ, поэтовъ ни пушкинской ясностью ни байроновскою сжатостью, предоставляя на ихъ волю колоритъ формы. Требованіе опять таки справедливое технически, но оно-то, послѣдовательно проведенное, и вело насъ къ односторонности.

Не подымая уже вопроса о томъ, что это воззрѣніе лишало законнаго существованія цѣлыя полосы европейской поэзіи вообще, что передъ нимъ исчезали почти всѣ французы новые и старые, исчезали Мильтоны и Тассы, я только обращусь къ современнымъ намъ и притомъ чисто лирическимъ явленіямъ. Вспомните, что не только о Некрасовѣ упорно молчала обиженная критика: она стала совершенно равнодушна къ Майкову и вовсе не признавала Мея. Явленія, кажется, совершенно несходныя, даже во многихъ случаяхъ противоположныя, но между тѣмъ они равно исчезали передъ критическими принципами, проведенными до крайней послѣдовательности. Недовольная преизбыткомъ чисто-субъективныхъ впечатлѣній, примѣсью водевильной грязи и вообще неряшливостью формъ музы Некрасова, хотя часто невольно, нехотя сочувствовавшая ея несомнѣнной силѣ, обиженная критика видѣла въ Майковѣ и Меѣ только богатство формъ, техническое мастерство безъ внутренняго содержанія, безъ той личной особенности воззрѣній и чувствованій, которая давала въ ея глазахъ право на мѣсто въ жизни лирической поэзіи. Она видѣла—чтобы яснѣй и удобопонятнѣй выразиться—въ Некрасовѣ пѣвца съ огромными средствами голоса, но съ совершенно попорченной манерой пѣнія; въ Майковѣ и Меѣ—при огромныхъ натуральныхъ средствахъ, совершенное отсутствіе какой-либо манеры...

Всякій принципъ, какъ бы глубокъ онъ ни былъ, если онъ не захватываетъ и не узакониваетъ всѣхъ яркихъ, могущественно дѣйствующихъ силою своею или красотою явленій жизни, одностороненъ, слѣдовательно ложенъ. И ложь его скоро обличается, когда развившаяся изъ него *доктрина молчаніемъ* встрѣчаетъ явленія, силѣ которыхъ

сама она противостоять не можетъ, но которыя ей не по шерсткѣ; когда не сочувствуетъ она ряду другихъ явленій, которыхъ красота не подходитъ подъ ея глубокій, но все-таки одностороній принципъ.

Найдется ли когда-либо всесторонній принципъ — я не знаю, и ужъ, конечно, не мечтаю самъ его найти. Принципъ, который выдвинула доктрина исключительныхъ поклонниковъ некрасовской поэзіи, еще уже, еще одностороннѣе. Критикѣ остается вѣрить въ одно: въ откровеніе жизни; вѣрить, разумѣется, не слѣпо, ибо съ слѣпою вѣрою узаконишь, пожалуй, подъ вліяніемъ минуты и напряженный satyriasis г. Щербины, и salto mortale юной музы г. В. Крестовскаго, и „мишуру“ г. Минаева, а отыскивая органическую связь между явленіями жизни и явленіями поэзіи, узаконивая только то, что развилось органически, а не просто діалектически. Такъ, напримѣръ, „мишура“ г. Минаева — вѣдь, это діалектическое послѣдствіе поэзіи Некрасова; но органическое ли оно? Такъ въ сферѣ болѣе широкой разныя топорныя издѣлія александринскихъ драматурговъ настоящаго времени и множество печатаемыхъ въ нашихъ журналахъ сценъ и этюдовъ изъ купеческаго быта — діалектическія послѣдствія Островскаго, но органическое начало остается только за драмами Островскаго. Надобно различать ядро отъ шелухи.

Очистивъ съ возможной искренностью дѣло о Некрасовѣ отъ всего посторонняго, отъ всего, что собственно до его поэзіи не относится, я могу теперь приступить къ анализу поэтической дѣятельности нашего поэта.

III.

Истинная существенная сила явленій искусства вообще и поэзіи въ особенности заключается въ органической связи ихъ съ жизнью, съ дѣйствительностью, которымъ они служатъ болѣе или менѣе осмысленнымъ и отлитымъ въ художественныя формы выраженіемъ. А такъ какъ никакая жизнь, никакая дѣйствительность не мыслимы безъ своей народной, т. е. національной оболочки, то проще будетъ

сказать, что сила эта заключается въ органической связи съ народностью.

Идея національности въ искусствѣ вовсе не такъ узка, какъ это покажется, можетъ быть, ярымъ поборникамъ прогресса. Она вовсе не исключаетъ, конечно, „общечеловѣчности“, да и не можетъ ея исключать. Основы общечеловѣчности лежатъ даже въ растительныхъ, повидимому, исключительныхъ явленіяхъ искусства, т. е., напримѣръ, въ поэтическомъ мірѣ народныхъ сказаній и миѳическихъ представленій, связанныхъ у всей индо-кавказской расы довольно очевидною, а у расъ вообще хотя и скрытою, но все-таки необходимо существующею нитью. Чѣмъ шире развивается національность, тѣмъ болѣе амальгамируется она съ другими національностями, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ не теряетъ своей особности въ жизни и искусствѣ на самыхъ верхахъ своего развитія. Шекспиръ, Байронъ, Диккенсъ и Теккерей, Гете, Шиллеръ, Гофманъ и Гейне, Дантъ и Мицкевичъ, Гюго и Сандъ — достояніе общечеловѣческаго интереса, но вмѣстѣ съ тѣмъ они въ высшей степени англичане, нѣмцы, итальянцы, поляки и французы. Если нельзя равномѣрнаго общечеловѣческаго значенія приписать нашимъ большимъ поэтамъ: Пушкину, Грибоѣдову, Лермонтову, Гоголю, Тургеневу, Островскому,— виною этому не недостатокъ въ нихъ силы, а національная замкнутость содержанія. Къ пониманію этого замкнутаго міра европейскіе наши братья должны *подходить*, и тѣ изъ нихъ, которые брали на себя трудъ этотъ, т. е. *подходили*, исполнялись глубокаго уваженія къ работавшимъ и работающимъ въ немъ силамъ.

Развиваю эти общія положенія потому, что они, къ величайшему сожалѣнію, совершенно позабыты. Съ одной стороны, въ лицѣ западничества мы отреклись, да и доселѣ еще безмолвно отрекаемся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, отъ всякаго значенія работы нашихъ силъ, еще подавляемые сравненіемъ ея съ широкою работою силъ романо-германскаго міра. Съ другой стороны, мы въ лицѣ славянофильства отрицаемъ, какъ ложь, все значеніе этой работы, съ *тѣхъ поръ какъ она* перестала совершаться въ узкой *раковинѣ*, — *раковинѣ* собственно не національной, чего не

хочетъ видѣть славянофильство, а византійско-татарской. Съ третьей стороны, наконецъ, въ лицѣ теоретиковъ мы вообще отрицаемся отъ идеи національности въ пользу общей идеи, которая на языкѣ благопристойномъ зовется человѣчествомъ, а на циническомъ, хотя въ этомъ случаѣ очень мѣткомъ языкѣ père-Duchesne'я новѣйшихъ временъ—„человѣчиной“.

Не разъ уже было отвѣчаемо людьми, вѣрующими въ жизнь, философію, искусство и національность, на эти различнаго рода отрицанія. Возраженія эти могутъ быть удобно и легко сжаты, такъ-сказать, приведены къ знаменателямъ.

Перваго рода отрицателямъ отвѣчать можно, что какъ ни широко развилась романо-германская жизнь, но, вѣдь, намъ не повторять же ее стать: она для насъ прошедшее,—какъ для нея самой была прошедшимъ жизнь эллино-латинская. „Ужъ какъ ни какъ, а сдѣлалось“, что мы должны жить собственною жизнью. Совершенно вѣря съ г. Буслаевымъ въ органическую связь нашихъ растительныхъ, миѳическихъ и поэтическихъ основъ съ основами обще-европейскими, мы не можемъ однако утаить отъ себя того, что „волею судебъ“ на нихъ лежатъ такіе византійскіе и татарскіе слои, которые по формѣ образовали изъ нихъ нѣчто совершенно новое. Новость и особность эта приводила нѣкогда въ соблазнъ самые сильные умы, каковы были Чаадаевъ и Бѣлинскій, а пожалуй и доселѣ способна приводить въ соблазнъ умы ограниченные и отставшіе; не очень давно еще повторилъ г. Гымалэ старую пѣсню о безсмыслiи нашего сказочнаго міра, его миѳическихъ и поэтическихъ представленій.

Второго рода отрицателямъ отвѣтить можно и должно, что сколь ни похвально въ нихъ смиреніе передъ старымъ фактомъ, т.-е. передъ московскою Русью, но исторія наша до сихъ поръ представляетъ на всякомъ шагу печальныя доказательства того, что на этомъ смиреніи далеко не уѣдешь. Притомъ же, глубокомысленнѣйшій изъ мыслителей этого направленія всегда различалъ божье попущеніе отъ божьяго соизволенія. Но какъ бы то ни было, и къ до-петровской

Руси воротиться Русь едва ли бы захотѣла, къ Руси же XII столѣтія, хотя бы и хотѣла, да не можетъ, по крайней мѣрѣ, относительно формъ. Прожитой нами послѣ реформы жизни не уничтожишь: она *была*, и отрицать, какъ ложь, силы, въ ней работавшія, донъ-кихотская потѣха, конечно, невинная, но ни мало не забавная.

Третьяго рода отрицателямъ отвѣчать нечего до тѣхъ поръ, пока окончательно не усовершенствуется „человѣчина“. Это же будетъ, когда чортъ умретъ: а у него, по сказаніямъ, еще и голова не болѣла.

Идея національнзма остается, стало-быть, единственною, въ которую можно безопасно вѣрить въ настоящую минуту.

Меня спросятъ, можетъ-быть: почему я иностранные термины „національнзмъ“, „національность“ употребляю, вмѣсто русскаго термина „народность“? А очень просто—поневолѣ, потому что въ послѣднее время запуталось множество вопросовъ, а въ томъ числѣ запутался и вопросъ о народности.

Народность явно и исключительно принимается славянофильствомъ то за растительную то за до-петровскую; „Отечественными Записками“, съ тѣхъ поръ какъ онѣ познакомили себя и свою публику съ псевдо-якушкинскимъ сборникомъ пѣсенъ, — то за растительную народность, то исключительно за простонародность. Да это бы еще ничего, что теоретики того или другого сорта спутали сами для себя и для многихъ весьма простую вещь. Недавно человѣкъ дѣла, художникъ, да еще не малый, не скудно одаренный силами, графъ Л. Толстой отозвался—и отозвался какъ-будто отрицательно на кабинетный вопросъ г. Дудышкина—о томъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? Онъ объявилъ въ своей „Ясной Полянѣ“, что опыты приблизить перваго нашего великаго поэта къ народному пониманію не удались и не удаются. Нужды нѣтъ, что этотъ фактъ можетъ приводить въ соблазнъ только тѣхъ, кто на время или навсегда проникнулись вѣрою въ безусловную правомѣрность растительной народности, — фактъ все-таки приводитъ въ соблазнъ: *фактъ* подтверждаетъ, повидимому, одно изъ основ-

ныхъ положеній г: Дудышкина, что Пушкина народъ не читаетъ.

„И не будетъ читать", добавляютъ съ равною, хотя на разныхъ началахъ основанною радостью, теоретики двухъ лагерей.

А Пушкинъ—пока еще наше все, все что полнаго, цѣльнаго, великаго и прекраснаго дало намъ наше духовное развитіе. До того онъ наше все, что критика журнала, допрашивавшаго наше сознаніе о томъ, народный ли онъ нашъ поэтъ, — для того чтобы кольнуть „Минина" Островскаго (кольнуть-то было надо, по старымъ домашнимъ дрязгамъ), а за нею и какой-то г. Омега, должны были прибѣгнуть къ сравненію „Минина" съ „Борисомъ Годуновымъ"...

Милостивые государи! вы уничтожаете народное (національное или народное? объяснитесь, наконецъ) значеніе Пушкина, т. е. другими словами говоря, отрицая значеніе великаго поэта въ развитіи и для развитія народа, вы, во-первыхъ, уничтожаете значеніе всякой художественной поэзіи, а во-вторыхъ, уничтожаете почти всю нашу литературу.

Позвольте разъяснить дѣло.

Изъ того, что народъ доселѣ еще можетъ понимать чувствомъ только міръ своихъ поэтическихъ сказаній, любоваться только суздальскими литографіями и пѣть только свои растительныя пѣсни,—слѣдуетъ ли похѣреніе въ его развитіи и для его послѣдующаго развитія Пушкина, Брюлова, Глинки?.. Вѣдь, до пониманія искусства человѣкъ при всей даровитости,—дорастаетъ, иногда долго, иногда скоро, но дорастаетъ. Отчего-жъ это даровитѣйшіе изъ представителей русской природы — беру нарочно такихъ, которые не разъединились съ непосредственною народностью, связаны съ ней кровными связями, положимъ, хоть Кольцовъ, что ли, или Некрасовъ, — такъ глубоко понимали Пушкина? Вонъ одинъ цѣлую великолѣпную думу написалъ по поводу его смерти, а вонъ другой по поводу стиховъ восклицаетъ:

Да, звуки чудные!.. Ура!
Такъ поразительна ихъ сила,

Что даже сонная хандра
Съ души поэта соскочила.

Вы скажете, что я выбралъ неудачный примѣръ, что это исключительныя поэтическія натуры? Хорошо-съ. Ну, а почему Кулигинъ въ „Грозѣ“ Островскаго, этотъ умный и даровитый же, но вовсе не поэтическій человѣкъ, для выраженія своихъ чувствованій прибѣгаетъ не къ растительной почвѣ, а къ художественной поэзіи, по своему разумѣнію, къ стихамъ Ломоносова? И, вѣдь, вы, конечно, не скажете, чтобъ это было невѣрно? Нѣтъ, это глубоко вѣрно. Человѣкъ вышелъ изъ растительной сферы, доросъ до другой. Отзывы первой — нужды нѣтъ, что они несравненно выше начальнаго лепета нашей художественности,—его не удовлетворяютъ.

Что вы толкуете, господа! Вѣдь, поэта *народнаго* въ вашемъ узкомъ смыслѣ вы не найдете ни въ одной литературѣ. Вы скажете, напримѣръ, что вонъ тамъ, на зыбяхъ голубой Адріатики, гондольеры поютъ октавы Тасса? Да, вѣдь, это вздоръ! Они не октавы Тасса поютъ, а собственныя искаженія октавъ Тасса; вѣдь, ихъ октавы своего рода

Возьми въ руки пистолетикъ,
Прострѣли ты грудь мою...

или:

Графъ Пашкевичъ Ариванской
Подъ Аршавою стоялъ...

Въ Англіи, что ли, народъ читаетъ своего Шекспира, т. е. народъ въ вашемъ смыслѣ?.. Да какъ вы думаете: Кольцовъ-то, напримѣръ,— вѣдь, ужъ авось-либо народный поэтъ? — привьется, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ какъ есть, привьется къ народному сознанію и чувству? Да, привьется къ даровитой и страстной натурѣ „Мити“ Островскаго, и сказавши въ патетическую минуту о томъ, какъ „онъ эти чувства изображаетъ“, на что Гуслинъ скажетъ ему: „въ точности изображаетъ“, — онъ черезъ нѣсколько минутъ оборвется конфетнымъ билетцемъ:

Что на свѣтѣ прежестока,
Прежестока есть любовь!—

онъ даже—даровитый, умный, страстный, самъ сочиняющій стихи Митя... И это опять такая глубоко-вѣрная черта!

Да и самъ Островскій-то, наиболѣе подходящій, хоть вамъ и не хотѣлось бы въ этомъ сознаться, къ нашему идеалу народнаго поэта, Островскій, затронувшій столько струнъ народной души, — вѣдь, тоже народной, нѣсколько уже развившейся душѣ понятенъ и доступенъ, а не тому народу, который вы себѣ создали.

Въ своемъ добровольномъ духовномъ рабствѣ передъ новымъ идоломъ — народомъ, вы однако думали, вѣроятно, о томъ, что вы вслѣдъ за Пушкинымъ похѣриваете въ нашей литературѣ и Лермонтова, и Гоголя, и Тургенева. Остаются имѣющими какое-либо условное значеніе (да и то условное) въ развитіи и для развитія народа — кто же?.. только Островскій, Кольцовъ и Некрасовъ, натуры, вышедшія прямо и непосредственно изъ народа, сохранившія очевидныя примѣты кровной связи съ народомъ въ языкѣ и въ чувствахъ. Я, конечно, беру только первостепенныхъ дѣятелей, только планеты, оставляя въ сторонѣ спутниковъ.

Одинъ великій мыслитель кончаетъ свои неумолимыя разсужденія о государствѣ и конечномъ исчерпаніи этой идеи въ исторіи человѣчества словами: «Да мнѣ-то какое же дѣло?» служащими отвѣтомъ на вопросъ: «что же будетъ?»

Вы можете мнѣ такъ же отвѣтить. Но, вѣдь, дѣло все-таки, по крайней мѣрѣ, практически, не порѣшится. Вѣдь, жизнь западная, гдѣ изжилось государство, и жизнь наша— двѣ вещи розныя. Розно и духовное развитіе.

Вѣдь, по-вашему (я обращаюсь только къ теоретикамъ «народнаго» лагеря) въ нашемъ духовномъ развитіи надобно похѣрить все, и «валяй сызнова» — по однимъ съ XVII, по другимъ, гораздо болѣе послѣдовательнымъ господамъ, съ XII столѣтія. Оно, пожалуй бы, и хорошо, да нельзя. Вѣдь, жизнь, даже съ ея наростами и болячками,—живая жизнь, живой организмъ.

А оно, коли хотите, пожалуй бы и хорошо. Во всякой односторонности, между прочимъ и въ вашей, есть своя доля глубины и правды.

Далѣе, во имя этой односторонности еще одно отступленіе. Оно послѣднее, и поведетъ прямо къ дѣлу.

Прошлявшись довольно долгое время по различнымъ картиннымъ галлереямъ Европы, я очутился, какъ и слѣдуетъ, подъ конецъ моихъ странствій въ градѣ Берлинѣ. Въ берлинской галлереѣ сравнительно мало превосходныхъ вещей, но тамъ добросовѣстно, съ нѣмецкой аккуратностью, собраны довольно хорошіе экземпляры всѣхъ школъ и направленій живописи, такъ что она можетъ быть весьма полезною повѣркою впечатлѣнія для того, кто «aveva gli occhi», «имѣлъ глаза» — по итальянскому даровитому понятію, единственное условіе для пониманія красоты въ пластическомъ ея проявленіи. Изъ Рима, Неаполя, Болоньи, Сіены, Флоренціи, Милана и Венеціи, изъ Лувра, Мюнхена, Вѣны и Дрездена—я привезъ съ собою живую, глубокую вѣру въ націонализмъ живописи и пластики, или, лучше сказать, вѣру въ то, что художество — архитектурное ли, живописное или ваятельное—живетъ только вѣрою, а вѣра въ свою очередь живетъ національностью типовъ. Результатъ, конечно, не новый, но онъ дорогъ былъ мнѣ, какъ подтвержденная и купленная опытами вѣра. Безконечно разнообразныхъ, но всегда національныхъ и даже мѣстныхъ типовъ свѣтлаго лика Мадонны, не говоря уже обо всемъ другомъ, достаточно было для укрѣпленія во мнѣ этой вѣры и для внушенія положительнаго отвращенія къ издѣліямъ нашихъ натуралистовъ, которые посадятъ передъ собою жидовку изъ Ghetto, срисуютъ ее до противной дагеротипности, накрасятъ въ картинѣ бархатомъ, золотомъ, яркими красками и эффектнымъ освѣщеніемъ, да и думаютъ, что потрудились во славу русскаго искусства. Смѣясь надъ фигурами-селедками фра Беато и грубо-искренне или искренне-грубо заподозривая насъ дилетантовъ въ искренности нашего умиленія передъ этими вдохновенными фигурами-селедками, они и не подозрѣваютъ, бѣдные, что типы того великаго, вѣровавшаго искусства — всѣ національные и мѣстные, отъ перваго шага въ человѣчность святого фра *Беато до послѣдняго* преобладанія идеальной, но земной *женственности въ* Мурильо, создавались глубокою вѣрою

въ нихъ, въ эти типы, какъ въ идеалы, вѣрою болѣе или менѣе раздѣляемой сочувствующей толпою,—а они и сами не вѣрятъ въ свои типы, да и русскій народъ не захочетъ знать этихъ типовъ. Да и правъ онъ будетъ. Какое мнѣ даже, напримѣръ, удовольствіе, бросивши взглядъ на какой-нибудь куполъ, встрѣтиться съ повтореніями типовъ то Гверчино, то Доменикино, то Дольчи? Зачѣмъ они туда зашли?.. „По какому виду? Взять ихъ подъ сумлѣніе!“ Въ такихъ и подобныхъ размышленіяхъ бродилъ я по берлинской галлереѣ, повѣряя прожитую мною эстетически-нравственную жизнь съ однимъ замѣчательнымъ въ дѣлѣ художественнаго пониманія пріятелемъ. Это былъ не только страстный, но даже сладострастный знатокъ и цѣнитель изящнаго, развившій до крайней чуткости свой отъ природы тонкій вкусъ, таявшій буквально передъ Кореджіо; чистѣйшій пантеистъ, умилявшійся однако до экстаза передъ селедками фра Беато стараго и передъ произведеніями искренняго, хотя и страннаго фра Беато новаго, т. е. Овербека; сохранившій, несмотря на то, что развился въ яромъ западничествѣ и въ таковомъ остался, всесторонность русскаго ума, т. е. равно отзывчивый на все прекрасное и великое во всѣхъ школахъ и все равно тонко оцѣнявшій, да вдобавокъ еще сохранившій здравый практическій толкъ и остроуміе, нѣсколько ёрническое, велико-русскаго купечества, къ которому онъ принадлежалъ и котораго никогда не чуждался, несмотря на свою громадную начитанность и глубокое философское развитіе. Вотъ бродя съ этимъ-то весьма поучительнымъ бариномъ и мѣняясь съ нимъ впечатлѣніями и мыслями, мы дотолковались какъ-то до судебъ россійскаго искусства. Надобно сказать, что онъ принадлежалъ по своему развитію къ эпохѣ глубокой, хотя все-таки односторонней критики, названной мной обиженной критикою,—да я и самъ тогда вполнѣ принадлежалъ къ ней. У него была своя односторонность: онъ былъ довольно равнодушенъ къ великой художественной силѣ, проявившейся въ Брюловѣ, и какъ-то прискорбно жалѣлъ объ Ивановѣ... Но дѣло не въ томъ. Мы дотолковались съ нимъ до судебъ россійскаго искусства, и онъ, ярый западникъ, сладострас-

ный поклонникъ всѣхъ чудесъ германо-романскаго міра, высказалъ мысль, которая давно уже шевелилась у меня въ мозгу и въ душѣ, но которую мнѣ, умѣренному славянофилу, какимъ я еще тогда считалъ себя, думая, что между славянофильствомъ и народностью есть много общаго,—было бы какъ-то боязно высказать.

— Знаете ли? — сказалъ онъ вдругъ, отрываясь нѣсколько насильственно отъ созерцанія удивительнаго св. Франциска Мурильо: — намъ по-настоящему надобно все похѣрить и начать...

— Съ суздальской живописи? — невольно перебилъ я рѣчь его вопросомъ.

— Да, съ суздальской живописи, — отвѣчалъ онъ, нисколько не останавливаясь.

— И строгоновскую школу даже похѣрить? — спросилъ я опять.

— И строгоновскую школу похѣрить,— безъ запинки же сказалъ онъ, думая, конечно, не о строгоновскихъ воскресныхъ классахъ рисованья въ Москвѣ, а о томъ, что технически называется строгоновскою школою въ исторіи нашей живописи,— если только у ней есть какая-либо исторія.

Вы понимаете, конечно, чего ради разсказалъ я этотъ эпизодъ изъ исторіи своихъ личныхъ впечатлѣній?

Помутилось, дѣйствительно помутилось что-то въ нашемъ сознаніи, и помутилось такъ, что трудно и добраться до настоящихъ, чистыхъ источниковъ. Что не одна реформа Петра тутъ виновата, это, кажется, теперь дѣло почти рѣшенное или, по крайней мѣрѣ, рѣшаемое весьма успѣшно гг. Павловымъ, Щаповымъ и Костомаровымъ. Во всякомъ случаѣ, фактъ очевидный тотъ, что мы въ этомъ случаѣ находимся въ совершенно исключительномъ положеніи сравнительно съ другими европейскими народами. Шила въ мѣшкѣ не утаишь.

Всѣ вопросы, которые мы себѣ задаемъ, какъ бы странны они ни казались съ перваго раза, хоть бы знаменитый вопросъ о народности Пушкина; всѣ парадоксы, до которыхъ *мы подчасъ доходимъ*, хоть бы парадоксъ славянофильства *насчетъ лжи* всей послѣпетровской нашей жизни и

литературы—имѣютъ свое не только логическое, но и органическое оправданіе въ общемъ уклоненіи нашего развитія отъ законовъ развитія обще-европейскаго и вмѣстѣ отъ законовъ застоя обще-азіатскаго. Съ одной стороны, Пушкинъ въ поэзіи, Бѣлинскій въ дѣлѣ сознанія, Брюловъ и Глинка въ живописи и музыкѣ, а съ другой стороны — міръ странныхъ сказаній и пѣсенъ, раскольническое мышленіе, хожденіе странника Парфенія, суздальская живопись и народная, еще неуловимая въ своихъ музыкальныхъ законахъ пѣсня... И, вѣдь, что лучше, что могущественнѣе: блестящія ли явленія цивилизаціи или явленія растительной жизни — рѣшить трудно... Увлекшись одной стороною, неминуемо доходишь до парадокса чаадаевскаго; увлекшись другою, столь же неминуемо до парадокса славянофильскаго. Я ужъ не говорю о явленіяхъ государственнаго и общественнаго строя, задѣвающихъ еще болѣе за живое: я ограничиваю себя тѣснымъ кругомъ выраженій духовнаго сознанія.

А все-таки вопросъ разрѣшимъ и безъ парадоксовъ. Стоитъ только спросить себя: откуда же взялись не только указанныя мною явленія, но даже самъ Петръ и реформа, московскіе Иваны и Васильи съ ихъ суздальскими родоначальниками и московскій государственный строй, византійская религіозная норма и проч. и проч.? Да все оттуда же, откуда и явленія растительной жизни, откуда вѣчевой строй, земство и расколы; только вслѣдствіе обстоятельствъ одни развились насчетъ другихъ, не подавивши ихъ жизни, но остановя ихъ развитіе.

Та же исторія и съ литературой.

Дѣйствительно, долгое, очень долгое время „en Russie quelques gentilshommes se sont occupés de la littérature“, хотя началъ эту литературу холмогорскій мужикъ-раскольникъ, а завершаютъ этотъ періодъ такіе жантильомы какъ Пушкинъ, отожествляющійся по какому-то удивительному наитію съ народною рѣчью и даже народнымъ созерцаніемъ, да Тургеневъ, весь насквозь проникнутый любовью къ родной почвѣ. Что же эти жантильомы, изъ самыхъ крупныхъ — не органическія послѣдствія народнаго духа, не его хотя ка-

ніе, но кровные продукты?.. А жантильомы тоже — Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ? Вѣдь, всѣ эти жантильомы, неравныхъ силъ и неодинаковаго содержанія, рѣшительно не похожи ни на какихъ писателей другихъ націй; вѣдь, въ ихъ физіономію нечего долго и вглядываться, чтобы признать ихъ особенною, русскою физіономіею.

Но началась уже другая эпоха въ литературѣ. Ея провозвѣстникомъ былъ, можетъ-быть, курскій купецъ Полевой, это великое дарованіе со слабымъ характеромъ. Ея первымъ самороднымъ перломъ былъ великій воронежскій прасолъ со своими дивными пѣснями, со своею глубокою душою, отозвавшеюся на самые глубокомысленные запросы цивилизаціи. Давно ли началась эта эпоха,— и между тѣмъ она уже породила великаго лирическаго поэта, дала народнаго драматурга, дала рядъ второстепенныхъ, но въ высокой степени замѣчательныхъ литературныхъ явленій, постепенно и безпрестанно прибывающихъ.

Къ этой же эпохѣ принадлежитъ и Некрасовъ. Мѣсто его—между Кольцовымъ и Островскимъ по общественному значенію его поэтической дѣятельности, но... никакъ не по внутреннему ея достоинству. Кольцова цивилизація коснулась своими высшими вопросами, и вопросы разбили, можетъ-быть, его могучую, но мало-приготовленную натуру. Островскій, человѣкъ народа и вмѣстѣ человѣкъ цивилизаціи, спокойно бралъ отъ нея всѣ орудія, спокойно же порѣшалъ для себя ея вопросы. На страстную натуру поэта „мести и печали“ цивилизація подѣйствовала въ особенности своими раздражающими сторонами и имѣла даже вліяніе своими фальшивыми сторонами. Съ одной стороны, желчныя пятна, а съ другой, водевильно-александринскія пошлости оскверняютъ его возвышенную поэзію. Но тамъ, гдѣ она дѣйствительно возвышенна,—она вполнѣ народна, и причина ея неоспоримой силы, ея популярности (кромѣ, разумѣется, большого таланта, conditio sine qua non) — въ органической связи съ жизнью, дѣйствительностью, народностью.

IV.

Читатели знаютъ, конечно, а многіе помнятъ, вѣроятно, даже наизусть мрачныя стихотворенія, озаглавленныя поэтомъ переводами изъ Ларры. Переводы ль они, нѣтъ ли — сила не въ томъ. Поэтъ въ нихъ ядовитыми чертами изображаетъ первоначальные задатки своего развитія...

Позволяю себѣ привести въ особенности часть одного изъ этихъ стихотвореній:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой
Я росъ средь буйныхъ дикарей,
И мнѣ дала судьба по милости великой
Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубыя черты.
И прежде чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,
Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ
Въ мою младенческую грудь;
Застигнутый врасплохъ, стремительно и шумно
Я въ мутный ринулся потокъ...

Не поражало ли васъ, когда вы читали это мрачное и ядовитое стихотвореніе, нѣкоторое сходство этихъ высказываемыхъ поэтомъ впечатлѣній съ тѣми впечатлѣніями, которыя высказываетъ Лермонтовъ въ извѣстномъ отрывкѣ. „Дѣтство Арбенина“, дающемъ ключъ къ уразумѣнію его идеаловъ, его Арбенина, Мцыри, самого Печорина?.. Припоминаю тоже другое, болѣе скорбное, чѣмъ ядовитое стихотвореніе Некрасова изъ Ларры:

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста,
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ людей
Завидовалъ житью собакъ и лошадей;
Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть,
Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть, и т. д.

Перечтите эту скорбную повѣсть о грубѣйшемъ бывшемъ рабствѣ и его жертвахъ,— и опять-таки сравните ее съ юношескими попытками Лермонтова, весьма дорогими въ психологическомъ отношеніи, дорогими тѣмъ, что поэтъ еще въ нихъ весь наружу, еще не закутался въ ледяныя формы Печорина... Точка отправленія впечатлѣній почти одна и та же у Лермонтова и у Некрасова; но какъ различно дальнѣйшее развитіе у того и другого! Нужды нѣтъ, что для того и другого поэта первоначальныя впечатлѣнія набрасываютъ мрачный колоритъ на послѣднія изображенія родного быта... Лермонтовъ доходитъ до идеализаціи вѣчно-тревожной и мрачной силы: демонъ, который сіялъ предъ нимъ, „какъ царь нѣмой и гордый“,

... такой волшебной, чудной красотою,
Что было страшно, и душа тоскою
Сжималася...

овладѣваетъ имъ совершенно; на столь же страстную, но болѣе любящую, простую, народную природу Некрасова „демонъ“ подѣйствовалъ совершенно иначе. Точка исхода одна, но толчокъ совершенно иной. Вотъ онъ, этотъ толчокъ, ключъ къ общему направленію поэтической дѣятельности: мѣсто изъ превосходнаго стихотворенія „На Волгѣ“. Мѣсто это такъ знаменательно, что, вопреки моему нежеланію выписывать что-либо изъ весьма популярной книги, должно быть выписано:

О Волга!.. колыбель моя!
Любилъ ли кто тебя какъ я?
Одинъ, по утреннимъ зарямъ,
Когда еще все въ мірѣ спитъ
И алый блескъ едва скользитъ
По темноголубымъ волнамъ,
Я убѣгалъ къ родной рѣкѣ.
Иду на помощь къ рыбакамъ,
Катаюсь съ ними въ челнокѣ,
Брожу съ ружьемъ по островамъ.
То, какъ играющій звѣрокъ,
Съ высокой кручи на песокъ
Скачусь, то берегомъ рѣки

Бѣгу, бросая камешки,
И пѣсню громкую пою
Про удаль раннюю мою...

О, какъ далеки эти простыя, любовныя впечатлѣнія отъ тѣхъ титанически-гордыхъ и мрачныхъ отзывовъ грозной силы, которые слышатся въ „Мцыри", какою свѣжестью дышатъ они въ этой удивительной поэмѣ о Волгѣ, читая которую задаешься даже вопросомъ: не желчныя ли пятна лихорадки—переводы изъ Ларры?.. Но нѣтъ... Хорошо, то-то хорошо, привольно и любо ребенку на Волгѣ: любо ему и подслушивать чертей на пруду, и слѣдить за медленнымъ движеніемъ расшивы, на палубѣ которой „за спутницей своей" бѣжитъ молодой приказчикъ, а она—

Мила, дородна и красна...

любо ему, что

... кричитъ онъ ей:
„Постой, проказница! Ужо
Вотъ догоню!.." Догналъ, поймалъ—
И поцѣлуй ихъ прозвучалъ
Надъ Волгой вкусно и свѣжо...

Вы понимаете вполнѣ, что искренно говоритъ поэтъ:

Тогда я думать былъ готовъ,
Что не уйду я никогда
Съ песчаныхъ этихъ береговъ...
И не ушелъ бы никуда!

Но вы помните, что заставило бѣжать ребенка:

Въ какихъ-то розовыхъ мечтахъ
Я позабылся. Сонъ и зной
Уже царили надо мной,
Но вдругъ я стоны услыхалъ,
И взоръ мой на берегъ упалъ.
Почти пригнувшись головой
Къ ногамъ, обвитымъ бичевой,
Обутымъ въ лапти, вдоль рѣки
Ползли гурьбою бурлаки,
И былъ невыносимо дикъ
И страшно ясенъ въ тишинѣ
Ихъ мѣрный похоронный крикъ—
И сердце дрогнуло во мнѣ...

И такъ дрогнуло впечатлительное, любящее сердце, что

Безъ шапки, блѣдный, чуть живой,
Лишь поздно вечеромъ домой
Я воротился. Кто тутъ былъ—
У всѣхъ отвѣта я просилъ
На то, что видѣлъ, и во снѣ
О томъ, что разсказали мнѣ,
Я бредилъ...

А разсказали ему или лучше подслушалъ онъ весьма, кажется, простую вещь — „неторопливый“ разговоръ двухъ бурлаковъ:

— Когда-то въ Нижній попадемъ?
Одинъ сказалъ:—Когда бъ попасть
Хоть на Илью...—„Авось придемъ“,
Другой, съ болѣзненнымъ лицомъ,
Ему отвѣтилъ:—„Эхъ, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянулъ бы лямку какъ медвѣдь,
А кабы къ утру умереть—
Такъ лучше было бы еще!..“

Да и безъ этого поразилъ его этотъ вой, раздающійся надъ Волгою, эта пѣсня, которая тяжко заставляетъ задуматься Минина Островскаго, которую сложили

Неволя тяжкая да трудъ безмѣрный,

въ которой совмѣстились

Всѣ слезы съ матушки святой Руси—
Новгородскія, псковскія слезы...

Вы знаете, что Кузьму Захарьича не къ однимъ только стонамъ и печали привела эта пѣсня, съ которою сливалась его великая душа въ минуту скорбнаго раздумья...

Но на поэта нашего только ядовито-горько подѣйствовало жизненное впечатлѣніе:

О, горько, горько я рыдалъ,
Когда въ то утро я стоялъ
На берегу родной рѣки—
И въ первый разъ ее назвалъ
Рѣкою рабства и тоски!..

Впечатлѣніе было глубоко, но односторонне. Односторонняя, коли вы хотите, и поэтическая дѣятельность, развившаяся изъ этого горькаго впечатлѣнія; но односторонность эта законна: односторонность эта—великая сила. Въ ней нѣтъ ничего сдѣланнаго: она родилась... Поэтъ подавленъ ею, тяжело она ему достается: его любящее сердце, по его признанію, „устало ненавидѣть“, но любить не научится. Изъ этой разъ воспринятой односторонности нѣтъ выхода.

Надъ всѣми почти великими дѣятелями нашими той эпохи, когда quelques gentilshommes se sont occupés de la littérature, начиная отъ Пушкина, продолжая Тургеневымъ и кончая Ѳ. Достоевскимъ, хотя этотъ послѣдній достигъ страдательнымъ *психологическимъ* процессомъ до того, что въ „Мертвомъ Домѣ“ слился совсѣмъ съ народомъ,—повторялся одинъ и тотъ же казусъ, поэтически выраженный величайшимъ изъ нашихъ великихъ поэтовъ въ стихотвореніи „Возрожденіе“:

Но краски чуждыя съ лѣтами
Спадаютъ ветхой чешуей...

Самъ онъ, не переставая быть и Алеко, и Онѣгинымъ, и Донъ Хуаномъ, въ то же время доходитъ до отожествленія своего воззрѣнія съ народнымъ, пускаетъ все больше и больше корни въ почву, и Богъ знаетъ, еще какъ бы онъ укоренился, кабы не смерть скосила эту силу. Въ Лермонтовѣ, какъ Гоголь справедливо замѣтилъ, готовился великій живописецъ русскаго быта. Тургеневъ, начавши идеализаціей блестящихъ типовъ, въ родѣ Василья Лучинова, самъ разбилъ ихъ смѣхомъ Гамлета Щигровскаго уѣзда; отъ грустнаго и сѣренькаго колорита „Записокъ Охотника“ перешелъ къ простымъ и вмѣстѣ яркимъ краскамъ „Дворянскаго Гнѣзда“—возвратомъ на почву, любовью къ почвѣ, разумнымъ смиреніемъ передъ почвою, вѣрою въ ея силы, хотя бы силы эти были и неподвижны, сидѣли сиднемъ, какъ Уваръ Ивановичъ въ „Наканунѣ“.

Ничего подобнаго этому процессу нравственному нѣтъ и быть не можетъ въ людяхъ другой эпохи нашей литературы. Они всѣ связаны кровно съ почвою, никогда съ ней

не разъединялись, — даже и тогда, когда задавали себѣ, какъ Кольцовъ, глубокомысленнѣйшія задачи, даже и тогда, когда противопоставляли, какъ Островскій, требованія избранной, идеальной натуры своей „Бѣдной Невѣсты“ требованіямъ среды, ее окружающей, даже и тогда, когда кипятъ горемъ и негодованіемъ, какъ Некрасовъ... Люди почвы, они даже тщетно захотѣли бы отъ нея оторваться.

Некрасову, подъ вліяніемъ его „музы мести и печали“, часто хотѣлось бы увѣрить и насъ всѣхъ, да, можетъ быть, и себя, что онъ не поэтъ. Помните, что говоритъ онъ:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ...
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь,
Торжествуетъ мстительное чувство,
Догорая теплится любовь.

Но, вѣдь, это очевидная неправда. Во-первыхъ, онъ поэтъ— и большой поэтъ—тамъ, гдѣ *праведно* торжествуетъ мстительное чувство, и догораніе его любви стоитъ иногда несравненно болѣе сатиріазиса любви нѣкоторыхъ музъ, а во-вторыхъ, онъ большой поэтъ своей родной почвы...

Вѣдь, онъ любитъ ее, эту родную почву, какъ весьма немногіе. Вѣдь, ему даже она *одна* только, въ противоположность намъ, людямъ *той* эпохи, людямъ западныхъ идеаловъ, и мила. Онъ искренно признается въ этомъ, такъ же искренно, какъ фанатически поклонявшійся родной почвѣ Хомяковъ сознавался въ благоговѣніи передъ свѣтилами, которыя

...мерцаютъ догорая,
На дальнемъ западѣ, странѣ святыхъ чудесъ.

Вѣдь, вотъ онъ что говоритъ, напримѣръ:

Все рожь кругомъ, какъ степь живая,
Ни замковъ, ни морей, ни горъ...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего,

Искалъ я примиренья съ горемъ—
И не нашелъ я ничего!
Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю.
Не одолѣвъ свою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею...
Но ты дохнула—и сумѣю,
Быть можетъ, выдержать борьбу!

Поставьте въ параллель съ этою искренностью любви къ почвѣ первыя, робкія, хотя затаенно-страстныя признанія великаго Пушкина въ любви къ почвѣ въ Онѣгинѣ — и вы поймете... конечно, не то, что „еслибъ не обстоятельства, то Некрасовъ былъ бы выше Пушкина и Лермонтова“, а разницу двухъ эпохъ литературы. Припомните тоже полусардоническое, язвительное, но тоже страстное признаніе почвѣ любви къ ней Лермонтова („Люблю я родину“ и проч.), и потомъ посмотрите, до какого высокаго лиризма идетъ Некрасовъ, нимало не смущаясь:

...Я узнаю
Суровость рѣкъ, всегда готовыхъ
Съ грозою выдержать войну,
И ровный шумъ лѣсовъ сосновыхъ,
И деревенекъ тишину,
И нивъ широкіе размѣры...
Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ
И дѣтски-чистымъ духомъ вѣры
Внезапно на душу пахнулъ.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья—
И шепчетъ голосъ неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди съ открытой головой!
Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храмъ воздыханья, храмъ печали—
Убогій храмъ земли твоей:
Тяжеле стоновъ не слыхали
Ни римскій Петръ ни Колизей!
Сюда народъ, тобой любимой,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносилъ—

И облегченный уходилъ!
Войди! Христосъ наложитъ руки
И сниметъ волею святой
Съ души оковы, съ сердца муки
И язвы съ совѣсти больной...
Я внялъ... я дѣтски умилился...
И долго я рыдалъ и бился
О плиты старыя челомъ,
Чтобы простилъ, чтобъ заступился,
Чтобъ осѣнилъ меня крестомъ
Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ,
Богъ поколѣній, предстоящихъ
Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ!

Поэтъ! поэтъ! Что же вы морочите-то насъ и „неуклюжимъ стихомъ“, и „догораніемъ любви“?

Глубокая любовь къ почвѣ звучитъ въ произведеніяхъ Некрасова, и поэтъ самъ искренно сознаетъ эту любовь. Онъ, повидимому, не жалѣетъ, какъ Лермонтовъ, что этой любви „не побѣдитъ разсудокъ“, не зоветъ этой любви „странною“. Одинаково любитъ онъ эту почву и тогда, когда говоритъ о ней съ искреннимъ лиризмомъ, и тогда, когда рисуетъ мрачныя или грустныя картины; и мало того, что онъ любитъ: его поэзія всегда въ уровень съ почвою—тогда ли, когда въ мрачный, сырой осенній вечеръ, съ поэтически-ядовитымъ озлобленіемъ передаетъ засѣданіе „клуба вороньяго рода“ и съ наружнымъ равнодушіемъ и внутреннею глубокою симпатіею разговоръ двухъ старушенокъ, сошедшихся у колодца; тогда ли, когда въ душной больницѣ подсматриваетъ онъ высокую сцену поднятія любовію падшаго человѣка и слышитъ

всепрощающій голосъ любви,
Полныій мольбы безконечной;

тогда ли, когда изображаетъ видѣніе, обратившее кащея Власа въ божьяго странника, хоть это видѣніе и не имѣетъ счастія нравиться критику „Отеч. Записокъ“, который искалъ-искалъ въ варенцовскомъ, безсоновскомъ и псевдо-*якушкинскомъ сборникѣ* разныхъ ужасовъ, между прочимъ, *шестикрылатаго* чернаго тигра; тогда ли, когда простодушно

передаетъ онъ „деревенскія новости“, не заботясь — что впрочемъ непохвально — о формѣ передачи; тогда ли, когда такъ же безыскусственно и до наивности искренно любуется крестьянскими дѣтьми-шалунами. Не все это, на что я указываю, художественно: напротивъ, на многомъ, къ сожалѣнію, есть и пятна, многое страдаетъ неизвинительною небрежностью отдѣлки, но во всемъ этомъ почвою пахнетъ. Тамъ же, гдѣ поэтъ видимо заботится и о художественности, — рисуетъ ли онъ съ мрачною злобою „Псовую Охоту“, кончая свою поэму ядовитымъ двустишіемъ:

Кто же охоты собачьей не любитъ,
Тотъ въ себѣ душу заспитъ и погубитъ...

обращается ли онъ къ родинѣ съ нѣжной и покорной любовью сына — отожествленіе съ почвою выступаетъ, разумѣется, еще ярче. Въ этомъ отношеніи особенно знаменательно начало „Саши“, полное высокой поэзіи и своимъ сдержаннымъ лиризмомъ служащее какъ бы приготовленіемъ къ вышеприведенному мною порыву лиризма беззавѣтно-искренняго.

Словно какъ мать надъ сыновней могилой,
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой,
Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ—
Долгая пѣсня за сердце беретъ;
Лѣсъ ли начнется—сосна да осина...
Не весела ты, родная картина!

Да, не весела!.. Но пусть не весела: молчитъ „озлобленный умъ“ поэта,— а молчитъ онъ потому, что

Сладокъ мнѣ лѣса знакомаго шумъ,
Любо мнѣ видѣть знакомую ниву—
Дамъ же я волю благому порыву...

Сердце поэта устало питаться злобою: любящимъ сыномъ воротился онъ къ родинѣ, и сколь бы ни нагнали тоски ея вѣчныя бури, онъ стоитъ передъ нею побѣжденный...

Силы сломили могучія страсти,
Гордую волю погнули напасти,
И про погибшую музу мою

Я похоронныя пѣсни пою.
Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно.
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!
Хмелью измять я... и скоро я сгину...
Мать не враждебна и къ блудному сыну:
Только что ей я объятья раскрылъ—
Хлынули слезы, прибавилось силъ,
Чудо свершилось: убогая нива
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива,
Ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ,
Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Но чуда собственно нѣтъ тутъ никакого. Это не покаяніе, не возвратъ, не пушкинское „Возрожденіе“. Поэтъ никогда не разрывался съ полвою, всегда любилъ ее: я указывалъ примѣръ, гдѣ и раздраженный болѣзненно, какъ въ „Псовой Охотѣ“, и негодующій и тоскующій или правильно или неправильно, — онъ все-таки не сходитъ съ почвы, а постоянно стоитъ на ней.

Удивительная между прочимъ вещь эта небольшая поэма „Саша“. У меня къ ней глубокая симпатія и вмѣстѣ антипатія: симпатія къ ея краскамъ и подробностямъ, антипатія за то, что она весьма удобно поддается аллегорическому толкованію... Она, вѣдь, могла, право, быть озаглавлена такъ: „Саша, или сѣятель и почва“. Но поразительно прекрасны ея краски и подробности воспитанія героини. Тутъ все пахнетъ и черноземомъ и скошеннымъ сѣномъ; тутъ рожь слышно шумитъ, стонетъ и звенитъ лѣсъ; тутъ все живетъ отъ березы до муравья или зайца, и самый складъ рѣчи вѣетъ народнымъ духомъ

Но особенно удивительна по формѣ своей поэма „Коробейники“. Тутъ является у поэта такая сила народнаго созерцанія и народнаго склада, что дивишься поистинѣ скудости содержанія при такомъ богатствѣ оболочки. Явно, содержаніе нужно было поэту только какъ канва для тканья. Доказывать моей мысли насчетъ этой поэмы я не стану, т. е. не стану ни приводить ея безпрестанно смѣ*няющихся картинъ*, въ рамы которыхъ вошло множество

доселѣ нетронутыхъ сторонъ народной жизни, картинъ, писанныхъ широкою кистью, съ разнообразнымъ колоритомъ, ни обличать, что содержаніе только канва. Одной этой поэмы было бы достаточно для того, чтобы убѣдить каждаго, насколько Некрасовъ поэтъ отъ почвы, поэтъ народный, т. е. насколько поэзія его органически связана съ жизнію.

Но народная натура поэта *тронута* цивилизаціею. Какъ именно подобная впечатлительная и страстная натура выдерживаетъ натискъ цивилизаціи—могло бы составить предметъ огромной статьи, въ родѣ статьи о „Темномъ Царствѣ“ покойнаго Добролюбова; но имѣя въ виду статью литературно-критическую, а не общественно-критическую, я по возможности сжато постараюсь представить въ слѣдующемъ послѣднемъ отдѣлѣ черты этого замѣчательнаго психологическаго процесса, прослѣдивши ихъ исключительно въ произведеніяхъ нашего поэта.

V.

Лѣтъ двадцать, а можетъ-быть даже и пятнадцать тому назадъ еще существовалъ тотъ Петербургъ, который внушилъ Гоголю множество пламенно-ядовитыхъ страницъ, Некрасову множество горькихъ стихотвореній, Панаеву нѣсколько блестящихъ очерковъ и водевилистамъ множество куплетовъ, считавшихся въ александринскомъ мірѣ остроумными. То былъ дѣйствительно какой-то особенный городъ, городъ чиновничества, съ одной стороны, городъ умственнаго и нравственнаго мѣщанства, городъ карьеръ и успѣховъ по службѣ, гдѣ всякое искусство замѣняли водевили александринской сцены, отдохновеніе—преферансъ. Зато, съ другой стороны, это былъ городъ исключительно головного развитія русской натуры. Русскія даровитыя головы работали въ немъ напряженно, вся кровь приливала у нихъ къ головѣ, и только желчь оставалась въ сердцѣ. Они ненавидѣли городъ, въ которомъ судьба обрекла ихъ работать, и вмѣстѣ любили его, или, лучше сказать, испытывали въ отношеніи къ нему какое-то лихорадочное, болѣзненное чувство, преувеличивая, можетъ-быть, его язвы, возводя иногда въ значеніе *жизненныхъ* явленій то, что было въ сущности ми-

ражемъ. Припомните хоть „Невскій Проспектъ“ Гоголя, и вы поймете, что̀ я хочу сказать. Великій изобразитель „пошлости пошлаго человѣка“, самъ того не зная, довелъ изображеніе пошлости до чего-то грандіознаго, почти-что дошелъ до отношенія великаго автора „Comédie humaine“ къ его Парижу. Вспомните также первыя произведенія поэта „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, въ особенности „Двойника“, эту тяжелую, мрачную и страшно утомляющую груду явленій не жизненныхъ, а чисто миражныхъ, и произведенія писателей его школы, въ особенности Буткова—болѣзненныя, горькія, ядовитыя отраженія странной, не органической, а механической жизни. Въ этой тиши все, малѣйшія даже явленія дѣйствовали на чуткія натуры болѣзненно-раздражительно, отчасти даже фантастически. Это особое, дѣйствительно фантастическое настройство впечатлѣній, стоющее подробнаго, *историческаго* изученія. Въ такъ-называемой школѣ сантиментальнаго натурализма сказалась вся глубокая симпатичность русской души и вся способность ея къ болѣзненной раздражительности.

Предоставляя себѣ впослѣдствіи побесѣдовать съ читателями и объ этой полосѣ нашего нравственнаго развитія и о бываломъ Петербургѣ, тѣмъ съ бо̀льшимъ правомъ, что нѣкогда самъ я воспѣвалъ его, любя въ немъ

подъ ледяной корой
Его страданіе больное,

страдая болѣзненными безсонницами въ его

ночи финскія съ ихъ гнойной бѣлизной—

я здѣсь ограничиваюсь только намекомъ, достаточнымъ, впрочемъ, относительно настоящаго предмета моихъ разсужденій.

Много воды утекло въ пятнадцать или двадцать лѣтъ. Петербурга-формалиста, Петербурга-чиновника, даже Петербурга-воина, опоэтизированнаго Пушкинымъ въ „Мѣдномъ Всадникѣ“, нѣтъ болѣе или, по крайней мѣрѣ, онъ уже не тревожитъ, не раздражаетъ болѣзненно-чуткія натуры: онъ доживаетъ гдѣ-то въ отдаленныхъ закоулкахъ, не мечется больше въ глаза даже на Невскомъ проспектѣ, ибо „полусвѣтъ“, *который* съ *такимъ* упорствомъ и съ дѣйствитель-

нымъ талантомъ, потраченнымъ на малое дѣло, изображалъ покойный Панаевъ—уже не исключительно петербургское, а общее европейское явленіе, — если можно назвать его явленіемъ. Въ настоящемъ Петербургѣ есть только двѣ оригинальности: въ трактирахъ его подаютъ московскую солянку, которую въ Москвѣ дѣлать не умѣютъ, и за Невой есть у него Петербургская сторона, которая гораздо больше похожа на Москву, чѣмъ на Петербургъ. Даже остроумныя размышленія о немъ автора „Станціи Едрово“ потеряли свою соль съ тѣхъ поръ, какъ серединной станціей стало не Едрово, а Болагово. Желѣзная жила оттянула кровь отъ головы — и, право, славянофильская вражда къ Петербургу въ настоящую минуту лишена даже смысла. Петербургъ теперь городъ какъ всякій другой. Москвичи по этому поводу говорятъ съ обычной имъ московской гордостью, что это съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ расти къ сторонѣ желѣзной дороги, т. е. къ Москвѣ. Такъ какъ я самъ москвичъ, то вы, конечно, не потребуете отъ меня ренегатства отъ мнѣнія соотчичей.

Какъ бы то ни было, но прежняго, болѣзненно-раздражавшаго и вмѣстѣ по-своему типическаго Петербурга нѣтъ болѣе. Жалѣть ли объ этомъ? Не думаю, чтобы стоило. Это было не жизненное, а миражное типическое — тусклыя картины съ сѣренькимъ колоритомъ, не болѣе. Лучшее дѣйствіе ихъ, этихъ тусклыхъ картинъ, было отрицательное. Положительное же дѣйствіе находило себѣ литературное выраженіе въ фельетонахъ Булгарина, въ драматургіи Александринскаго театра; оно вызвало горькую и ядовитую, несмотря на веселый тонъ, сатиру Панаева „Тля“, которую (столько въ ней возвышенности и негодованія!) какъ-будто бы продиктовалъ самъ Бѣлинскій.

Рѣчь моя о Петербургѣ бывалыхъ временъ вела къ опредѣленію импульсовъ поэзіи Некрасова. Съ этой болѣзненно-раздражающей миражной жизнью „муза мести и печали“ стояла всегда лицомъ къ лицу, но, къ сожалѣнію, не всегда выстаивала съ достоинствомъ, не всегда стояла надъ нею, а иногда становилась въ уровень съ нею. Почти что такъ же зловредно (позволю себѣ это неучтивое сравненіе), какъ

фабричная цивилизація дѣйствуетъ на впечатлительно-страстныя натуры изъ русскихъ натуръ, подѣйствовала миражная цивилизація на эту музу. Глубокая натура Кольцова, столкнувшись съ цивилизаціей, преклонилась передъ ея высшими вопросами и, можетъ быть, была разбита слишкомъ сильнымъ пріемомъ ихъ сразу. Художественно-спокойная и самообладающая натура другого человѣка народа, Островскаго, не знала даже и столкновенія, прямо и ясно смотря впередъ. Страстная натура Некрасова вполнѣ вдалась въ миражную жизнь, и нечего грѣха таить, часто поддавалась ей, испытала какъ ея отрицательныя вліянія, т. е. ужасъ отъ пошлости, такъ, къ несчастію, и положительныя. Неизгладимая печать увлеченій миражной жизнью легла на его произведенія то желчными пятнами, то увы! отзывами пошлыхъ водевильныхъ куплетовъ.

Едва ли нужно доказывать это. Поэтъ самъ — а его-то преимущественно имѣлъ я въ виду — знаетъ грѣхи своей музы, а слѣпые поклонники его все равно же будутъ безразлично восторгаться и правымъ и неправымъ его негодованіемъ, будутъ наравнѣ съ чистыми и возвышенными его вдохновеніями, каковы: „Въ дорогѣ“, „Огородникъ“, „Когда изъ мрака заблужденья“, „Тройка“, „Изъ Ларры“, „Вино“ (хотя „Отеч. Запискамъ“ и не нравится это стихотвореніе), „Маша“, „Памяти — ой“ (грустной элегіей, испорченной, къ сожалѣнію, чѣмъ-то водевильнымъ въ тонѣ), „Буря“, „Въ деревнѣ“, „За городомъ“, „Тяжелый крестъ достался ей на долю“, „На родинѣ“, „Въ больницѣ“, „Послѣднія Элегіи“, „Застѣнчивость“, „Несжатая Полоса“, „Забытая Деревня“, „Школьникъ“, „Тишина“, „Убогая и Нарядная“, „Пѣсня Еремушки“, „Знахарка“, „Деревенскія Новости“ (пусть онѣ, эти новости, и лишены всякой художественной формы, но свѣжо и чисто ихъ содержаніе), „Плачъ Дѣтей“, „На Волгѣ“, „Похороны“, „Княгиня“, „Начало Поэмы“, „Въ столицѣ шумъ, гремятъ витіи“, „Охота“, „Саша“, „Поэтъ и Гражданинъ“, „О погодѣ“, „Крестьянскія Дѣти“, „Коробейники“ — наравнѣ, говорю я, съ этими почти что *безупречными* по вдохновенію произведеніями восторгаться *Ванькой ражимъ*, и „Свадьбою“, и „Нравственнымъ Чело-

вѣкомъ", и „Прекрасной Партіей", которую какъ-будто писалъ знаменитый авторъ „Булочной", и „Отелло на пескахъ", и „Филантропомъ", достойнымъ пера обличительныхъ поэтовъ „Искры". Ихъ не увѣришь, напримѣръ, что только ненормально-настроенному чувству придетъ въ голову при видѣ свадьбы простого человѣка съ простой женщиной рядъ предположеній, болѣе относящихся къ среднимъ сферамъ; не увѣришь также и въ томъ, что неестественна, водевильна форма стихотворенія „Нравственный Человѣкъ", что въ немъ страшно мѣшаетъ впечатлѣнію эстетическому мѣстоименіе *я*; ихъ даже и въ томъ не убѣдишь, что стихотвореніе о двѣнадцатомъ годѣ просто дурно, какъ чистоличное капризное впечатлѣніе.

Исчисляя лучшія по вдохновенію стихотворенія поэта, я не безъ намѣренія пропустилъ три изъ нихъ, наиболѣе дѣйствующія на публику и даже на меня лично весьма сильно дѣйствующія: „Ѣду ли ночью по улицѣ темной", „Власъ" и поэму „Несчастные". Конечно, поэтъ не виноватъ, что изъ перваго стихотворенія эмансипированныя барыни извлекаютъ замѣчательно-распутную теорію, но онъ виноватъ въ томъ, что не совладалъ самъ съ горькимъ стономъ сердца, не всталъ выше его, чѣмъ-нибудь во имя жизненной и поэтической правды не напомнилъ о возможности иного психологическаго выхода, нежели тотъ исключительный, который онъ опоэтизировалъ. Ему даже и на улицахъ Петербурга попадались, вѣроятно, женщины съ маленькими гробиками, нерѣдко довольно наполненными мѣдными деньгами благочестиваго и добраго русскаго люда. Въ величавомъ образѣ „Власа" тоже есть капризная исключительность взятаго поэтомъ психологическаго процесса. Поэму „Несчастные" портитъ апологія Петра, совершенно не идущая ни къ ея тону ни къ лицу, въ ней изображаемому.

Даже и въ лучшихъ по вдохновенію, исчисленныхъ мною стихотвореніяхъ нѣтъ во многихъ строгой выдержанности художественной формы. Великая, но попорченая народная сила—„муза мести и печали"!.. *) *Ап. Григорьевъ.*

*) Отвѣтъ на настоящую статью А. Григорьева см. въ „Отеч. Запискахъ" 1863 г., № 9, отд. II, стр. 1—11.

* * *

*) Многіе увѣрены, что очень легко отдавать отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ: высказалъ просто-на-просто, что чувствуешь — и все тутъ. Мы сами были очень близки къ такому взгляду, но насъ остановилъ вопросъ: всѣ ли впечатлѣнія равно истинны, и не исчезаетъ ли истина многихъ изъ нихъ при малѣйшемъ анализѣ, при малѣйшемъ прикосновеніи логики? Есть ли рѣзко проведенная граница между впечатлѣніемъ глубокимъ и продолжительнымъ, впечатлѣніемъ, обращающимся въ убѣжденіе, и тѣмъ впечатлѣніемъ, которое возникаетъ мимолетно, навѣянное духомъ времени и общимъ настроеніемъ, неотразимо дѣйствующими на всякую отдѣльную личность общества, такъ же, какъ и на всю его массу? Такія впечатлѣнія обыкновенно бываютъ живѣе тѣхъ, которыя вырабатываются съ помощью анализирующей мысли. Какъ взрывъ общаго одобренія зрителей въ театрѣ невольно увлекаетъ и хладнокровнаго, такъ и единичное мимолетное впечатлѣніе невольно сочувствуетъ большинству — до времени трезваго разбора причинъ этого впечатлѣнія и отысканія ихъ прямого источника.

Это небольшое размышленіе мы необходимо должны были предпослать прежде, нежели начнемъ говорить о стихотвореніяхъ г. Некрасова, недавно вышедшихъ вторымъ изданіемъ, съ дополненіями, еще неизвѣстными читающей публикѣ.

Г. Некрасовъ имѣетъ множество почитателей своего таланта, сами мы въ томъ числѣ, и, по общему отзыву всѣхъ ихъ, онъ есть поэтъ народный и симпатичный, хотя и отрицательный только. „Сами мы въ томъ числѣ“,—сказали мы, значитъ и мы придаемъ тѣ же эпитеты къ его произведеніямъ: народности, симпатичности и отрицающей любви?..

Въ томъ-то и дѣло, что для насъ уже наступило время отрезвленія, и мы спрашиваемъ у себя, почему именно г. Некрасовъ можетъ быть названъ поэтомъ народнымъ, сим-

*) *„С.-Петербургскія* Вѣдомости“ 1862 г., № 19. „Литературная лѣтопись“. *Статья В.*

патичнымъ и пѣвцомъ отрицающей любви (собственно, любви ненавидящей)?

Помилуйте! Что это за пустой вопросъ? Да кто же и когда изъ нашихъ поэтовъ ближе сошелся съ народомъ, искреннѣе полюбилъ его и полнѣе передалъ его нужды и страданія, почти во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, отъ младости до старости?..

Такъ отвѣчаютъ почитатели таланта г. Некрасова, и мы съ ними; но мы еще желаемъ поискать послѣдняго окончательнаго отвѣта въ двухъ книжкахъ, лежащихъ передъ нами. Поищемъ.

Какими путями можетъ выражаться симпатія къ народу?

Намъ кажется, что пути эти не очень многочисленны и опредѣлить ихъ не очень трудно, но прежде чѣмъ говорить о частностяхъ, мы скажемъ, что истинная симпатія, въ какомъ бы видѣ она ни проявлялась, непремѣнно должна быть слѣдствіемъ короткаго знакомства, близкаго знанія той среды, которой вы симпатизируете; иначе симпатія ваша будетъ театральная декорація, блестки и мишура. Допустимъ сначала, что г. Некрасовъ обладаетъ этимъ близкимъ знаніемъ, и симпатіи его суть слѣдствіе короткаго знакомства.

Итакъ, переходя къ частностямъ выраженія симпатіи, мы полагаемъ, что она можетъ быть выражена или простымъ и теплымъ участіемъ въ горѣ и радости, въ нуждахъ и опасеніяхъ, во всѣхъ событіяхъ жизни, такъ или иначе волнующихъ человѣческое сердце; или протестомъ противъ всего, что тѣснитъ предметъ нашей симпатіи, что мѣшаетъ его самосовершенствованію, что гнететъ его жизнь и истощаетъ нравственныя и физическія его силы (причины такого протеста могутъ заключаться и внѣ и внутри самаго предмета); или, наконецъ, желаніемъ добра, пользы и счастія этому любимому существу или множеству существъ, настолько живое и сильное, что оно возвышается до идеала, до самообольщенія, и заставляетъ насъ видѣть въ предметѣ нашей симпатіи такія качества и свойства, которыми онъ вовсе не обладаетъ, ставить его въ такое положеніе, которое для него недостижимо, по слабому развитію духовныхъ

силъ, и строить будущее на основаніи этихъ невѣрныхъ данныхъ, столь же невѣрное, какъ и восторженное представленіе. Наконецъ, можно выражать симпатію, отрицая въ предметѣ рѣшительно всѣ хорошія его стороны и ярко выставляя на видъ одни только недостатки. Такого рода симпатія можетъ быть и должна быть выражаема только къ средѣ или обществу людей, близкихъ намъ по развитію или хотя по внѣшнимъ признакамъ этого развитія. О народѣ, то-есть о симпатіи къ народу, не можетъ быть и рѣчи въ этомъ видѣ. Мы говоримъ преимущественно о русскомъ народѣ или, все равно, о такомъ, развитіе котораго далеко уступаетъ развитію нѣкоторыхъ избранныхъ частей его или сословій, и который, на этомъ основаніи, и называется у насъ очень великодушно „меньшими братьями“.

Главный успѣхъ стихотвореній г. Некрасова заключается въ увѣренности читателей, что всѣ они, эти стихотворенія, симпатичны народу тѣмъ или другимъ образомъ и основаны на полномъ знаніи условій народной жизни. Который же изъ способовъ выраженія симпатіи, перечисленныхъ нами, избралъ г. Некрасовъ для своей дѣятельности, для своего творчества?

Ни котораго. Онъ открылъ свой собственный способъ выраженія симпатіи, о которомъ, кажется, гдѣ-то самъ же говоритъ, что это способъ любить ненавидя. Способъ хорошій; не одинъ изъ первостепенныхъ поэтовъ-художниковъ выражался именно этимъ способомъ: ненавидитъ, любя, и бросаетъ громы на кровлю отческаго дома затѣмъ, что кровля плоха и ее необходимо перекрыть... Но г. Некрасовъ, любя, не только ненавидитъ, онъ еще презираетъ предметъ своихъ симпатій, а ужъ какъ совмѣстить любовь съ презрѣніемъ — мы этого понять не въ силахъ.

Прочитавъ и перечитавъ всѣ стихотворенія г. Некрасова, мы пробовали отыскать между „меньшими братьями“ хоть одну теплую человѣческую личность — и не отыскали. Пьяницы, идіоты, мерзавцы, плуты и, наконецъ, убійцы — это все есть; просто человѣка нѣтъ вовсе.

Что жъ, можетъ быть, зная этихъ „меньшихъ братьевъ“ *дѣйствительно* только со стороны ихъ недостатковъ, г. Не-

красовъ возлюбилъ ихъ и съ недостатками, и указываетъ пути, какъ истребить все несоотвѣтствующее братственному понятію о достоинствѣ человѣка?

Нѣтъ, не возлюбилъ и не указалъ; да и рисовалъ онъ свои изображенія вовсе не съ натуры, а, такъ сказать, по плакатному паспорту, гдѣ описаны примѣты и обозначено, какъ зовутъ предъявителя...

Да, вѣдь, это неправда, это вы просто клевещете на г. Некрасова! Вся симпатія, которою пользуются его стихи (а симпатія почти общая), основана на томъ, что онъ сильно любитъ, глубоко понимаетъ и мѣтко изображаетъ „меньшихъ братій“, сочувствіе къ которымъ разлито теперь въ воздухѣ, составляетъ непремѣнное условіе для каждаго мыслящаго человѣка, и которое г. Некрасовъ краснорѣчиво выражаетъ за всѣхъ...

И мы такъ же думали, и намъ то же казалось, и мы даже заучивали наизусть стихотворенія г. Некрасова. Да вотъ вздумалось приступить къ себѣ построже, потребовать отъ себя отчета: почему это такъ? И пришла тутъ логика, и вдались мы въ обсужденіе съ ея участіемъ — а какое уже увлеченіе съ логикой? Извѣстно, что это за вещь: ей подай на все причину. всему укажи свое мѣсто... Досадно, право!.. Что тутъ разбирать, когда нравится? Значитъ, хорошо — и слава Богу.

Развернемъ, однако, книгу. Первое —„Въ дорогѣ“— отличная вещь! Бѣлинскій восхищался ею сильно, какъ повѣствуетъ г. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Ну, каковъ же „меньшій братъ“ въ этой пьесѣ? Да сильно скотоватъ; называетъ злодѣйкой ни въ чемъ неповинную жену, потомъ говоритъ, что была бы изъ нея лихая бабенка, если бы господа не погубили (то есть не женили бы его на ней, вѣроятно?), и, въ заключеніе, признается, что ее, тихую и безотвѣтную ко всему, изсохшую, какъ щепка, и уже видимую жертву смерти — бивалъ онъ. Сказано такъ:

А бивать—такъ почесть не бивалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку...

Значитъ, „подъ трезвую руку“ бивалъ же изрѣдка, а подъ пьяную такъ, вѣроятно, и частенько.

Немного любви, да немного и знанія въ этой пьесѣ; а „меньшій братъ“ обрисованъ негодяемъ, хотя онъ своимъ разсказомъ и разогналъ скуку „старшаго брата“.

Въ „Огородникѣ“ меньшаго брата г. Некрасовъ наказываетъ строже, чѣмъ велитъ законъ: за подозрѣніе въ воровствѣ никакой законъ не опредѣляетъ „стеганіе плетьми“...

Какія мелкія придирки, какая казуистика; можно ли такъ разбирать? Можно-съ. Мы полагаемъ, что непремѣнно слѣдуетъ знать то, о чемъ пишешь, и ни въ какомъ случаѣ не преувеличивать факта — иначе писатель очень скоро потеряетъ свою популярность. У насъ потому и нѣтъ ни одного истинно популярнаго писателя, что ни одинъ не отличается знаніемъ всѣхъ условій жизни, изъ нея самой возникшихъ или для нея обязательныхъ; а этими условіями по большей части пренебрегаютъ и, не зная ихъ, часто говорятъ, что они гнетомъ ложатся на жизнь, не соотвѣтствуютъ ея истиннымъ требованіямъ, не гарантируютъ ея неприкосновенности; говорятъ съ жаромъ полнаго убѣжденія; вся любовь (или такъ называемая любовь) отрицателей построена на этомъ, и все-таки безъ полнаго знанія того, что они отрицаютъ.

Мы, конечно, не имѣемъ въ виду стать на сторонѣ внѣшнихъ вліяній — на сторонѣ опеки надъ жизнью, но мы непремѣнно на сторонѣ *знанія*. Только одно оно даетъ право полагать и отрицать, право протеста и защиты; но мы очень мало уважаемъ, даже меньше чѣмъ мало, такія положенія и отрицанія, защиты и протесты, которые высказываются en général, общими мѣстами, безъ знанія не только мелкихъ подробностей, но и весьма крупныхъ отдѣловъ того, чѣмъ руководится жизнь.

Но постараемся не отвлекаться отъ нашей прямой цѣли— отыскиванія въ стихотвореніяхъ г. Некрасова знанія меньшаго брата и, въ особенности, любви, симпатіи къ этому брату. Мы идемъ по порядку, пропуская тѣ стихотворенія, гдѣ меньшіе братья не участвуютъ и не поминаются, и о которыхъ мы скажемъ послѣ.

Вотъ „Тройка“... А! одно изъ самыхъ фаворитныхъ, са*мыхъ картинныхъ и*, вмѣстѣ, самыхъ сочувственныхъ сти-

хотвореній. Каковъ-то здѣсь меньшій братъ? Да плоховатъ тоже:

...За неряху пойдешь мужика...
...Будетъ бить тебя мужъ привередникъ,
А свекровь — въ три погибели гнуть!..

Неободрительно! Эти качества и безъ любви указать можно, да и знанія особеннаго тутъ не требуется...

Въ „Извозчикѣ“ „меньшій братъ“ Ванюха — парень ражій (знаніе-то, знаніе-то среды какое! Ванюха, да еще парень, да и ко всему этому ражій!) повѣсился на возжахъ съ досады, что не зналъ о забытомъ купцомъ въ его саняхъ мѣшкѣ съ деньгами. Боже мой, да гдѣ же это изучалъ такихъ меньшихъ братій г. Некрасовъ, гдѣ онъ могъ и успѣлъ полюбить ихъ этою особенною любовью, которая выливается въ стихахъ, рисуя такія симпатичныя сцены, какъ Ванька, повѣсившійся на возжахъ?..

Рядомъ съ этимъ злополучнымъ произведеніемъ, которое г. Некрасовъ, подумавши, вѣроятно, выброситъ изъ своихъ стихотвореній, есть поистинѣ прелестная, полная дѣйствительнаго чувства пьеска: „Ты всегда хороша несравненно“... Мы всегда съ наслажденіемъ перечитываемъ эту пьеску, и изрѣдка только недоумѣваемъ: почему враги г. Некрасова непремѣнно глупы?..

Пропуская маленькій очеркъ, гдѣ меньшіе братья нагрѣваютъ бока неповинному сивкѣ, находимъ капитальную вещь въ трехъ отдѣленіяхъ „Вино“. Въ первомъ изъ нихъ „меньшаго“ посѣкъ безъ вины сотскій; онъ посерчалъ немного, потомъ напился и успокоился. Во второмъ у „меньшаго брата“ невѣсту другому отдали — онъ крѣпко пообѣщалъ расчесться съ обидчикомъ, и выпилъ для смѣлости; а въ кабакѣ свой братъ Петруха назвался угостить. (Вотъ, наконецъ, добрая черта отыскалась въ нашемъ народѣ, хотя на этотъ разъ и невѣрная). Мститель напился и успокоился. Въ третьемъ, наконецъ, обсчиталъ „меньшаго брата“ купецъ, да такъ-то обсчиталъ, что ему и артель расчитать нечѣмъ, и въ острогъ итти приходится. Тутъ уже меньшій братъ окончательно вскипѣлъ негодованіемъ.

Побѣжалъ, притаился, какъ воръ,
У знакомаго дома и ждалъ...
Да прозябъ; а напротивъ кабакъ,
Разсудилъ: отчего-жъ не зайти?
На послѣдній хватилъ четвертакъ,
Подрался — и проснулся въ части...

И неужели это идіотическое представленіе русскаго народа, въ тѣ минуты, когда просыпается вся его энергія — могло нравиться, могло быть принято кѣмъ-нибудь за вѣрную картину, нарисованную симпатичною рукою любящаго автора? Могло; даже многими и теперь такъ принимается. Г. Некрасовъ писалъ, не зная и не любя, мы восхищались и восхищаемся, не любя и не зная... Что жъ тутъ удивительнаго? Круговая порука. Г. Некрасовъ принялъ такое убѣжденіе отъ кого-нибудь на вѣру, и созерцалъ народъ съ этой точки; мы приняли на вѣру слова г. Некрасова — и все тутъ.

„Въ деревнѣ“ — одно изъ лучшихъ произведеній г. Некрасова, но тутъ уже нѣтъ на сценѣ „меньшаго брата“, а есть полоумная отъ горя старуха, которая мастерски обрисована.

Наконецъ, вотъ обращенное къ „меньшимъ братьямъ“ слово, къ которому готовы присоединиться и мы. Чтобы доказать г. Некрасову искренность нашего желанія отыскать все хорошее въ его произведеніяхъ, мы эту пьесу выпишемъ вполнѣ; она называется „Отрывокъ“.

Ночь. Успѣли мы всѣмъ насладиться.
Что жъ намъ дѣлать? Не хочется спать;
Мы теперь бы готовы молиться,
Но не знаемъ, чего пожелать.
Пожелаемъ тому доброй ночи,
Кто все терпитъ во имя Христа,
Чьи не плачутъ суровыя очи,
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста,
Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Погружаться въ искусство, въ науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ.
Кто бредетъ по житейской дорогѣ

Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи.

Стихи дѣйствительно хорошіе, хотя теперь они уже потеряли большую часть своего смысла. Только крѣпостное право позволяло существовать такимъ господамъ, которые могли предаваться мечтамъ и забавамъ прямо насчетъ труда „меньшихъ братій“. Но почему же, при такой симпатіи къ „меньшему брату“, при такомъ пониманіи его безразсвѣтной жизни, безысходнаго труда, безпросвѣтной тьмы, его окружающей, г. Некрасовъ такъ усердно отыскиваетъ между тружениками только мерзавцевъ и идіотовъ? Если это въ поученіе остальнымъ, то разсчетъ сильно невѣренъ: еще много времени пройдетъ прежде, нежели „меньшіе братья“ станутъ читать г. Некрасова, и станутъ ли еще они читать его—это вопросъ. Но мы, читающіе г. Некрасова съ увлеченіемъ, съ плесками рукъ, съ энтузіазмомъ, мы какого понятія о „меньшемъ братѣ“ наберемся, если неосторожно повѣримъ, что г. Некрасовъ хорошо его знаетъ?.. А мы, вѣдь, вѣрили долго, многіе вѣрятъ еще и теперь. Мы уже не вѣримъ, для насъ вѣра замѣнилась знаніемъ, и знаніе это добыто прямо изъ той среды, гдѣ его искать надобно, и оно то говоритъ намъ, что у г. Некрасова нѣтъ ни знанія, ни любви, а есть нѣчто, вычитанное въ книгахъ, слышанное отъ другихъ и даже не переплавленное въ художественномъ представленіи — никто еще, кажется, не рѣшался назвать г. Некрасова художникомъ, да и самъ онъ на это званіе не претендуетъ:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной и т. д.

это его собственный, правдивый приговоръ своему стиху.

Но пойдемъ далѣе. Вотъ „Власъ“ — стихотвореніе прекрасное и вѣрное по мысли, но до такой степени расплывшееся въ ненужныхъ подробностяхъ, что его скучно и утомительно читать. Такія явленія, какъ дядя Власъ, не рѣдкость въ нашемъ народѣ, и въ этихъ явленіяхъ выражается та желѣзная крѣпость характера, та непреклонность воли,

которыя даютъ русскому народу право многаго надѣяться въ будущемъ.

„Свадьба“ — здѣсь „меньшій братъ“ является въ видѣ мерзавца фабричнаго, а „дура-сестра“ выходитъ за него замужъ, хотя такъ въ міру, въ народѣ почти никогда не случается, и если былъ случай, описанный г. Некрасовымъ, то это исключеніе.

„Забытая Деревня“ — прекрасная вещь, но опять полное незнаніе. Какимъ образомъ, при крѣпостномъ правѣ, могъ какой бы то ни было крючкотворецъ, съ какими бы то ни было землемѣрами, отрѣзать помимо барина косячокъ, да еще изрядный косячокъ землицы?

Но нѣтъ никакой надобности отыскивать любви и знанія во всѣхъ мелкихъ стихотвореніяхъ, во-первыхъ, потому что ихъ тамъ нѣтъ, во-вторыхъ, потому что впереди насъ еще ожидаютъ двѣ поэмы, исключительно посвященныя „меньшимъ братьямъ“. Г. Некрасовъ, вѣроятно, замѣтитъ, что мы пропустили нѣкоторыя, впрочемъ, капитальныя вещицы, въ родѣ „Мы сами дѣлывали штуки“ или „Пѣсня Еремушки“, но это потому, что первая изъ нихъ слишкомъ безобразна, а вторая слишкомъ плоха и сбивается на азбучную мораль, а мы настолько уважаемъ поэтическіе труды г. Некрасова, что останавливаемся только на такихъ вещахъ, изъ которыхъ желали бы вывести или любовь къ „меньшему брату“ или короткое знакомство съ нимъ. Мы, къ сожалѣнію, не могли вывести ни того ни другого, и не знаемъ, кто будетъ счастливѣе насъ въ этомъ отношеніи.

Переходимъ къ крупнымъ вещамъ: „Крестьянскія Дѣти“ и „Коробейники“. Содержанія мы не станемъ разсказывать, потому что оба эти стихотворенія теперь, вѣроятно, всѣмъ извѣстны, да и разсказать нельзя ихъ содержанія, потому что это нѣсколько отдѣльныхъ сценъ, набросанныхъ безъ всякой связи и послѣдовательности, и если мы назвали эти стихотворенія поэмами, то только потому, что надобно же ихъ какъ-нибудь назвать; да и въ каждой поэмѣ есть главный герой: въ „Крестьянскихъ Дѣтяхъ“ этотъ герой самъ г. Некрасовъ, а въ „Коробейникахъ“—лѣсникъ, въ *концѣ разсказа убивающій* обоихъ коробейниковъ изъ дву-

ствольнаго ружья. Эта пьеса послѣдняя въ вышедшихъ теперь двухъ частяхъ стихотвореній г. Некрасова и составляетъ, съ его стороны, апоѳеозъ любви къ „меньшему брату“ и знанія его быта и привычекъ... Плуты и злодѣи, пьяницы и мерзавцы... Боже, какая несчастная участь! Любить меньшихъ братій всѣми силами души и не отыскать въ нихъ ничего, кромѣ названныхъ теперь и прежде помянутыхъ элементовъ.

„Крестьянскія Дѣти“ были бы недурнымъ собраніемъ мелкихъ очерковъ, не совсѣмъ вѣрныхъ, но все-таки дающихъ довольно близкое понятіе о томъ, какъ растетъ и чѣмъ занимается деревенская молодежь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ еще не устроились школы... Но, къ сожалѣнію, г. Некрасовъ вообразилъ, что нарисованная имъ картина привольной жизни крестьянскихъ дѣтей можетъ довести до обморока отъ зависти дѣтей другого сословія, и потому онъ поворачиваетъ медаль. Этотъ-то поворотъ и вышелъ очень плохъ, плохъ до такой степени, что заставляетъ удивляться, какъ г. Некрасовъ допустилъ себя до такой тенденціи, какая изложена въ любой азбукѣ, и еще несравненно краснорѣчивѣе...

Что же сказать о тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя не затрогиваютъ „меньшаго брата“, а выражаютъ или поражаютъ какой-нибудь изъ нашихъ общественныхъ недуговъ или рисуютъ самую личность автора въ различныхъ комбинаціяхъ жизни? Въ этихъ стихотвореніяхъ замѣчается болѣе знанія и болѣе искренности, хотя они (т. е. большая часть ихъ) не принадлежатъ къ числу фаворитныхъ у публики пьесъ. Мы ихъ разбирать подробно не будемъ; мы особенно хотѣли говорить только о тѣхъ, въ которыхъ было обращеніе къ простолюдину или въ которыхъ этотъ простолюдинъ самъ выходилъ на сцену. Но изъ всѣхъ стихотвореній выводъ представляется намъ очень печальнымъ. Мы вотъ, напримѣръ, вполнѣ сочувствуемъ г. Некрасову—его гражданину, его поэту, самому ему, когда онъ разсказываетъ, какъ „праздникъ жизни, молодости годы онъ убилъ подъ тяжестью труда“, когда онъ восклицаетъ „блаженъ незлобивый поэтъ“ (хотя, сколько мы помнимъ, ровно ни одинъ незлобивый поэтъ не

пользовался блаженствомъ того рода, о которомъ говорится въ стихахъ) и, наконецъ, когда онъ говоритъ: „замолкни, муза мести и печали“... Сколько чувства, сколько энергіи, сколько силы, сколько возможностей скрыто въ этихъ людяхъ! Но отчего же всѣ эти силы и эти возможности не пошли далѣе слова и не вызвали ничего, кромѣ такого же слова? Когда же будетъ конецъ всѣмъ этимъ словоизверженіямъ, поэтическимъ и непоэтическимъ? Поистинѣ, хоть бы немножко дѣла, хоть бы герой съ громадными способностями и силами грамотѣ научилъ одного лишняго человѣка изъ тѣхъ же, напримѣръ, крестьянскихъ дѣтей. И публика такая же — словесная, словолюбивая публика; потому и сочувствуетъ.

Вездѣ, гдѣ встрѣчается описаніе природы, дѣйствительно видѣнной г. Некрасовымъ и ему знакомой, картина выходитъ мастерская, залюбоваться можно, и нельзя не сочувствовать, хорошо зная эту природу, эти отливы и краски, вѣрно схваченныя поэтомъ — въ этихъ описаніяхъ весьма нерѣдко г. Некрасовъ дѣйствительно поэтъ, мы бы сказали даже поэтъ художникъ, если бы иногда не видѣли, что г. Некрасовъ просто списалъ свою картину съ натуры или, можетъ быть, съ какого-нибудь оригинала, и ничѣмъ лично отъ себя не одушевилъ ее и не осмыслилъ. Картина, пожалуй, не потеряла ни въ колоритѣ ни въ вѣрности передачи подробностей, перспективы и проч., но художника въ ней уже не видно.

Если все нами здѣсь высказанное не разъясняетъ причинъ всеобщаго сочувствія къ стихотвореніямъ г. Некрасова, то, вѣроятно, еще не пришло время для разъясненій, и нужно будетъ подождать, чтобъ каждому читателю, какъ намъ теперь, самъ собою представился вопросъ: отчего именно онъ, читатель, симпатизируетъ г. Некрасову, и очень мало знакомъ, напримѣръ, съ произведеніями покойнаго Никитина?.. Отвѣтъ тогда отыщется самъ собою, и едва ли будетъ много отличаться отъ нашего.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1862 г.

* * *

*) Одинъ нѣмецкій проповѣдникъ собирался произнести рѣчь... Но вдругъ, въ ту самую минуту, когда уже разверзлись уста его и первое слово готово было вылетѣть изъ нихъ, добросовѣстный нѣмецъ почувствовалъ, что въ немъ самомъ нѣтъ той теплой вѣры, того искренняго убѣжденія, которое хотѣлъ онъ сообщить своимъ слушателямъ. Положеніе ужасное! Но невидимая благодать сошла, по преданію, на добродушнаго пастора, и проповѣдь окончилась благополучно. Этотъ казусный случай всегда неотвязно приходитъ мнѣ въ голову, когда я берусь за стихотворныя произведенія современныхъ русскихъ поэтовъ (конечно, не всѣхъ). Мнѣ все кажется, что положеніе ихъ не много лучше положенія нѣмецкаго пастора, не имѣвшаго вѣры въ самую минуту проповѣди о ней, что они точно такъ же не признаютъ нравственнаго бытія за своими собственными образами и холодно, словно по стеклу, рисуютъ ихъ предъ изумленнымъ и недовольнымъ читателемъ. Вѣры въ свои образы у нихъ положительно нѣтъ, и если бъ только мы не жалѣли мѣста, то могли бы представить множество стихотвореній, гдѣ явно бросается въ глаза эта насильственность и холодность авторскаго изобрѣтенія. Вотъ, напримѣръ, одинъ поэтъ (впрочемъ, очень плохой) хочетъ изобразить смерть красавицы отъ изобилія цвѣточныхъ ароматовъ — случай не новый и уже бывшій въ глубокой древности съ кѣмъ-то изъ аѳинскихъ гражданъ. Пиши прозой почтенный авторъ или занимайся онъ простою статистикой, онъ сказалъ бы объ этомъ коротко и вразумительно: „умерла, молъ, дѣвица такая-то отъ наркотическаго дѣйствія такихъ-то и такихъ-то цвѣтовъ“. Это было бы, по крайней мѣрѣ, понятно и просто; но, какъ поэтъ, онъ не могъ ограничиться одной этой фразой, а разогналъ ее въ цѣлое большое стихотвореніе, гдѣ заставляетъ изъ каждой цвѣточной чашечки выходить по красавцу-юношѣ, и всѣ эти юноши, одинъ за другимъ, зацѣловываютъ спящую дѣвушку. Размазня такимъ образомъ вышла страшная. Другой

*) „Сѣверная Пчела“ 1862 г., № 31. Статья подъ заглавіемъ: „Реальный Поэтъ“.

поэтъ (подаровитѣе) разсказываетъ намъ, какъ онъ заключилъ съ своей милой слѣдующій договоръ: „умри, говоритъ, моя душа, и переселись на жительство въ мою грудь (ей-ей, такъ!); оттуда я стану тебя выпускать по ночамъ; ты полетаешь по воздуху, насладишься звѣздами, ночнымъ ароматомъ и опять вернешься на отдыхъ въ свою прежнюю квартиру“. И ни одного теплаго стиха, ни одного задушевнаго образа! Третій поэтъ... да, впрочемъ, не довольно ли на этотъ случай и первыхъ двухъ?

Г. Некрасовъ стоитъ въ рѣзкой противоположности съ этими блѣдными и, къ счастію, уже выводящимися на Руси мечтателями, которые на то только и мѣтятъ, чтобы поразить, если ужъ не увлечь читателя холодными выдумками своей фантазіи. Онъ съ твердою рѣшимостью сказалъ самому себѣ:

Нѣтъ, ты не Пушкинъ, но покуда
Не видно солнца ни откуда—
Съ твоимъ талантомъ стыдно спать.
Еще стыднѣй въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря
И ласку милой воспѣвать!

Въ своихъ произведеніяхъ онъ вездѣ держится реальной почвы, не истощая своей фантазіи на придумыванье чудовищныхъ сказокъ, которымъ бы не повѣрилъ онъ самъ, и не вдаваясь въ сентиментальность, всегда пошлую, а тѣмъ болѣе въ нѣкоторые общественные моменты, когда всѣ силы общества напряжены и дѣйствуютъ въ иномъ, болѣе серьезномъ и дѣловомъ направленіи.

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой,
Я росъ средь буйныхъ дикарей
И мнѣ дала судьба, по милости великой,
Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубыя черты...

Или:

Ахъ, въ годы юности моей
Печальной, безкорыстной, трудной,
Короче, очень безразсудной,
Куда ретивъ былъ мой Пегасъ!
Не розы—я вплеталъ кропиву
Въ его размашистую гриву
И гордо покидалъ Парнасъ.
Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ.
Не повторю, что тамъ я видѣлъ—
Клянусь, я честно ненавидѣлъ,
Клянусь, я искренно любилъ!

Или вотъ еще цѣлая картина, вызванная поэтомъ изъ воспоминаній его перваго дѣтства:

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста,
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ людей
Завидовалъ житью собакъ и лошадей.
. . . . . .
И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ —
Въ томящій лѣтній день защита и прохлада,
И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,
Понуривъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И на-бокъ валится пустой и мрачный домъ,
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ.

Что можетъ быть *реальнѣе*, насущнѣе такого содержанія для современнаго намъ человѣка? Что ближе его сердцу, что лежитъ на немъ болѣе тяжкимъ ярмомъ? Эта тупая, угнетающая сфера крѣпостного права, въ настоящую минуту уничтоженнаго въ Россіи; эта безгласная, замуравленная борьба и потомъ смерть, выпавшая на долю всѣмъ лучшимъ движеніямъ человѣческой мысли, всѣмъ благороднѣйшимъ порывамъ человѣческаго сердца,—дадутъ всегда много осмы-

сленнаго матеріала для благородно-развитого и съ гуманнымъ направленіемъ поэта. Поэтъ въ правѣ обратить къ прошлому строю жизни слѣдующія строфы:

Въ пошлой лѣни усыпляющій
Пошлыхъ жизни мудрецовъ,
Будь онъ проклятъ, растлѣвающій
Пошлый опытъ, умъ глупцовъ.
Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Благотворное зерно,

и затѣмъ сказать новому поколѣнію, идущему на смѣну старикамъ:

Будь счастливѣй! Силу новую
Благородныхъ юныхъ дней
Въ форму старую, готовую
Необдуманно не лей!
Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленіямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою,
Возлелѣй ихъ, сохрани,
Братствомъ, истиной, свободою
Называются они.

Сила протеста, сочувствіе къ слабымъ и угнетеннымъ— вотъ лучшія и вмѣстѣ съ тѣмъ отличительныя качества поэзіи Некрасова:

А ты, поэтъ, избранникъ неба,
Глашатай истинъ вѣковыхъ,
Не вѣрь, что неимущій хлѣба
Не стоитъ вѣщихъ струнъ твоихъ.
. . . . . .
Будь гражданинъ! Служа искусству,
Для блага ближняго живи,
Свой геній подчиняя чувству
Всеобнимающей любви.

Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что протестъ часто *ослабляется* у г. Некрасова тою безнадежностью на лучшее

будущее, которая порой, и опять-таки совершенно естественно, овладѣваетъ его сознаніемъ. Не придутъ ли къ намъ естественнымъ образомъ минуты горькаго разочарованія, сомнѣнія въ себѣ:

Но умолкни, мой стихъ!
И погромче насъ были витіи,
Да не сдѣлали пользы перомъ:
Дураковъ не убавимъ въ Россіи,
А на умныхъ тоску наведемъ.

Или въ другомъ стихотвореніи:

Всему конецъ. Ненастьемъ и грозою
Мой темный путь недаромъ омрача,
Не просвѣтлѣетъ небо надо мною,
Не броситъ въ душу теплаго луча!

Но рядомъ съ этими мотивами унынія и безнадежности у Некрасова слышатся и другіе звуки, прекрасно выражающіе живучесть и непобѣдимый законъ того начала, которое проглядываетъ во всѣхъ его произведеніяхъ. Вотъ что говоритъ поэтъ своей родинѣ, возвратясь изъ безполезной погони за счастьемъ на чужой сторонѣ:

Все рожь кругомъ, какъ степь живая,
Ни замковъ, ни морей, ни горъ...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего
Искалъ я примиренья съ горемъ,
И не нашелъ я ничего!
Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю,
Не одолѣвъ мою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею;
Но ты дохнула—и сумѣю,
Быть-можетъ, выдержать борьбу.
Я твой. Пусть ропотъ укоризны
За мною по пятамъ бѣжалъ,
Не небесамъ чужой отчизны—
Я пѣсни родинѣ слагалъ.
. . . . . .
Скорѣй туда, въ родную глушь!
Тамъ можно жить, не обижая

Ни Божьихъ ни ревизскихъ душъ,
И трудъ любимый довершая,
Тамъ стыдно будетъ *унывать*
И предаваться грусти праздной,
Гдѣ пахарь любитъ сокращать
Напѣвомъ трудъ однообразный.
Его ли горе не скребетъ?

Тутъ уже слышенъ голосъ человѣка, снова вдохновленнаго своею задачею и ощутившаго въ себѣ силы для ея выполненія. На этотъ мотивъ мы могли бы представить еще много выписокъ, доказывающихъ, одна другой лучше, сколько теплой любви къ родинѣ, любви, не скрывающей сентиментально народныхъ язвъ, но хлопочущей объ ихъ исцѣленіи, таится у г. Некрасова подъ суровой оболочкой желчнаго и сатирическаго стиха. Но мы и такъ ужъ, кажется, злоупотребляемъ правомъ рецензента, а если еще дадимъ себѣ волю, то можемъ, пожалуй, переписать и всю книгу.

Мы опредѣлили поэзію Некрасова въ смыслѣ горячаго и задушевнаго протеста противъ насилія и несообразностей жизни; но было бы грѣшно сказать, чтобы нашъ поэтъ былъ лишенъ способности отдаваться порывамъ страсти и понимать красоту природы. Нѣтъ! кто прочтетъ его стихотворенія: „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“, „Я посѣтилъ твое кладбище“, поэму „Саша“ и множество подобныхъ строфъ въ другихъ произведеніяхъ, — тотъ невольно сознается, что рѣдкій изъ русскихъ поэтовъ умѣлъ такъ хорошо и съ такой удивительной мѣткостью рисовать картины природы или изображать радости и муки влюбленнаго сердца. Но не здѣсь, конечно, заключается главная сила Некрасова, и не тутъ пролегаетъ жизненный нервъ его поэзіи.

Русская критика — скажемъ мы въ заключеніе нашего краткаго отзыва — очень неохотно говоритъ о Некрасовѣ, и до сихъ поръ не опредѣлила въ прямыхъ выраженіяхъ его большихъ заслугъ въ русской поэзіи, въ которой онъ сдѣлалъ, по нашему мнѣнію, неоцѣнимо важный шагъ впередъ, а чрезъ *это и всему* русскому обществу, такъ какъ задушевное

слово поэта, полное страсти и энергіи, дѣйствуетъ лучше и успѣшнѣе на умы, чѣмъ самая стройная и внимательно обдуманная система. Какія тому причины? Первая причина состояла, кажется, въ томъ, что рецензенты боялись оказать плохую услугу г. Некрасову въ глазахъ тѣхъ литературныхъ цѣнителей, которымъ вообще не нравится весь духъ его поэзіи; вторая лежитъ глубже, а именно въ различіи критическихъ взглядовъ на одинъ и тотъ же предметъ. О цѣнителяхъ теперь уже распространяться не стоитъ: имъ, вѣдь, все равно не втолкуешь ничего путнаго; что уже касается до различія критическихъ воззрѣній, то нельзя не замѣтить, что *чистымъ эстетикамъ*, всегда гоняющимся за безтѣлесностью образовъ и за отшлифованной гладкостью стиха, поэзія Некрасова приходится какъ-то не понутру съ своими трезвыми страданіями, съ своими ослѣпительно-живыми и реальными красками. Одинъ эстетикъ (см. 2 ч. стих. Некр., прим. къ „Коробейникамъ“) сказалъ самому г. Некрасову, что два стиха въ его поэмѣ „Коробейники“, обращенные разносчикомъ къ своей возлюбленной, *лишаютъ поэтичности* эту женщину, заставляя читателя воображать ее покупающей въ „кабакѣ водку“; г. Аполлонъ Григорьевъ выразился нѣкогда, что въ поэзіи Некрасова „чувствуется *какая-то* сила, но сила грубая и необработанная“. Съ такими критиками тоже мудрено столковаться; но не мѣшаетъ, однако, замѣтить имъ, что слово *какая-то* могло бы быть гораздо опредѣлительнѣе, если бъ они вникли сколько-нибудь въ сущность и глубину этой *силы*. Сила гражданскаго чувства, сила благороднаго, отъ души идущаго, патріотизма, столь цѣнимая въ нашъ вѣкъ, не требуетъ, кажется, особой чуткости пониманія, чтобы проникнуться къ ней самымъ искреннимъ и глубокимъ сочувствіемъ. Это—новая струя, внесенная г. Некрасовымъ въ русскую литературу, струя, которая только изрѣдка, и то не у многихъ русскихъ поэтовъ, пробивалась съ подходящей полнотою и яркостью. Заслуги этой нельзя отнять у г. Некрасова. Правда, мы не отвергаемъ, что со временемъ появится у насъ „другой избранникъ“, который съ такой же глубиной и большей разносторонностью того же чувства

соединитъ болѣе художественный и усовершенствованный механизмъ искусства; но это время, кажется намъ, еще очень далеко.

О муза! гостьею случайной
Являлась ты душѣ моей?
Иль пѣсенъ даръ необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! Кто знаетъ? Рокъ суровый
Все скрылъ въ глубокой темнотѣ,
Но шелъ одинъ вѣнокъ терновый
Къ твоей угрюмой красотѣ.

Оно придетъ только тогда, когда такая муза не будетъ „случайной“ и боязливой гостьей души поэта, а легко дышащая грудь поэта не будетъ вынуждена производить иногда не совсѣмъ гармоническіе, подавленные звуки. Это время, очевидно, предвидѣлъ г. Некрасовъ, когда сказалъ самому себѣ:

Ты свѣточъ истины держалъ
Рукою твердой, но для свѣта
Онъ благотворно не сіялъ,
Какъ свѣточъ генія-поэта.
Дрожащей искрою, впотьмахъ,
Онъ чуть горѣлъ, мигалъ, метался:
Моли, чтобъ солнца онъ дождался
И потонулъ въ его лучахъ!

Будемъ и мы молить о томъ же вмѣстѣ съ поэтомъ, но все же покуда это только—pia desideria, а подобныя желанія не всегда сбываются *).

Изъ „Сѣверной Пчелы“ за 1862 г.

1863 г.

**) Въ нынѣшнемъ году вышло новое, дополненное изданіе стихотвореній г. Некрасова. Въ другое время выходъ этой

*) Критическія статьи о Некрасовѣ за 1862 г. еще см. въ изданіяхъ: „Вѣкъ“, № 2. В. Ч. (Чибисова); „Журналъ для Дѣтей“ № 31, стр. 481 (о „Крестьянскихъ Дѣтяхъ“); „Разсвѣтъ“ (журналъ В. Кремнина), № 2, стр. 163—190, статья а. л-и (о „Горькомъ Горѣ“), „Свѣточъ“, № 1, отд. III, стр. 1—106 (А. Милюкова); „Сынъ Отечества“, № 5 (воскресный); „Одесскій Вѣстникъ“, №№ 9 и 113.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) *„Отечественныя* Записки“ 1863 г., № 9 (Томъ CL).

книжки заставилъ бы встрепенуться литературу; а въ наше развлеченное политическими событіями время, никто и слова не сказалъ объ ней. Между тѣмъ новому изданію уже скоро минуетъ годъ, и, вѣроятно, оно такъ же скоро раскупится, какъ и прежнія изданія тѣхъ же стихотвореній. Критика молчитъ, какъ-будто г. Некрасовъ принадлежитъ къ тѣмъ обличителямъ, которыхъ стихи годятся только въ сборники „Гражданскихъ Мотивовъ“. Такое молчаніе журналовъ лучше всего доказываетъ или какую-то литературную усталость или же совершенный поворотъ во вкусахъ публики. Послѣднему мы не вѣримъ, слѣдовательно, остается въ силѣ только первое предположеніе... Странное дѣло — нынѣшнее положеніе нашей литературы! Молодое поколѣніе воспиталось и много добра почерпнуло изъ стихотвореній г. Некрасова—и это поколѣніе молчитъ о немъ. Было, правда, нѣсколько статей, но всѣ онѣ ничего не разъяснили, ничего не растолковали: онѣ выражали то восторги, то удивленіе, и могли бы быть названы не рецензіями, а одними восклицательными знаками или рядомъ междометій! Такъ мало было сказано молодымъ поколѣніемъ для объясненія таланта, ихъ воспитавшаго.

Поэзія г. Некрасова, во множествѣ случаевъ дидактическая, поучительная, приправленная очень удобно энергически-желчными выходками противъ грязи и недостатковъ, окружавшихъ молодое поколѣніе, имѣла успѣхъ, какой рѣдко достается на долю поэзіи. Благодаря энергіи и желчи, поучительность, всегда скучная, особенно въ стихахъ, имѣла успѣхъ. Эта сторона стихотвореній, относительная, должна играть весьма важную роль въ перипетіяхъ нашего времени. Стихотворенія г. Некрасова, толкуемыя въ тотъ же тонъ статьями Добролюбова, дѣйствовали сильно на юношество, и когда время снесетъ шумиху *безразлично на все* подающаго негодованія, стихотворенія Некрасова оставятъ послѣ себя очень видный *шагъ* въ развитіи нашихъ общественныхъ чувствъ.

Другое дѣло, когда вы отнесетесь къ этимъ стихотвореніямъ, какъ къ поэзіи, какъ къ всеобъемлющему началу высшаго проявленія правды въ обществѣ. Тутъ вы увидите

въ нѣкоторыхъ случаяхъ однообразіе этой поэзіи, увидите холодную разсудительность, частое отсутствіе живыхъ красокъ, безъ которыхъ поэзія жить не можетъ, но которыя замѣнились у г. Некрасова энергіею отрицанія. Однимъ словомъ, вы увидите не свободное отношеніе, не всесторонній взглядъ на жизнь общества, а взглядъ партизана извѣстной доктрины, какимъ и былъ г. Некрасовъ въ *послѣднее время*. Только въ послѣднее время, замѣтьте это, въ своихъ новыхъ стихотвореніяхъ, не вошедшихъ въ третье изданіе, въ родѣ *Зеленаго Шума*, г. Некрасовъ начинаетъ уже освобождаться отъ этой доктрины. Насколько прежняя доктрина подѣйствовала враждебно на талантъ г. Некрасова, было уже объяснено въ статьѣ „Отеч. Зап.“, и я возвращаться къ этому предмету здѣсь не буду. Недостатки г. Некрасова—не его личные недостатки, а литературной партіи. Выказавъ полное презрѣніе въ жизни, эта доктрина могла только всѣ цвѣта жизни слить въ одинъ сѣрый цвѣтъ. Для ученой статьи все это могло имѣть свою цѣль; но таланту, который долженъ былъ имѣть дѣло съ частными случаями, фактами, доктрина могла дать одну силу негодованія, приложимую ко всѣмъ случаямъ безразлично. Такимъ образомъ, чутье народныхъ нуждъ и скорбей, которыми владѣлъ г. Некрасовъ, обратилось въ негодованіе на все, что грязно, глухо и нѣмо было для высшихъ потребностей жизни—и кстати ужъ и на все остальное; муза „мести и любви“ сдѣлалась только музою мести, а любовь должна была скрыться... Неприлично такой высокой доктринѣ любить что-нибудь въ этомъ порядкѣ вещей, который слѣдуетъ уничтожить по ея соображеніямъ, а поэтъ не можетъ *безъ любви* быть поэтомъ! Вотъ въ этомъ-то и драматическое положеніе!

Я не сочувствую этой узкой доктринѣ, и потому не могу сочувствовать тѣмъ стихотвореніямъ, гдѣ она примѣнена наголо. Я нахожу эту доктрину несправедливою, слѣдовательно, не могу считать истинными и тѣ чувства, которыя возбуждены ложною идеею. Но, къ счастью, эта искалѣченность таланта, если можно такъ выразиться—не относится *ко всѣмъ стих*отвореніямъ г. Некрасова; вездѣ, гдѣ Некрасовъ успѣвалъ отъ нея освободиться, онъ и по глубинѣ

чувства и по энергіи стиха становился первымъ нашимъ современнымъ лирикомъ. Въ его стихѣ живутъ наши новыя потребности; онъ не принадлежитъ ни школѣ Пушкина ни Лермонтова; талантъ его не такъ многостороненъ и блестящъ, чтобъ сдѣлаться полнымъ и завершеннымъ образцомъ для будущаго; но въ немъ, болѣе нежели въ комъ-либо другомъ изъ нашихъ современныхъ поэтовъ, живутъ чувства, которыми должна питаться будущая поэзія; въ немъ столько энергіи, что онъ можетъ дать толчокъ поэтическимъ идеямъ. Онъ не такъ узокъ, какъ его послѣдователи, которые за гражданскимъ чувствомъ не видятъ никакого другого чувства; онъ желаетъ дать просторъ другимъ потребностямъ души, но эстетическая мертвечина той доктрины, которая опутала его, безпрестанно мѣшала ему размахнуться. Онъ не такъ, какъ г. Фетъ—талантъ блестящій, но весьма узкій и односторонній—не живетъ прежними традиціями поэзіи. У г. Фета все, и начало, и конецъ его поэзіи, не идетъ дальше элегій Пушкина, удивительныхъ и неподражаемымъ по тонкости чувства. Г. Некрасовъ не старыми пріемами руководствуется, какъ, напримѣръ, г. Полонскій, когда приходится ему столкнуться съ обществомъ. У г. Некрасова звучитъ струна новая, и чѣмъ больше онъ будетъ давать ей простору, помимо нигилистическихъ соображеній, тѣмъ она будетъ издавать звуки сильнѣе и доступнѣе сердцу каждаго. Слѣдовательно, поэтической рутины, такъ сказать, у г. Некрасова нѣтъ никакой; этимъ онъ выше другихъ. Но зато онъ слишкомъ доктринеръ, если бъ можно было назвать такъ поэта, который замыкаетъ въ стихи ученіе какой-нибудь школы...“ (Далѣе критикъ излагаетъ свои возраженія противъ статьи Ап. Григорьева, помѣщенной на 126 страницѣ настоящей книги *).

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1863 г.

---

*) Въ этой же статьѣ, въ формѣ примѣчанія, помѣщена библіографическая замѣтка П. Е. (Ефремова?) объ изданіяхъ стихотвореній Некрасова, страница 2—3. Еще см. за 1863 г. о Некрасовѣ въ „Иллюстраціи“ №№ 2 и 283.

1864 г.

*) Поэзія г. Некрасова долгое время ставила въ недоумѣніе нашу критику. При очевидномъ богатствѣ содержанія, силѣ, искренности и чуткости къ жизни, она въ то же время часто непріятно щекотала нервы людей, привыкшихъ къ музыкѣ стиха, или поражала такою небрежностью и угловатостью отдѣлки сюжета, которые были особенно ярки въ наше время, когда гладость и плавность стиха и внѣшнее изящество стихотворной постройки встрѣчается сплошь и рядомъ даже въ стихотворцахъ съ самымъ скуднымъ содержаніемъ. Въ этомъ смѣшеніи несомнѣнно большого поэтическаго таланта съ недостаткомъ тѣхъ внѣшнихъ достоинствъ поэзіи, которыя, со временъ Пушкина, сдѣлались, повидимому, всеобщимъ достояніемъ, представлялось дѣйствительно что-то странное, необъяснимое. Доходило дѣло до того, что многіе готовы были вовсе отказать Некрасову въ поэтическомъ призваніи и видѣть въ немъ исключительно сатирика или публициста, лишь случайно или по постороннимъ соображеніямъ избравшаго для своей дѣятельности стихотворную форму. Мы не говоримъ уже при этомъ о тѣхъ людяхъ, которые вообще въ стихотворной формѣ не видятъ никакой внутренней необходимости для поэта, а только болѣе или менѣе ловкій способъ для выраженія своихъ мыслей; нѣтъ, люди, даже понимающіе дѣло, рѣшительно недоумѣвали надъ поэзіею г. Некрасова.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ было тѣмъ, кто привыкъ видѣть въ поэзіи искусство по преимуществу изящное, помириться съ тѣми рѣзкими нарушеніями, не говоримъ уже изящества поэтической рѣчи, но простой правды, естественности, какія представляетъ, напр., очевидно поддѣльная народная рѣчь въ стихотвореніи: „Въ дорогѣ“; или какъ было отнестись къ неловкому переложенію въ стихи стариннаго анекдота объ удавившемся извозчикѣ. — Мы нарочно привели два наиболѣе крупные и рѣзкіе примѣра; а сколько болѣе или

*) *Е. Эдельсонъ.* „Библіотека для Чтенія“ 1864 г., № 9.

менѣе оскорбительныхъ для чуткаго уха неловкостей можно набрать по частямъ въ другихъ, даже лучшихъ стихотвореніяхъ Некрасова. И все это, замѣтьте, въ то же самое время, когда мы безпрерывно слышали вокругъ себя, если и не слишкомъ самостоятельныя, то, по крайней мѣрѣ, вѣрныя пушкинскимъ преданіямъ, безукоризненныя и по стиху и по постройкѣ стихотворенія А. Майкова, Я. Полонскаго, Огарева, Фета и др.; когда даже обличительныя стихотворенія, на срокъ писанныя для сатирическихъ журналовъ, отличались и складностью, и музыкальностью, и даже нѣкоторою изящностью постройки.

Въ сущности, впрочемъ, противорѣчія между двумя указанными качествами поэзіи Некрасова вовсе не было. Стоитъ только сообразить, что Некрасовъ вовсе не принадлежалъ къ питомцамъ музы Пушкина и его эпохи, а былъ поэтомъ самъ по себѣ, прокладавшимъ новую свою дорожку — и все недоразумѣніе разрѣшалось самымъ простымъ образомъ. Оригинальность и сила г. Некрасова именно въ томъ и состоитъ, что онъ не принялъ въ наслѣдіе ни формы ни содержанія поэзіи Пушкинскаго періода, какъ сдѣлали это наши прочіе поэты, а выработалъ самъ сначала, своими силами и то и другое. Что въ самомъ дѣлѣ общаго между поэзіею Некрасова и поэзіею Пушкина? То была свѣтлая, радостная, ясная, все до изящества округляющая поэзія,— эта по преимуществу поэзія нужды, горя, скорби, униженія, порока въ его самомъ грубомъ, непривлекательномъ, натуральномъ видѣ. Было ли бы что-нибудь изъ Некрасова, если бы онъ, вмѣсто выбора своей собственной, трудной, но самостоятельной дорожки, пошелъ по широкой дорогѣ, проложенной Пушкинымъ, пріобрѣлъ ли бы онъ всѣ тѣ внѣшнія достоинства, которыхъ часто не достаетъ ему теперь,— этого вопроса рѣшить мы не беремся; ясно только одно, что при этомъ онъ, несомнѣнно, утратилъ бы много своего истиннаго значенія, какъ вѣрный выразитель многихъ думъ своего поколѣнія и своего времени. Ибо дѣло въ томъ, что цѣлость природы, неразрывная связь пѣсенъ съ внутреннею жизнію и особымъ складомъ души поэта, полнѣйшая искренность выраженія, именно *своихъ* думъ и чувствованія, составляютъ первое и главное истинной поэзіи.

Но здѣсь мы рискуемъ подвергнуться упрекамъ съ двухъ совершенно противоположныхъ сторонъ. Какъ! Все равно, что бы ни пѣлъ, лишь бы свое?—скажутъ намъ съ одной стороны. Но, въ такомъ случаѣ, какое же право имѣете вы осуждать пѣснь объ удавившемся извозчикѣ? Это у Некрасова чистое свое, ни у кого изъ поэтовъ ни по духу ни по формѣ не заимствованное стихотвореніе. Да неужели и литературныя преданія ровно ничего не значатъ?—скажутъ намъ изъ того же лагеря. Неужели позволительно поэту, говорящему хоть и новое слово, подвигаться назадъ относительно выработанныхъ уже и пріобрѣтенныхъ литературой техники стиха, изящной конструкціи, строгаго выбора сюжетовъ?

Зачѣмъ же намъ именно его думы и чувствованія, могутъ послышаться голоса съ другой стороны?—Пусть говоритъ дѣло, высказываетъ современныя мысли, здравыя понятія о вещахъ, возбуждаетъ вопросы, поднятые передовыми людьми, а его или чужіе эти думы и вопросы — намъ до этого дѣла нѣтъ.

Постараемся, какъ это, повидимому, ни трудно, удовлетворить обѣ стороны разомъ.

Поэтъ прежде всего есть выразитель думъ и чувствованій своего времени. Но для того, чтобы онъ былъ поэтомъ, а не публицистомъ, ораторомъ или просто мыслителемъ, думы и чувствованія, имъ выражаемыя, должны быть, также прежде всего, его собственными, личными, искренно прожитыми и выношенными, а не подслушанными или не выведенными посредствомъ чистой головной работы. Только счастливое сочетаніе этихъ двухъ, повидимому, противоположныхъ качествъ и рождаетъ истиннаго поэта, и оно же придаетъ поэзіи особую самостоятельную цивилизующую силу. Насколько поэтъ мыслитъ и чувствуетъ обще съ своею эпохою, народомъ или обществомъ и выражаетъ это живымъ словомъ, настолько онъ передовой сынъ времени, руководитель толпы, двигатель мышленія и цивилизаціи въ томъ или другомъ направленіи. Поскольку онъ выражаетъ свое собственное, *искренно прожитое* и прочувствованное, постольку онъ поэтъ, *художникъ*, т. е. человѣкъ, создающій новыя формы

для выраженія внутренняго міра души, свое личное, чисто субъективное достояніе дѣлающій общимъ для всѣхъ. Когда чисто субъективный моментъ личной жизни души доходитъ до той ясности, опредѣленности, при которыхъ онъ находитъ полнѣйшее себѣ изображеніе въ общихъ формулахъ слова, мы получаемъ истинно поэтическое, типическое произведеніе. Въ сущности, впрочемъ, здѣсь нѣтъ никакого раздвоенія, какъ это можетъ показаться при поверхностномъ пониманіи сейчасъ сказаннаго. Натура поэта есть, во-первыхъ, вообще человѣческая натура, съ ея вѣчными, постепенно въ исторіи раскрывающимися началами, со свойствами неизмѣнными, прирожденными; во-вторыхъ, это натура, находящаяся въ близкой зависимости отъ вліяній эпохи, національности, общаго духа времени текущихъ общественныхъ явленій. Когда чуткость къ современному и трепещущимъ въ немъ живымъ и существеннымъ вопросамъ находится въ счастливомъ сочетаніи съ самостоятельностью, цѣльностью и глубиною натуры, тогда мы имѣемъ передъ собою образецъ истиннаго поэта. Каждое чувство, каждая дума, въ немъ созрѣвшія вполнѣ, до потребности быть выраженными въ словѣ, будутъ искренними, страстными, своеобразными и въ то же время въ высшей степени современными, всѣмъ доступными и всѣмъ нужными. Такимъ высокимъ идеаломъ поэта былъ Пушкинъ, и только онъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ. Въ большей части случаевъ поэты, даже истинно даровитые, представляютъ извѣстныя уклоненія въ ту или другую изъ указанныхъ нами и сливающихся въ высшемъ идеалѣ сторонъ. Поэтъ, хотя бы и истинный, можетъ быть, какъ говорится, слишкомъ субъективенъ, т. е. искреннія и поэтическія изліянія его собственной души могутъ быть заключены въ слишкомъ тѣсномъ кругѣ, и не представлять общаго и значительнаго интереса для современнаго ему общества, а слѣдовательно, и не оказывать на него почти никакого вліянія. Или, владѣя значительною чуткостью къ требованіямъ духа времени и къ вопросамъ современности, онъ можетъ возбуждать эти вопросы и служить интересамъ современности, не проживая ихъ искренно и глубоко, а нѣкоторымъ образомъ со слуха, или при по-

мощи одного угадыванья требованій времени. Наконецъ, большая часть поэтовъ принадлежитъ къ такъ-называемымъ талантливымъ натурамъ, виртуозамъ, которымъ легка и доступна всякая внѣшняя форма искусствъ и которые потому способны производить довольно изящныя поэтическія бездѣлушки, не представляющія въ сущности ни вѣрнаго и широкаго отраженія современности, ни искренно прожитыхъ и мѣтко и типично выраженныхъ моментовъ жизни духа.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что, для обстоятельной оцѣнки чьей-либо поэтической дѣятельности, необходимо должны быть разрѣшены слѣдующіе вопросы: 1) въ какой степени искренно и самостоятельно все, выраженное поэтомъ въ его дѣятельности; 2) какъ широко отразилась въ дѣятельности поэта современность, въ смыслѣ національности, духа времени и т. д.; наконецъ, 3) въ какой степени типично, художественно выразилось у поэта представляемое его дѣятельностью содержаніе.

Съ этихъ именно точекъ зрѣнія мы предполагаемъ разсмотрѣть и стихотворенія Н. Некрасова, но прежде еще считаемъ необходимымъ коснуться одного изъ сужденій, высказанныхъ объ этомъ предметѣ прежнею критикою. Покойный А. А. Григорьевъ, обсуждая въ журналѣ „Время“ 1862 года поэтическую дѣятельность Некрасова, былъ весьма близокъ къ разрѣшенію именно тѣхъ существенныхъ вопросовъ, которые мы сейчасъ выставили; но, находясь подъ вліяніемъ одного изъ тѣхъ временныхъ настроеній, которыя попеременно владѣли имъ, онъ круто порѣшилъ дѣло, приписавъ, несомнѣнно, важное значеніе Некрасова въ умственной жизни современнаго поколѣнія и всю силу его поэзіи—народности, почвенности этой поэзіи. Такъ какъ вообще о значеніи національности или народности нашихъ поэтовъ и романистовъ у насъ въ литературѣ существуютъ весьма смутныя мнѣнія, и такъ какъ эпитетъ національнаго или почвеннаго поэта по отношенію къ Некрасову кажется намъ положительно неумѣстнымъ, то мы позволимъ себѣ войти здѣсь въ нѣкоторыя общія соображенія по этому вопросу.

Если брать слово національность, или народность, въ *самомъ широкомъ* его значеніи, то, конечно, каждый даро-

витый поэтъ или романистъ, поскольку онъ выражаетъ какія-нибудь живыя идеи, усвоиваемыя обществомъ и содѣйствующія умственному его движенію, окажется національнымъ, т. е., съ одной стороны, черпающимъ свои силы изъ народа или извѣстной части его, а съ другой, разливающій эти идеи также въ народѣ или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ слояхъ его. Нельзя, въ самомъ дѣлѣ, вообразить себѣ такого русскаго писателя, у котораго въ манерѣ, міросозерцаніи, въ выводимыхъ имъ образахъ—не сказалась бы болѣе или менѣе его національность. Какой-нибудь Княжнинъ или Озеровъ окажутся въ этомъ смыслѣ тоже народными писателями, ибо въ свое время производили впечатлѣніе, удовлетворяли даже національнымъ чувствамъ и въ своихъ сочиненіяхъ невольно отражали народныя черты. Но всѣхъ тѣхъ условій еще, очевидно, недостаточно вообще для того, чтобы придать писателю эпитетъ народнаго или считать національность характеристическою чертою его дѣятельности.

Еще болѣе опредѣленный и тѣсный смыслъ долженъ имѣть эпитетъ народнаго въ приложеніи къ нашимъ русскимъ писателямъ, особенно въ послѣднее время, когда въ нѣкоторыхъ изъ нихъ стала пробиваться на свѣтъ дѣйствительная народная струя въ противоположность обще-цивилизаціонной, относящейся собственно къ народности болѣе или менѣе отрицательно. Не подлежитъ, кажется, никакому сомнѣнію, что въ послѣднее время въ нашемъ общественномъ сознаніи и въ литературѣ, поскольку она служитъ у насъ отраженіемъ его, сталкиваются и отчасти сливаются, отчасти враждебно борются двѣ разнородныя струи. Одна, преобладающая въ литературѣ со временъ реформы Петра, есть струя широкой европейской цивилизаціи, общегуманныхъ началъ, передъ которою, конечно, оказываются неправыми всѣ результаты нашего болѣе или менѣе уединеннаго, узко-національнаго развитія. То сатирическими изображеніями русской дѣйствительности, то положительными представленіями западно-европейскихъ идеаловъ она по слѣдамъ Петра стремится вывести Россію изъ ея замкнутости и особности и ввести ее на широкій путь

обще-европейской цивилизаціи. Другая струя есть именно струя народности, откровенія истинныхъ силъ и началъ русскаго духа, признаніе положительныхъ сторонъ русской національности, не только не враждебныхъ общему дѣлу цивилизаціи, но, можетъ быть, имѣющихъ сказать свое живое слово въ этомъ общемъ дѣлѣ. Еще недавно чуть замѣтно и робко пробивавшаяся наружу, эта народная струя лишь въ послѣднее время выразилась болѣе или менѣе положительнымъ образомъ въ нашей литературѣ и получила въ ней окончательное право гражданства. Пушкинъ и Лермонтовъ лишь при концѣ своего поприща начали поворачивать на этотъ путь; народность Крылова, если и была почувствована всѣми и сдѣлала имя его популярнымъ, то не была понята и раскрыта окончательно критикою и общественнымъ сознаніемъ, и остается до сихъ поръ какою-то одинокою. Только Кольцовъ составляетъ въ этомъ отношеніи блестящее исключеніе и по своей несомнѣнной народности и по тому, что сразу былъ понятъ и оцѣненъ даровитѣйшимъ изъ нашихъ критиковъ. Яркаго слѣда не оставилъ, впрочемъ, и онъ въ нашей литературѣ и въ движеніи общественнаго сознанія. Даже Островскій—наконецъ, добившійся окончательной популярности и, безъ всякаго сомнѣнія, самый народный изъ нашихъ писателей, быть-можетъ, еще долго не успѣлъ бы занять въ общемъ мнѣніи давно принадлежавшаго ему почетнаго мѣста, если бы сатира не входила, по крайней мѣрѣ, на половину въ его картины русской дѣйствительности.

Мы вовсе, однако, не хотимъ сказать, чтобы народнымъ могъ называться лишь такой писатель, который *пристрастенъ* къ народу или старается по преимуществу изображать національныя черты въ привлекательномъ видѣ. Дѣло совсѣмъ не въ томъ. Островскій и въ своихъ сатирическихъ изображеніяхъ остается вполнѣ народнымъ, а Григоровичъ при всемъ своемъ сладенькомъ сочувствіи *къ мужичкамъ* не народенъ ни на волосъ. Сущность дѣла заключается, во-первыхъ, въ томъ, насколько народно все міросозерцаніе *писателя, и, во-вторыхъ*, насколько истинно, глубоко *захвачены и насколько* вѣрно и ясно изображены имъ черты

народнаго духа. Между тѣмъ какъ въ писателяхъ, которыхъ дѣятельность вытекаетъ изъ общихъ идей цивилизаціи и выражается въ гуманизирующемъ вліяніи, приговоры о народѣ и изображенія народнаго быта болѣе или менѣе случайны, такъ какъ зависятъ отъ господствующихъ въ данную минуту общихъ идей; въ писателѣ истинно народномъ, типы и черты народные выбираются существенныя и судятся какъ бы судомъ самого же народа, на основаніи непоколебимыхъ нравственныхъ началъ, болѣе или менѣе сознательно проникающихъ все народное міровоззрѣніе. При помощи первыхъ народъ расширяетъ свой кругозоръ, принимаетъ въ себя новую, чуждую ему и какъ бы враждебную, но болѣе широкую струю цивилизаціи; при помощи вторыхъ онъ достигаетъ самосознанія, вѣры въ самого себя твердыхъ началъ для самостоятельной умственной и нравственной жизни. Въ лицѣ однихъ образованные, передовые классы русскаго общества передаютъ народу выводы и стремленія общей, широкой міровой цивилизаціи; въ лицѣ другихъ русскій народъ открываетъ себя образованнымъ классамъ русскаго общества и заставляетъ ихъ признать законность тѣхъ началъ, которыя поддерживали и хранили его въ его великомъ и трудномъ историческомъ шествіи. Такими-то двумя путями подготовляется то необходимое и неизбѣжное сближеніе разрозненныхъ классовъ русскихъ, безъ котораго нельзя ожидать прочнаго, прямого, не шатающагося изъ стороны въ сторону прогресса нашего отечества.

Очевидно, что при такомъ опредѣленномъ значеніи эпитета народнаго въ отношеніи нашихъ писателей, онъ никакимъ образомъ не можетъ быть приложенъ къ г. Некрасову. Но мы надѣемся показать это подробнѣе и обстоятельнѣе въ своемъ мѣстѣ.

Чтобы представить по возможности полную характеристику содержанія, представляемаго поэтическою дѣятельностью Некрасова, мы раздѣлимъ его стихотворенія на слѣдующіе отдѣлы, которые, какъ намъ кажется, не будутъ нисколько искусственными. Мы разсмотримъ, въ 1-хъ, тѣ лирическія стихотворенія его, въ которыхъ выражается, болѣе или

менѣе ясно, личная исповѣдь самого поэта, исторія его душевнаго развитія, нѣкоторыхъ обстоятельствъ, давшихъ направленіе его поэтической дѣятельности, собственныя мнѣнія поэта о значеніи своей дѣятельности и др. прямыя изліянія отъ лица самого Некрасова. Ко 2-му отдѣлу мы причислимъ собственно сатиру г. Некрасова, составляющую его главную силу, его истинный родъ и болѣе всего привлекшую къ нему сочувствіе современниковъ. Это тѣ стихотворенія, которыя подсказаны ему „музой мести и печали", стихотворенія, всѣ пропитанныя желчью, очевидно, искреннею и накипѣвшею въ душѣ поэта, стихотворенія, направленныя премущественно противъ извѣстнаго общественнаго порядка и всѣхъ неправдъ и нравственныхъ безобразій, имъ порожденныхъ. Въ 3-мъ отдѣлѣ мы разсмотримъ тѣ стихотворенія, которыя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, и даютъ г. Некрасову право на эпитетъ народнаго. Это стихотворенія, имѣющія задачей или изображеніе простонароднаго быта, или возбужденіе сочувственнаго къ нему отношенія, или, наконецъ, отдѣльныя лирическія мѣста, проникнутыя горячею, задушевною любовью къ родинѣ. Наконецъ, въ 4-мъ отдѣлѣ мы разсмотримъ тотъ смѣшанный родъ стихотвореній Некрасова, которыхъ нельзя подвести ни подъ какую рубрику, такъ какъ они представляютъ по бо́льшей части случайное содержаніе, будучи иногда навѣяны чужими мотивами, иногда выражая временное, преходящее настроеніе поэта.

Искреннія, чисто личныя изліянія души поэта всегда представляютъ особенную важность для правильнаго разумѣнія всей его дѣятельности. Изъ нихъ всего легче видно, какъ, подъ какими вліяніями сложился образъ мыслей поэта, какъ образовались его симпатіи и антипатіи, сколько во всемъ этомъ вполнѣ законнаго и неотразимаго, сколько случайнаго и зависящаго чисто отъ личныхъ обстоятельствъ поэта. Когда Пушкинъ, обращая признательный и радостный взоръ къ первымъ урокамъ своей музы, говоритъ намъ:

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семиствольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой, и слегка

По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
. . . . . .
И радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала.
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ *святымъ очарованьемъ*.

Мы чувствуемъ, что муза для Пушкина была просто доброю и серьезною учительницею, которая воспитывала въ немъ чувство высокаго и прекраснаго, не стѣсняя ничѣмъ его будущаго свободнаго развитія, не направляя никуда намѣренно и искусственно его дѣятельность, и мы совершенно ясно понимаемъ, отчего вся поэзія его проникнута такимъ свѣтомъ и торжественностью, отчего такъ широко и многообъемлюще ея содержаніе. Совсѣмъ другая муза направляла первые младенческіе шаги Некрасова, по его собственному признанію, и съ раннихъ лѣтъ уже опредѣлила весь его будущій путь:

. . . Рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —
Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото — единственный кумиръ...
Чрезъ бездны темныя насилія и зла,
Труда и голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила
И свѣту возвѣстить о нихъ благословила.

Еще яснѣе и образнѣе рисуетъ намъ г. Некрасовъ первыя впечатлѣнія дѣтства въ стихотвореніи, хотя и отмѣченномъ заглавіемъ „Изъ Ларры“, но недаромъ же выбранномъ поэтомъ и, кромѣ того, слишкомъ отзывающемся русскимъ бытомъ для стихотворенія переводнаго:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой
Я росъ средь буйныхъ дикарей,
И мнѣ дала судьба, по милости великой,

Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубыя черты.

Наконецъ, тотъ же мрачный міръ, окружавшій раннее дѣтство поэта, встрѣчаемъ мы въ стихотвореніи, уже прямо озаглавленномъ „Родиною“:

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ безплодна и пуста
Текла среди пировъ, безмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ...
. . . . . .
Гдѣ отъ души моей, довременно растлѣнной,
Такъ рано отлетѣлъ покой благословенный,
И неребяческихъ желаній и тревогъ
Огонь томительный до срока сердце жегъ...

Мы не безъ основанія привели эти довольно длинныя цитаты. Онѣ ясно показываютъ намъ, съ какимъ уже готовымъ настроеніемъ духа вступилъ въ жизнь поэтъ, и даютъ намъ ясно почувствовать, каковъ будетъ вообще тонъ его стихотвореній, о чемъ преимущественно будетъ онъ пѣть. Уже по приведеннымъ даннымъ мы имѣемъ полное право ожидать отъ поэзіи Некрасова сильнаго протеста противъ общественныхъ золъ, тревожившихъ ужъ его еще съ дѣтства, сатиры нѣсколько личной, вымученной и потому озлобленной и непримиримой. Но на какія именно черты нашей жизни направится эта сатира въ своемъ развитіи — это должно было зависѣть отъ болѣе общихъ причинъ, сообщившихъ извѣстное направленіе всей нашей литературѣ. Покойный А. А. Григорьевъ, въ цитированной уже выше статьѣ, весьма справедливо замѣчаетъ, что первыя изъ стихотвореній Некрасова, составляющія его истинный родъ и силу и произведшія неотразимое впечатлѣніе на современниковъ, затѣмъ уже не ослабѣвавшее, совпадаютъ со временемъ всеобщаго протеста въ нашей литературѣ противъ *горькой дѣйствительности*, протеста страстнаго, жаркаго,

энергическаго,—протеста, доходившаго до клеветы на дѣйствительность. Также основательно, по нашему мнѣнію, онъ оправдываетъ этотъ хотя и односторонній протестъ, какъ единственую силу, которою могла себя проявлять въ то время живая и страстная мысль въ литературѣ. Задерживаемый въ своемъ главномъ, прямомъ истокѣ протестъ въ то время по необходимости долженъ былъ вырываться мелкими, боковыми струйками, удариться въ подробныя обличенія всевозможныхъ сторонъ дѣйствительности, всѣхъ многообразныхъ явленій, вытекавшихъ изъ общаго порядка. Протестъ выражался и въ наукѣ суровымъ отрицаніемъ всей старой, русской жизни, враждебнымъ отношеніемъ къ самой идеѣ народности, насколько она предполагалась породившею современный порядокъ. Онъ выражался и въ беллетристикѣ преимущественнымъ изображеніемъ бѣдности, угнетенія, всяческихъ униженій и оскорбленій слабаго. Онъ выражался и въ лирической поэзіи выборомъ сюжетовъ озлобляющихъ, волнующихъ, питавшихъ недовольство всѣмъ общественнымъ строемъ. О типичности, общности изображаемыхъ событій, о психологической и вообще жизненной правдѣ выводимыхъ лицъ и ихъ злоключеній думали мало. Требовались по преимуществу темы потрясающія, возмущающія... При такихъ-то условіяхъ и началъ поэтическую свою дѣятельность г. Некрасовъ. Понятно, какъ много соотвѣтствовала мрачная личная подготовка поэта господствующему въ литературѣ тону, и понятно, какое сильное сочувствіе должны были возбудить тѣ изъ его стихотвореній, гдѣ особенно рѣзко, во всей своей нѣсколько грубой силѣ и искренности сказалась его озлобленная муза. Къ этой-то эпохѣ принадлежатъ нѣкоторыя изъ стихотвореній его, производившія въ свое время особенное впечатлѣніе и между тѣмъ составляющія самыя крупныя ошибки въ смыслѣ поэтическомъ, художественномъ, таковы: „Въ дорогѣ“, „Пьяница“, „Огородникъ“, „Нравственный Человѣкъ“, „Извозчикъ“, „Тройка“ и др. Но на этомъ безразличномъ протестѣ, на этомъ неразборчивомъ исканіи мрачныхъ, потрясающихъ сюжетовъ по всѣмъ классамъ и слоямъ общества не могъ остановиться Некрасовъ, какъ натура даровитая и чуткая. Чѣмъ далѣе слѣдимъ мы за его дѣятель-

ностью, тѣмъ все болѣе и болѣе выясняются намъ два направленія, болѣе или менѣе противоположныя по вдохновляющему ихъ чувству. Съ одной стороны, протестъ его изъ смутнаго и неразборчиваго переходитъ постепенно въ болѣе опредѣленный, точный ясный, и вмѣстѣ съ тѣмъ становится мѣтче и острѣе; съ другой—выдѣляются и исключаются изъ сатиры извѣстные предметы и классы народа: симпатіи и антипатіи поэта устанавливаются на твердомъ основаніи. Уже не безразлично вся дѣйствительность русская, но только извѣстныя стороны и явленія ея продолжаютъ подвергаться его желчнымъ нападкамъ: священное слово родина становится предметомъ горячаго сочувствія поэта; простой, трудовой народъ уже не рисуется ему въ видѣ „Ваньки ражаго“, повѣсившагося отъ корыстолюбія. Не безъ борьбы, конечно, совершился этотъ переворотъ въ міросозерцаніи Некрасова, но за то тѣмъ дороже для насъ это мучительное, выстраданное, искреннее примиреніе, и тѣмъ съ большею силою потрясаетъ насъ изображеніе того перелома, который совершился, наконецъ, въ озлобленной съ дѣтства душѣ поэта.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился.
Сколько-бъ на нивахъ безплодныхъ твоихъ
Даромъ ни сгинуло силъ молодыхъ,
Сколько бы ранней тоски и печали
Вѣчныя бури твои не нагнали
На боязливую душу мою,—
Я побѣжденъ предъ тобою стою!
. . . . . .
Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно,—
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!
. . . . . .
Только-что ей я объятья раскрылъ—
Хлынули слезы, прибавилось силъ.
Чудо свершилось: убогая нива
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива,
Ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ,
Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Но мы невольно увлеклись этимъ высоко-поэтическимъ *мѣстомъ, а намъ,* по порядку, предстоитъ говорить совсѣмъ

о другой сторонѣ дѣятельности нашего поэта. Выше мы показали, какъ поэзія Некрасова, выбиваясь мало-по-малу изъ поголовнаго и неразборчиваго протеста, охватившаго нѣкогда почти всю нашу литературу, успѣла мало-по-малу выбраться на свой собственный, самостоятельный путь, съ одной стороны, опредѣливъ ближе и тѣснѣе предметъ своей сатиры, а съ другой, утвердившись въ своихъ симпатіяхъ къ нѣкоторымъ сторонамъ русскаго быта. Постараемся теперь ближе и точнѣе опредѣлить содержаніе чисто-сатирической дѣятельности Некрасова.

Выше мы видѣли тѣ первоначальныя, раннія впечатлѣнія, которыя опредѣлили въ общихъ чертахъ характеръ и основной тонъ поэзіи Некрасова, далѣе мы указали то общее настроеніе литературы, которому не могъ не подчиниться и нашъ поэтъ. Все дальнѣйшее развитіе сатирической дѣятельности Некрасова совершенно очевидно условливается жизнью поэта въ столицѣ, гдѣ ярче и выпуклѣе выступаютъ на видъ всѣ крайности общественныхъ положеній, гдѣ, при сосредоточеніи всѣхъ силъ Россіи, скопляются и нагло выдвигаются на показъ всѣ пороки, разъѣдающіе нашъ общественный организмъ, гдѣ яснѣе выступаютъ на видъ всѣ пружины, условливающія извѣстный строй жизни. Тамъ

Въ этой улицѣ роскоши, моды,
Офицеровъ, лоретокъ и баръ,
Гдѣ съ полу-государства доходы
Поглощаетъ заморскій товаръ,

очевидно, были задуманы и созрѣли тѣ злыя и ѣдкія сатиры, которыя составляютъ главнѣйшую силу и заслугу Некрасова. Сюда, безъ сомнѣнія, принадлежатъ такія горячо прочувствованныя и глубоко созрѣвшія стихотворенія, какъ „Размышленія у параднаго подъѣзда“ и рядъ стихотвореній „О погодѣ“, „Убогая и Нарядная“, „Княгиня“, „Несчастные“, „Въ больницѣ“, „Филантропъ“ и множество отдѣльныхъ мѣстъ, разсѣянныхъ въ разныхъ стихотвореніяхъ. Но, какъ почти безъ исключенія бываетъ у Некрасова, и этихъ стихотвореній нельзя рекомендовать за безусловно выдержанныя и проникнутыя однимъ и тѣмъ же искреннимъ вдохно-

веніемъ. Такъ торжественное, сильное, полное негодованія и безпощадной ироніи начало перваго стихотворенія

Вотъ парадный подъѣздъ. По торжественнымъ днямъ,
Одержимый холопскимъ недугомъ,
Цѣлый городъ съ какимъ-то испугомъ
Подъѣзжаетъ къ завѣтнымъ дверямъ...

переходитъ къ концу въ тотъ безотрадный, нѣсколько натянутый тонъ, который, болѣе и менѣе искусственно, выработалъ себѣ Некрасовъ по отношенію къ низшей братіи, русскому крестьянину, и о которомъ мы еще будемъ говорить подробнѣе въ своемъ мѣстѣ. Точно такъ же въ стихотвореніяхъ „О погодѣ“ широкіе, общіе, такъ-сказать, всероссійскіе сатирическіе мотивы перемѣшаны безъ разбора съ чисто личными, исключительно петербургскою жизнью навѣянными чувствами, и оттого именно этотъ рядъ стихотвореній, производя особенно раздражающее впечатлѣніе на петербургскаго жителя, мѣстами почти теряетъ цѣну для жителей другихъ мѣстностей Россіи. Непостоянный житель Петербурга, не знающій всѣхъ прелестей его жизни, съ трудомъ, напр., пойметъ неподдѣльное ожесточеніе поэта, выразившееся въ слѣдующихъ стихахъ:

Вѣтеръ что-то удушливъ не въ мѣру,
Въ немъ зловѣщая нота звучитъ,
Все холеру—холеру—холеру,
Тифъ и всякую немочь сулитъ!
Всѣ больны, торжествуетъ аптека
И варитъ свои зелья гуртомъ;
Въ цѣломъ городѣ нѣтъ человѣка,
Въ комъ бы желчь не кипѣла ключомъ.
Мужъ, супругою страстно любимый,
Въ этотъ день не понравится ей
И преступникъ, сегодня судимый,
Вдвое больше получитъ плетей.

Но разсмотримъ нѣсколько подробнѣе кругъ сатиры Н. Некрасова. Если мы скажемъ, вообще, что жизнь столичная, петербургская дала ему въ этомъ отношеніи главную *пищу, то въ этомъ* не будетъ ничего удивительнаго. Выше *мы уже замѣтили,* что тамъ, какъ и во всякой столицѣ,

стягивающей и проматывающей съ полугосударства доходы, ярче всего выступаютъ на видъ всѣ соціальныя неправды и противоположности, виднѣе крупныя злоупотребленія силы, наглѣе и изысканнѣе пороки, болѣе кидаются въ глаза всѣ недостатки государственнаго механизма,—однимъ словомъ, тамъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточивается и мечется въ глаза все зло, разсѣянное по Россіи. Но замѣчательно, что для всей вообще петербургской жизни у Некрасова нѣтъ почти слова симпатіи, кромѣ извѣстныхъ нѣсколькихъ стиховъ въ поэмѣ „Несчастные“. Петербургская жизнь, начиная съ ея погодъ до парадныхъ подъѣздовъ, почти исключительно, возбуждаетъ лишь кипѣніе желчи въ нашемъ поэтѣ. Это обстоятельство въ поэтѣ, чисто петербургскомъ, каковъ Н. Некрасовъ, можетъ быть объяснено лишь тѣмъ, что у него есть и личные расчеты съ этою жизнію, что онъ чувствуетъ на себѣ самомъ ея тлетворное вліяніе, онъ страстно старается освободиться. Очевидно, что русская душа поэта по временамъ живо чувствуетъ всю мишурность и непрочность этой цивилизаціи внѣшности и формы, такъ долго ставившей нашихъ лучшихъ людей въ непримиримый разладъ съ родною жизнію, и въ то же время онъ чувствуетъ себя роднымъ ея сыномъ, прямымъ продуктомъ. Страданія, возникающія отсюда въ душѣ поэта и искренно выраженныя имъ во многихъ стихотвореніяхъ, производятъ самое поразительное впечатлѣніе и возбуждаютъ самую сильную симпатію къ г. Некрасову. Мы не будемъ приводить ихъ, такъ какъ они, конечно, сохранились въ памяти каждаго читателя.

Перебирая затѣмъ остальные предметы сатиры г. Некрасова, мы невольно найдемъ въ ней отраженіе всего того, что въ послѣднія два десятилѣтія преслѣдовалось нашей литературой, по преимуществу петербургской. Въ этомъ отношеніи вполнѣ справедливы слова г. Н. Б. (№ 43 „Дня“), что Некрасовъ „не двигатель, не властитель думъ своего поколѣнія, но самъ его непосредственное созданіе“. Мы бы добавили къ этому развѣ то, что изъ другихъ созданій своего поколѣнія и своего времени г. Некрасовъ можетъ быть названъ самымъ яркимъ его выразителемъ, что жестк*ое слово* его мѣтче и ярче выражало господствовавшее

сатирическое настроеніе; что въ то же время оно гораздо искреннѣе и глубже прочувствовано, нежели большая часть другихъ, современныхъ ему обличеній и протестовъ въ разныхъ видахъ, по большей части давно уже забытыхъ. И эти-то именно обстоятельства дѣлаютъ поэзію Некрасова самымъ крупнымъ явленіемъ среди однородныхъ, и даютъ ему видное мѣсто въ исторіи нашей литературы и цивилизаціи.

Изучая въ настоящее время сатиру г. Некрасова, не нужно, между прочимъ, забывать, что всякаго литературнаго дѣятеля нужно разсматривать въ самой тѣсной связи съ его временемъ. Многіе изъ протестовъ, встрѣчаемыхъ нами у г. Некрасова, теперь могутъ показаться общими мѣстами, такъ они заѣзжены второстепенными обличителями, или даже устарѣлыми могутъ представиться жалобами на исчезнувшее зло; но въ свое время это было по большей части слово для многихъ новое, живое, будящее, и потому положительно благотворное для своего времени, а во многихъ далеко не безполезное и для насъ. Вообще сатира г. Некрасова, особенно въ позднѣйшее время, когда истинные предметы ея болѣе уяснились для самаго поэта, вовсе не промахивается, и если сила производимаго ею впечатлѣнія нѣсколько уменьшилась, то это, повторяемъ, произошло лишь потому, что нѣкоторыя изъ бичуемыхъ ею явленій отжили или значительно ослабѣли, и потому возбуждаемое ими въ поэтѣ сатирическое одушевленіе кажется намъ не соотвѣтствующимъ предмету,—или потому, что идеи, высказанныя поэтомъ горячо, какъ нѣчто новое, сдѣлались уже прочнымъ достояніемъ общественнаго сознанія, обыденнымъ, усвоеннымъ взглядомъ на вещи, и не требуютъ возвышеннаго тона для своего заявленія. Такъ, напримѣръ, всѣ мѣста сатиръ нашего поэта, касающіяся злоупотребленій крѣпостного права, конечно, не могутъ производить на насъ такого сильнаго впечатлѣнія, какое они весьма законно производили въ свое время; но въ этомъ, конечно, уже не вина поэта. Впрочемъ, и при этой перемѣнѣ обстоятельствъ, стихотворенія, имѣющія положительно художественныя достоинства, проникнутыя чувствомъ мѣры и

гармоніи, не потеряли своей поэтической прелести и для насъ. Такова, напр., „Забытая Деревня“... Также много потеряла и для насъ обаянія сатира г. Некрасова во всемъ томъ, гдѣ она касается даровитыхъ, честныхъ, но въ нищетѣ и гоненіи погибающихъ натуръ — тема, которая въ наше время едва-ли не составляетъ анахронизма. Но въ большей части случаевъ сатира г. Некрасова еще и теперь сохраняетъ свою свѣжесть, силу, борется со зломъ, еще гордо поднимающимъ голову, или обличаетъ дѣйствительныя, еще существующія болѣзни русскаго общества. Еще существуютъ у насъ, увы, особы, изображенныя въ „Парадномъ Подъѣздѣ“, которыя *народное благо зовутъ „щелкоперовъ забавою“*, еще существуетъ во всемъ блескѣ улица, гдѣ

На французскій, на англійскій ладъ
Исковеркавъ не русскія лица,
...Гуляютъ они, пустоты вѣковой
И наслѣдственной праздности дѣти,
Разодѣтой, довольной толпой.

Еще встрѣчаются филантропы, которые

...Голоднаго отъ пьянаго
Не умѣетъ различить.

Еще сохраняетъ, къ сожалѣнію, всю свою правду и силу жалкая картина казни нашего провинціальнаго города, гдѣ

...Безплодно гибнутъ силы,
Гдѣ духота, бездумье, лѣнь,
И время тянется сонливо,
Какъ самодѣльная расшива
По тихой Волгѣ въ лѣтній день.

Еще бродятъ по лицу Россіи и мутятъ невинныя души тѣ честные и безкорыстные, но ни на что серьезное неспособные люди, которыхъ такъ характеризуетъ нашъ поэтъ:

Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ:
Вѣрить, не вѣрить—ему все равно,
Лишь бы доказано было умно.
Самъ на душѣ ничего не имѣетъ.

Что вчера сжалъ, то сегодня посѣетъ.
. . . . . .
Если жъ за дѣло возьмется—бѣда!
Міръ виноватъ въ неудачѣ тогда.
Чуть поослабнутъ нетвердыя крылья,
Бѣдный кричитъ: „безполезны усилья“,
И ужъ куда какъ становится золъ
Крылья свои опаливший орелъ...

Еще, въ противоположность этимъ новымъ, не сложившимся, безсильнымъ пока, но зачинающимъ собою новую жизнь натурамъ, существуетъ не мало на святой Руси тѣхъ грубыхъ самородковъ, въ которыхъ кипѣніе силъ и страстей, дикіе порывы воли не сдерживаются никакою цивилизаціею. Кого не поражала глубокая правда слѣдующихъ стиховъ нашего поэта:

Твой разсказъ о купцѣ разрывалъ
Намъ сердца: *по натурѣ бурлацкой*
Онъ то ноги твои цѣловалъ,
То хлесталъ тебя плетью казацкой.

Еще полнѣе мѣтко высказанной правдой звучитъ приговоръ почти о всѣхъ русскихъ путешественикахъ за границей.

Если только русскій ѣдетъ за границу,
Посылай въ Палермо, Пизу или Ниццу,
Быть ему въ Парижѣ—такъ судьбамъ угодно.

Да мало ли, впрочемъ, мелкихъ, невольно остающихся въ памяти и донынѣ глубоко вѣрныхъ сатирическихъ чертъ можно найти въ сочиненіяхъ Некрасова, и мало ли его выраженій сдѣлались въ образованныхъ кругахъ поговорками, словами всѣми признанной и мѣтко высказанной правды?

Е. Эдельсонъ.

* * *

*) Стихотворенія, появляющіяся въ нашихъ журналахъ, представляютъ мало замѣчательнаго: по содержанію они сливаются въ какое-то безличное, одно общее мѣсто, — по *формѣ* это, большею частію, жалкая посредственность.

*) *„День“ 1864* г., № 43 (статья Н. Б.).

Стихотворенія г. Некрасова являются между ними, какъ блестящее исключеніе. Всѣ они рѣзко запечатлѣны индивидуальной физіономіей поэта, въ каждомъ изъ нихъ невольно узнаешь въ лицо самого автора. Правда, самое содержаніе его поэзіи обусловливаетъ въ его стихахъ прозаизмы, какъ элементъ неизбѣжный. Но каждая его пьеска доведена всегда до такой степени литературнаго изящества и порой исполнена такой, совершенно особенной граціозности, что нельзя не признать за авторомъ истинно поэтическаго таланта.

Дѣло, однакожъ не въ этомъ; какъ бы ни были сами по себѣ художественны стихотворенія г-на Некрасова— не въ этомъ его значеніе. Онъ у насъ одинъ изъ полнѣйшихъ представителей поколѣнія сороковыхъ годовъ. Идеи нашего тогдашняго передового *большинства*, духъ и настроеніе, по преимуществу господствовавшіе въ тогдашнемъ обществѣ, нашли себѣ въ немъ яркое и полное выраженіе. Если онъ поэтъ, то по преимуществу именно этого періода,—и вотъ въ этомъ, по нашему мнѣнію, заключается его главная сила.

Промежутокъ времени, центромъ котораго являются сороковые года, дѣйствительно составляетъ въ нашей литературѣ цѣлый отдѣльный и рѣзко обозначенный періодъ... Можно утвердительно сказать, что изъ всѣхъ поэтовъ за этотъ промежутокъ г-нъ Некрасовъ останется навсегда самымъ характернымъ. — Если всю нашу послѣ-петровскую литературу, за всѣ ея полутораста лѣтъ, зовутъ „отрицательной“, то уже именно за тотъ ея промежутокъ, центромъ котораго являются сороковые годы, ей въ особенности пристало такое названіе. Вся наша ложная, чуждая народу и такъ хваленая цивилизація достигла тогда, видимо, nec plus ultra своего развитія. Что представлялъ тогда весь живой организмъ народный? Рабство многомилліоннаго крестьянства, достигнувъ своего апогея, налагало и на всю нашу общественную жизнь одинъ складъ, вносило и во всѣ многоразличныя гражданскія отношенія одинъ духъ... Извѣстный стихъ поэта въ его пьесѣ „Парадный Подъѣздъ“

„Волга! Волга! весной многоводною
Ты не такъ затопляешь поля, и пр.

хорошо характеризуетъ тогдашнее состояніе народа. Но не въ лучшемъ положеніи тогда находилось и само цивилизованное меньшинство. Мнимо-русская мысль, въ конецъ истощивъ себя призраками какой-то отвлеченной гуманности и какого-то отвлеченнаго прогресса, въ лицѣ *тогдашнихъ* ея передовыхъ представителей, не могла уже, озираясь кругомъ, не ожесточаться противъ настоящаго, но и ничего же не видѣла и въ будущемъ. Уже безъ всякой вѣры въ прошедшее, но еще и съ отчаяніемъ за будущее, она переходила въ какой-то послѣдній протестъ—на все обращенный и всему безпощадный.

Г-нъ Некрасовъ вѣрный сынъ этого періода;—не двигатель, не властитель думъ своего поколѣнія, онъ самъ его непосредственное созданіе,—не руководитель толпы или вѣщій истолкователь ея движеній,—онъ всегда лишь невольный и самый искренній ея представитель. Поэтъ не первоклассный, онъ не стоитъ выше своего времени, для того чтобы могъ онъ отнестись къ нему съ самообладаніемъ. Его лира никогда не достигаетъ той высоты строя, откуда вся происходящая передъ глазами поэта дѣйствительность—каковы бы ни были ея уклоненія въ темную сторону—для него не утрачиваетъ своего положительнаго значенія Божьей правды и красоты,—той высоты строя, при которой самыя эти уклоненія для поэта лишь рѣзче оттѣняютъ и выясняютъ его собственный идеалъ и, сталкиваясь съ которыми, поэтъ лишь къ нему, къ своему идеалу, становится только еще болѣе чутокъ, тѣмъ ревнивѣе охраняетъ его чистоту и тѣмъ еще неумолчнѣе его вызываетъ на глаза міру.

Протестъ и протестъ... вотъ смыслъ каждаго стихотворенія г-на Некрасова порознь и всѣхъ ихъ вмѣстѣ; въ немъ—и только въ немъ—весь паѳосъ его лиры. Но разъ выговорено это слово, выговорено еще и то, что сарказмъ, иронія и желчная язвительность, хандра, невѣріе и отчаяніе... словомъ сказать, всѣ эпитеты, которыми передаются больше отрицательныя силы души, чѣмъ положительныя и зиждущія ея способности,—будутъ и самыми характеристическими *эпитетами* для его музы.

Тутъ рѣчь вовсе не о томъ, конечно, насколько могъ

самъ тогдашній періодъ располагать или не располагать къ гимну, — благопріятствовалъ или нѣтъ — одѣ? Поэтъ будетъ только отчасти правъ, сославшись на самый уже характеръ своего періода, который именно не давалъ ему другихъ болѣе отрадныхъ впечатлѣній, — не давалъ мѣста ни одному чувству въ его болѣвшей груди, кромѣ протеста.—Дѣло въ томъ, что протестъ, какъ всякая отрицательная сила, только тогда имѣетъ значеніе, когда является лишь какъ орудіе положительныхъ силъ. Окружавшая дѣйствительность, положимъ, и отвергнута,—но гдѣ-же самый идеалъ?.. Честенъ только тотъ протестъ, который вырывается изъ груди ради ясно сознаннаго идеала и ради несокрушимой вѣры въ него. А наши протестующіе пѣвцы и прорицатели, эти, въ своемъ родѣ, vates минувшаго періода, похвалятся ли — взамѣнъ отвергаемой ими Россіи — ясно-сознаннымъ ея идеаломъ? Похвалятся ли они несокрушимою вѣрой въ него? Похвалятся-ли они, наконецъ, какою-нибудь вѣрой?...

Вотъ уже въ Россіи навѣкъ отмѣнено то скорбное рабство, котораго такъ не напрасно содрогались *всѣ* ея пѣвцы прежняго періода. Развѣ, однако-жъ, не продолжаютъ *нѣкоторые* изъ нихъ, еще и въ наши дни, скорбныхъ сѣтованій на прежній ладъ? Больше того, давая теперь угадывать какъ бы скрытую свою досаду, что, сломивъ крѣпостное ярмо въ Россіи, отняли теперь у нихъ самое право на ихъ вѣчное негодованіе, навсегда ихъ лишивъ источника самыхъ яростныхъ вдохновеній, — не даютъ ли еще они ясно угадывать и того, что самое обращеніе къ „низшей братіи“, вѣчныя взыванія къ ея бѣдствіямъ и страданію подчасъ могли исходить никакъ не изъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца, а изъ болѣе мутныхъ источниковъ души человѣческой?

Впрочемъ, говоря это, мы всего менѣе имѣемъ въ виду г-на Некрасова; нѣтъ никакого повода выставлять именно его въ примѣръ прорицателей такого рода. Но насколько само направленіе поэта носитъ на себѣ несомнѣнный отпечатокъ своего времени и насколько для насъ важно опредѣлить такой отпечатокъ, мы, не колеблясь, говоримъ: да, и у г-на Некрасова эта „великая народная скорбь“ и „тяжкая доля

русскаго крестьянства" (тема почти всѣхъ его стихотвореній) сплошь подернуты лживымъ оттѣнкомъ, и весь его паѳосъ, по этому поводу, зиждется на лживыхъ основаніяхъ.

Ограничимся однѣми тѣми пьесами, которыя вошли въ третій, недавно изданный томъ его стихотвореній, томъ, который намъ и подалъ поводъ къ настоящему разбору. Пьеса „Размышленія у парадnаго подъѣзда" одно изъ извѣстнѣйшихъ стихотвореній г-на Некрасова въ этомъ родѣ, паѳосъ поэта въ немъ отъ начала и до конца бьетъ неудержимымъ ключомъ. Какое, однако-жъ, въ результатѣ и изъ него вынесемъ впечатлѣніе, кромѣ... самаго неглубокаго протеста? Строфы въ пользу „сѣятеля и хранителя родной земли", въ которыхъ, повидимому, сказалась такая чудная задушевность, вдругъ разразились въ буквальное *ничто* при концѣ стихотворенія. Взятыя какъ бы лишь для одного ихъ сопостановленія съ предыдущимъ образомъ „парадnаго подъѣзда", на которомъ сосредоточено все чувство вражды поэта, эти строфы теперь сполна заглушены тѣмъ яростнымъ чувствомъ, и лишь на него, такимъ образомъ, сошелъ и весь паѳосъ пьесы. Самая тема стихотворенія, такъ грандіозно затронутая поэтомъ, эта тема „великой народной скорби, которая пуще переполнила Русскую землю, чѣмъ „Волга многоводной весной поля ея заливаетъ", не обратилась ли тутъ въ жалкую выходку простого мелодраматизма о бѣднякѣ, вѣчно угнетаемомъ богачомъ и знатнымъ?— Нѣтъ, наша мнимая, не народная цивилизація, которою такъ кичится, въ розни съ народомъ, русское передовое сословіе, образуетъ тотъ иной, въ аллегорическомъ смыслѣ— также „Парадный Подъѣздъ", двери котораго для бѣднаго мужика, „сѣятеля и хранителя родной земли", еще безжалостнѣе захлопнуты ливрейнымъ швейцаромъ. Одно изъ двухъ: или вовсе не существуетъ какого-то особаго горя, которымъ, изо всѣхъ народовъ въ мірѣ, страдаетъ будто бы одинъ только русскій народъ, или въ этой-то именно розни и все наше горе. Вдумайся только поэтъ въ это немнимое горе Русской земли—и его размышленія у парадnаго подъѣзда *никакъ* не разразились бы... мелодраматической выходкой.

Прочтемъ тутъ же его стихотвореніе „Жница“, или какъ оно озаглавлено въ III-мъ томѣ: „Въ полномъ разгарѣ страда деревенская“. При картинѣ спѣлымъ колосомъ волнующагося поля, — картинѣ жатвы, такъ всегда любезной для крестьянина и которая своимъ видомъ бодрой живости и довольства ничѣмъ въ веселости не уступитъ нѣмецкому или французскому пейзажу сбора винограда, — зачѣмъ опять у нашего поэта все тѣ же раздирающіе вопли о „трудной, русской долюшкѣ“? И почему же это названо „русскою долюшкой“? „Нестерпимый зной“, „столбъ насѣкомыхъ“, который „жалитъ, щекотитъ, жужжитъ“, серпомъ своимъ „баба порѣзала ноженьку голую“ — другихъ впечатлѣній не умѣла уловить фантазія поэта для своей картины. Преувеличенное изображеніе, во что бы то ни стало, скорбнаго бабьяго вида поэтъ доводитъ еще, если можно такъ выразиться, до самыхъ плотяныхъ красокъ: „слезы ли, нѣтъ ли у ней подъ рѣсницею, право, сказать мудрено, въ жбанъ,— заткнутый грязной тряпицею, канутъ онѣ — все равно!“ и все повершаетъ, наконецъ, это до цинизма жестокое восклицаніе: „Вкусны ли, милая, слезы соленыя, съ кислымъ кваскомъ пополамъ?“ Это уже какое-то самоуслажденіе скорбью, сладострастіе своею собственною болью,—а искреннее человѣческое состраданіе бываетъ ли склонно къ такимъ преувеличеніямъ?

Капитальнѣйшею пьесой разбираемаго III-го тома должно будетъ назвать недавнюю поэму г-на Некрасова: „Морозъ, красный носъ“ — безспорно капитальнѣйшее произведеніе и изо всѣхъ его сочиненій. Съ обыкновенными его недостатками, тутъ проглянули еще и всѣ творческіе проблески его несомнѣннаго поэтическаго таланта. Какъ въ цѣломъ сочиненіи поэмы, такъ и въ отдѣльно исполненныхъ ея картинахъ чрезвычайно много художественной силы. Сцены сельской жизни и нашей сѣверной природы мѣстами тутъ достигаютъ полной поэтической прелести; заключительныя строфы поэмы (Дарья въ лѣсу; безутѣшныя сѣтованія вдовы, незамѣтно переходятъ въ больной бредъ засыпающаго отъ мороза человѣка и мало-по-малу разрѣшаются въ полное ледяное спокойствіе...) представляли художественную задачу,

не легкую для разрѣшенія,— и авторъ вышелъ изъ нея побѣдителемъ.

Трудная доля русской крестьянской семьи, особенно въ лицѣ ея матери... такая опять, повидимому, тема выбрана поэтомъ; онъ самъ ее намѣчаетъ довольно ясно съ первыхъ же строфъ:

Три тяжкія доли имѣла судьба,
И первая доля: съ рабомъ повѣнчаться,
Вторая: быть матерью сына раба,
А третья: до гроба рабу покоряться.
И всѣ эти грозныя доли легли
На женщину Русской земли.
Вѣка протекали—все къ счастью стремилось,
Все въ мірѣ по нѣскольку разъ измѣнилось,
Одну только Богъ измѣнить забывалъ—
Суровую долю крестьянки.

Но читатель, однакоже, съ первыхъ словъ слышитъ, что тутъ готовится что-то совсѣмъ другое, а никакъ не простое изображеніе сельскаго быта. Гробъ, покойникъ, могила, холодъ, морозъ... такими впечатлѣніями открывается поэма. Какъ-будто же „трудная крестьянская доля“ въ дѣйствительности еще не довольно трудна, чтобы лишь цѣною такихъ скорбныхъ эффектовъ завербовывать къ ней участіе! Какъ-будто же эта раздирающая картина: гроба, могилы, смерти хозяина въ домѣ, безъ котораго по міру пойдутъ вдова и дѣти,— для всякаго иного крестьянина, для всякаго другого общества и при всякой другой обстановкѣ можетъ быть на много смягчена въ своемъ роковомъ смыслѣ?.. Но тягостное впечатлѣніе, которое сразу обнимаетъ душу читателя въ началѣ поэмы, ничто въ сравненіи съ тѣмъ подавляющимъ ужасомъ, который авторъ ему такъ неожиданно готовитъ въ концѣ. Дарья, вдова схороненнаго Прокла, на тѣхъ же дровняхъ, которыя сейчасъ отвезли ея мужа на кладбище, поѣхала въ лѣсъ за хворостомъ: иззябли въ нетопленной избѣ, пока мать была у могилы, ея малютки-сироты! Тамъ, въ глубинѣ лѣса, вся мертвая тишь *котораго такъ страшно* обаятельно передана поэтомъ, бѣдная *вдова рубить не* рубитъ дрова, а заливается своимъ безу-

тѣшнымъ горемъ... И дѣти больше теперь не дождутся своей матери: къ нимъ, теперь круглымъ сиротамъ,— она больше не вернется домой: умерла и родимая ихъ, она замерзла въ лѣсу! Съ неимовѣрной художественной силой живописуетъ поэтъ состояніе того леденящаго спокойствія, которое тамъ закрадывалось въ грудь его безутѣшной Дарьи, ея смертную улыбку, могильный покой самаго лѣса, все холодное безучастіе глубоко безстрастной природы! Вершинами деревъ прошла бѣлка.

Комъ снѣгу она уронила
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ;
А Дарья стояла и стыла
Въ своемъ заколдованномъ снѣ.

Было бы не такъ ужасно, когда бы поэтъ, не найдя никакого примиренія для своей героини, на-вѣки запечатлѣлъ ее въ воображеніи читателя въ образѣ вдовы, осужденной по-гробъ на страданіе. Ужасно, напротивъ того, впечатлѣніе этого леденящаго спокойствія, съ которымъ теперь — на глазахъ читателя — закаменѣлъ Дарьинъ образъ. Самое еще ея морозное застываніе, съ иглами въ бровяхъ, съ бѣлымъ пушистымъ инеемъ въ рѣсницахъ, съ коченѣющей улыбкой на блѣдныхъ губахъ,—въ поэмѣ переходитъ въ какое-то сладострастное истолкованіе ужаса самой смерти, ея леденящихъ объятій. И какое же надо имѣть глубокомрачное творчество, чтобы изъ самаго этого ужаса создать себѣ *примиреніе*, и въ немъ свести на нѣтъ весь смыслъ человѣческихъ упованій! Самое безвыходное горе, самое отчаянное невѣріе въ возможность какого бы ни было примиренія, всѣ невообразимѣйшія человѣческія страданія обращаются въ нуль въ сравненіи съ *этимъ найденнымъ* примиреніемъ, и чѣмъ больше ему сочувствуетъ авторъ въ своей героинѣ, тѣмъ ужаснѣе оно становится для души читателя. Въ цѣлой нашей литературѣ нельзя бы привести образчиковъ еще болѣе безпощадной иронiи, еще злѣйшаго отрицанія, какъ тѣ, какими наполнены заключительныя строфы поэмы. Не слышится ли въ нихъ уже какой-то всеподавляющій протестъ противъ самой жизни, все ея та-

инство и самый мигъ смерти обратившій въ ничто, въ простую игру слѣпого случая, въ безцѣльное броженіе силъ грубой природы?.. И не есть ли же это буквальное, положительнѣйшее nihil самаго отчаяннаго скептицизма?

Нѣтъ, какъ бы г-нъ Некрасовъ ни прикидывался народнымъ поэтомъ, но свѣжей струи русской народности, прежде всего, и не слыхать въ его поэзіи, — именно народныхъ-то струнъ и не достаетъ его лирѣ. Какъ бы сильно и художественно онъ ни затрогивалъ въ своихъ скорбныхъ мотивахъ вѣчно одну и ту же тему о „русскомъ горѣ“, о „трудной русской долюшкѣ“, изъ каждой его строчки внятно слышишь, что въ дѣйствительности онъ не знакомъ, если не съ ихъ истинными размѣрами, то съ ихъ истиннымъ смысломъ. Какъ бы ни обращался онъ съ своими обѣтованіями къ низшей братіи, инстинктивное чувство за русскій народъ невольно подсказываетъ, что толпа не приметъ этихъ его обѣтованій. Это его горе и сокрушеніе по „русской родной землѣ“ прежде всего горе и сокрушеніе по своей собственной эгоистической тоскѣ, ничего не имѣющей общаго съ тоскою народа, — тоскѣ, которая отчасти и сама является лишь какъ конечный плодъ нашего мнимаго, оторваннаго отъ народной почвы образованія съ его вѣчно-безплоднымъ стремленіемъ къ какому-то отвлеченно-гуманитарному и космополитическому прогрессу. У такого образованія не можетъ быть ни скорбей ни радостей, общихъ съ народомъ, — идеалы, которые преслѣдуются предствителями такого образованія, не будутъ идеалами русскаго народа, и, напротивъ того, его истинные идеалы — отнюдь не ихъ. Если подчасъ они и толкуютъ народу о своихъ страданіяхъ и о своемъ плачѣ, то не про этотъ ли именно ихъ плачъ, обращенный къ „сѣятелямъ родной земли“, будетъ умѣстно сказать:

Не *съ ними* плачешь, а *объ нихъ*!

Такъ сказалъ другой поэтъ, котораго можно бы во всѣхъ отношеніяхъ поставить въ противоположность теперь разбираемому нами. Мы припоминаемъ прекрасное, по своему: *глубокому смыслу*, стихотвореніе Константина Аксакова

Къ гуманисту, къ нему и отсылаемъ для дальнѣйшаго разъясненія нашей мысли.

Лучшими мѣстами, какъ и цѣлыми стихотвореніями г-на Некрасова, мы считаемъ тѣ изъ нихъ, въ которыхъ поэтъ, какъ бы наперекоръ себѣ, высказываетъ свое непосредственное чувство къ Россіи, какъ къ своей родинѣ,—и оно тогда выливается у него отъ полноты сердца, безъ всякихъ предвзятыхъ темъ. Припомнимъ его чудные стансы, сейчасъ послѣ тяжкой годины Севастополя, гдѣ онъ ободряетъ свою родину этими, такъ исполненными теплаго чувства, словами:

...Краше твой вѣнецъ лавровый
Побѣдоноснаго вѣнца!

и въ которыхъ онъ обращаетъ на себя милостивыя ея благословенія, по крайней мѣрѣ, за то, что

И подъ чужими небесами
Я пѣсни родинѣ слагалъ.

Изъ стихотвореній другихъ отдѣловъ можно сюда же отнести тѣ, въ которыхъ обычная безутѣшная тоска поэта вдругъ, какъ бы осѣненная какимъ свѣтлымъ лучомъ, вся разрѣшается тихими слезами о собственномъ своемъ паденіи, чувство покаянія и обращенія становится ему доступно, и весь онъ — готовность на обновленіе. Вотъ эта-то никогда не угасающая въ немъ до конца „теплая искра“ дѣлаетъ его талантъ наиболѣе симпатичнымъ и даетъ слышать что-то особенно-задушевное, что-то не старѣющееся въ доброй природѣ поэта. Пьесу, которая въ III-мъ томѣ озаглавлена „Рыцарь на часъ“, можно поставить въ примѣръ стихотвореній подобнаго рода. Остается только жалѣть, что г-нъ Некрасовъ какъ бы стыдится въ себѣ этихъ своихъ лучшихъ порывовъ, и самъ ихъ всегда торопится заглушить безпощаднѣйшею прозой. Мы, по крайней мѣрѣ, совершенно не понимаемъ, какъ самаго этого ироническаго названія „Рыцарь на часъ“, не безъ умысла приданнаго стихотворенію, такъ еще и его конца, очевидно, къ нему поддѣланнаго.

Въ нашей бѣглой, газетной статьѣ мы многаго еще не

сказали, что невольно должно притти на умъ по поводу стихотвореній г-на Некрасова. Петербургъ зоветъ г-на Некрасова по преимуществу своимъ поэтомъ. И это недаромъ; москвича въ немъ, конечно, никто никогда и не заподозритъ... Критикъ долженъ будетъ опредѣлить, насколько самое „отрицательное направленіе“ въ частности у г-на Некрасова окрашивается въ какой-то ничтожный, именно мѣстный характеръ, — насколько, наконецъ, и самъ нашъ поэтъ представляется созданіемъ этой именно мѣстной почвы...

Но мы писали не критику и не полный разборъ всѣхъ его сочиненій, а лишь краткую библіографическую замѣтку по поводу недавно изданнаго III-го тома его стихотвореній.

Изъ „Дня“ за 1864 г.

* * *

*) Въ октябрьской книжкѣ „Русскаго Слова“, въ отдѣлѣ „Библіографическій Листокъ“, разбираются стихотворенія г. Некрасова и доказывается, что въ нихъ рядомъ съ протестомъ представлены и совершенно вѣрные положительные идеалы.

„Правда, говоритъ критикъ, идеалъ г. Некрасова не имѣетъ ничего общаго съ идеалами другихъ поэтовъ: онъ не фантастическій какой-нибудь, а возможный, необходимый и несомнѣнный. Идеалъ этотъ построенъ на идеяхъ любви и благосостоянія и выраженъ въ самой осуществимой формѣ“.

Выраженъ онъ именно въ той „чудной, розовой картинѣ свѣтлаго истиннаго счастья“, которая видится Дарьѣ, когда она замерзаетъ въ лѣсу (въ поэмѣ *Морозъ — красный носъ*). Для большей убѣдительности критикъ выписываетъ вполнѣ эту картину, выражающую идеалъ г. Некрасова. Вотъ она:

И снится ей жаркое лѣто—
Не вся еще рожь свезена,
Но сжата—полегче имъ стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
Съ сосѣднихъ полосъ у рѣки.
Свекровь ея тутъ же, старушка,

*) *„Эпоха“ 1864 г., № 11.* (Статья подъ заглавіемъ: „Идеалъ Некрасова“).

Трудилась; на полномъ мѣшкѣ
Красивая Маша, рѣзвушка,
Сидѣла съ морковью въ рукѣ.
Телѣга, скрипя, подъѣзжаетъ—
Савраска глядитъ на своихъ,
И Проклушка крупно шагаетъ
За возомъ сноповъ золотыхъ.
— Богъ помочь! А гдѣ же Гришуха?
Отецъ мимоходомъ сказалъ.
„Въ горохахъ“, сказала старуха.
— Гришуха! отецъ закричалъ,
На небо взглянулъ.—Чай не рано?
Испить бы... Хозяйка встаетъ
И Проклу изъ бѣлаго жбана
Напиться кваску подаетъ.
Гришуха межъ тѣмъ отозвался.
Горохомъ опутанъ кругомъ,
Проворный мальчуга казался
Бѣгущимъ зеленымъ кустомъ.
— Бѣжитъ!.. у!.. бѣжитъ пострѣленокъ;
Горитъ подъ ногами трава!—
Гришуха черенъ, какъ галченокъ,
Бѣла лишь одна голова;
Крича, подбѣгаетъ въ присядку
(На шеѣ горохъ хомутомъ);
Попотчивалъ бабушку, матку,
Сестренку—вертится вьюномъ!
Отъ матери молодцу ласка,
Отецъ мальчугана щипнулъ;
Межъ тѣмъ не дремалъ и савраска:
Онъ шею тянулъ да тянулъ,
Добрался,—оскаливши зубы,
Горохъ аппетитно жуетъ
И въ мягкія, добрыя губы
Гришухино ухо беретъ...
Машутка отцу закричала:
Возьми меня, тятька, съ собой!
Спрыгнула съ мѣшка—и упала.
Отецъ ее поднялъ: „не вой!
Убилась—не важное дѣло!
Дѣвченокъ не надобно мнѣ;
Еще вотъ такого пострѣла
Рожай мнѣ, хозяйка, къ веснѣ!
Смотри же!..“ Жена застыдилась:
— Довольно съ тебя одного!
(А знала, подъ сердцемъ ужъ билось

Дитя)... „Ну, Машукъ, ничего!“
И Проклушка, ставъ на телѣгу,
Машутку съ собой посадилъ,
Вскочилъ и Гришуха съ разбѣгу,
И съ грохотомъ возъ покатилъ.
Воробушковъ стая слетѣла
Съ сноповъ, надъ телѣгой взвилась.
И Дарьюшка долго смотрѣла,
Отъ солнца рукой заслонясь,
Какъ дѣти съ отцомъ приближались
Къ дымящейся ригѣ своей,
И ей изъ сноповъ улыбались
Румяныя лица дѣтей...

Какая прелесть! эти стихи и выписываешь съ наслажденіемъ. Какая вѣрность, яркость и простота въ каждой чертѣ!

Не въ томъ, однако же, дѣло. Какъ понимаетъ читатель эту картину? Не думаетъ ли онъ, что передъ умирающей Дарьей носятся видѣнія прошлаго, что она вспоминаетъ счастливыя минуты того времени, когда мужъ былъ живъ? По мнѣнію критика, ничуть не бывало; это не воспоминанія и не картина дѣйствительности.

„Эта картина, говоритъ онъ, есть самый полный идеалъ счастья, какой только могла *создать фантазія* крестьянки; но, конечно, не много прибавитъ къ нему самый великій геній *въ мечтахъ о совершенномъ благополучіи людей*. Основные элементы этого благополучія — здѣсь всѣ: любовь, довольство и привлекательный трудъ среди чистой, прекрасной природы. Это та *вершина благополучія*, на которой человѣку остается еще только искать наслажденія въ наукѣ и искусствѣ; это то счастливое состояніе, гдѣ можно съ полнымъ правомъ проповѣдывать науку для науки и искусство для искусства. Наконецъ, это *тотъ результатъ, къ которому стремится весь прогрессъ* и въ которомъ наслажденіе свободною любовью, свободнымъ трудомъ и здоровою бѣдностію изгладило даже мучительное воспоминаніе о прошломъ рабствѣ и нищетѣ“.

Дѣло ясное. Идеалъ, созданный фантазіею, предста*вляющій вершину* благополучія и результатъ, къ которому *стремится весь прогрессъ*, — никакъ не могъ и не можетъ

существовать въ дѣйствительности. Чтобы кто-нибудь не подумалъ, что стихи Некрасова изображаютъ картину дѣйствительной жизни, — критикъ убѣдительно доказываетъ, что такія картины на дѣлѣ невозможны; онъ доказываетъ это и отъ себя и — что всего лучше и сильнѣе — отъ г. Некрасова.

Отъ себя онъ замѣчаетъ, что „эта картина представлена — бредомъ умирающей, а не дѣйствительностью“.

„Но поймите-же вы, наконецъ (восклицаетъ онъ далѣе), безнадежные филистеры, что въ дѣйствительности *ничего подобнаго нѣтъ*, что если бы въ минуту смерти крестьянкѣ грезилось ея дѣйствительное прошлое, то она бы увидѣла *побои мужа*, не радостный трудъ, не чистую бѣдность, а *смрадную нищету*. Только въ розовомъ чаду опіума или смерти отъ замерзанія могли предстать передъ нею эти чудныя, но *никогда небывалыя* картины“.

Но всего сильнѣе тѣ доказательства, которыя критикъ заимствуетъ у самого г. Некрасова. Весьма справедливо онъ замѣчаетъ, что г. Некрасовъ часто останавливается на судьбѣ русской женщины вообще, особенно же на долѣ крестьянки; но что онъ *„нигдѣ не показалъ намъ въ розовомъ свѣтѣ ея настоящее“*. Критикъ ссылается на различныя стихотворенія, гдѣ упоминается о женщинахъ и ихъ долѣ, на „Дешевую Покупку“, на „Рыцаря на часъ“ и т. д. „Поэтъ показываетъ намъ, говоритъ онъ, и жену („Жница“), и мать („Орина, мать солдатская“), показываетъ во всей безысходности ея горя, во всемъ ужасѣ ея судьбы“. Перебравъ всѣ эти случаи, въ которыхъ представляется судьба женщины у г. Некрасова, критикъ задается такимъ вопросомъ:

„Я бы спросилъ читателя, возможно ли это представленіе, клевета ли на русскую жизнь эти слова, правда ли, что доля женщины была такъ печальна, какъ изображаетъ г. Некрасовъ?“

И отвѣчаетъ самъ себѣ:

„Но спрашивать было бы излишне, потому что лучшимъ отвѣтомъ на такіе вопросы служитъ то, что *все, что есть лучшаго* въ Россіи, читаетъ Некрасова и вѣритъ ему“.

Итакъ, если вы вѣрите Некрасову, то должны признать, что картина, изображенная имъ въ приведенныхъ нами стихахъ, есть дѣло невозможное, небывалое, и представляетъ только одну фантазію, идеалъ счастья.

Въ этихъ сужденіяхъ я вижу достойное наказаніе г. Некрасова за слишкомъ большое усердіе, съ которымъ онъ забавлялся созданіемъ „жницъ“, „Оринъ“ и т. п. Читатели такъ усердно повѣрили этимъ его произведеніямъ, что теперь уже не вѣрятъ самымъ прямымъ его словамъ.

Вотъ онъ изобразилъ живущую въ полномъ ладу чету мужа и жены. Какъ можно! возражаетъ ему критикъ, вашъ Проклъ непремѣнно билъ свою жену.

Г. Некрасовъ представилъ картину радостнаго труда, чистой бѣдности. Какъ можно! возражаетъ критикъ: все это одна мечта; я знаю твердо, что они жили въ *смрадной нищетѣ*.

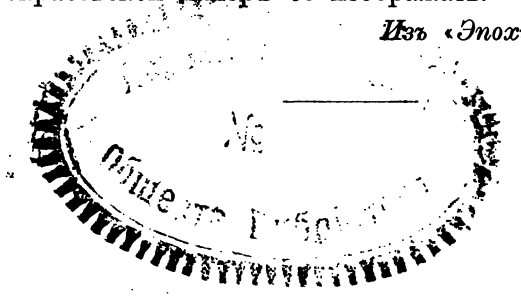
Г. Некрасовъ изобразилъ счастливыя минуты крестьянскаго семейства, полнаго взаимной любви. Какъ можно! восклицаетъ критикъ: я вѣдь знаю, что ни любви, ни счастливыхъ минутъ у нихъ вовсе нѣтъ.

Очень можетъ быть, что критику кажется одной фантазіей, однимъ идеаломъ даже то, какъ Савраска

Въ мягкія, добрыя губы
Гришухино ухо беретъ.

Вотъ если-бы Савраска откусилъ ухо у Гришухи, тогда это было бы ближе къ дѣйствительности и не противорѣчило бы некрасовской манерѣ ее изображать.

Изъ «Эпохи» за 1864 г.



Алфавитный указатель

именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ.

Аверкіевъ, Дм. 68—72.
„Адъ“, Данта. 85.
Аксаковъ, К. 143, 228.
Аксаковъ, С. Т. 85.
Алмазовъ, Б. (Эрастъ Благонравовъ). 12, 60.
„Ангелъ Смерти“. 5, 14, 15.
„Анджело“, Пушкина. 126.
„Антонъ-Горемыка“, Григоровича. 139.
Аѳанасьевъ. 135.
Байронъ. 64, 83, 130, 137, 150, 154.
Бальзакъ. 150.
Банниковъ. 17.
Бахтуринъ. 17.
„Баю-баю“. 8.
фра Беато. 160, 161.
„Безъ Разсвѣта“. 144.
Бенедиктовъ. 14, 23, 119.
Бергъ. 61, 62.
Бернетъ. 17.
Бернсъ. 135.
„Бесѣда журналиста съ подписчикомъ“. 66.
„Библіотека для Чтенія“. 28, 52—60, 202.
Бильротъ, хирургъ. 7.
Благонравовъ, Эрастъ (псевд. Б. Н. Алмазова). 60.
Боденштедтъ. 127.
„Борисъ Годуновъ“, Пушкина. 157.
Брантъ, Л. 21, 22.
Брокгаузъ, Ф. 1.
Брюловъ. 157, 161, 163.
Буало. 99.
Булгаринъ. 24, 28, 77, 177.
„Булочная“. 179.
„Буря“. 178.
Буслаевъ. 155.
Бутковъ. 176.
„Бѣглый“, Полонскаго. 113.
„Бѣдная Невѣста“, Островскаго. 170.
„Бѣдные Люди“, Достоевскаго. 6, 143, 144.
Бѣлинскій. 5, 6, 17—19, 23—31, 77, 125, 126, 136, 137, 140, 141, 149, 150, 155, 163, 177, 183.
Венгеровъ, С. 1—12.
„Вино“. 83, 178, 185.
„Власъ“. 12, 84, 88, 92, 179, 187.
„Внимая ужасамъ войны“. 80.
„Возрожденіе“, Пушкина. 169, 174.
Вольфсонъ. 127.
„Воронъ“. 5.
„Время“. 125, 128, 206.
„Встрѣча Душъ“. 14.
„Въ больницѣ“. 68, 122, 123, 178, 215.

„Въ деревнѣ". 68, 77, 78, 137, 178, 186.
„Въ дорогѣ". 6, 30, 82, 142, 178, 183, 202, 213.
„Въ невѣдомой глуши". 68, 124, 165, 192, 211.
„Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи". 81, 178.
„Вѣкъ". 198.
„Вѣчный Жидъ", Евг. Сю. 37, 47, 51.
„Гаданья", Фета. 113.
„Гансъ Кюхельгартенъ", Гоголя. 5.
Гверчино. 161.
Гебель. 135.
Гейне. 154.
Гете. 135, 150, 154.
Глинка. 157, 163.
Глушицкій. 4.
Гоголь. 5, 33, 74, 94, 132, 133, 135, 140, 141, 146, 154, 159, 164, 169, 175, 176.
Головачева-Панаева (Станицкій). 6.
Гомеръ. 150.
Гончаровъ. 139.
Горацій. 134.
„Горькое Горе". 198.
Гофманъ. 154.
Грибоѣдовъ. 74, 154, 164.
Григоровичъ. 6, 78, 208.
Григорьевъ, Ап. 12, 60—67, 97, 124—179, 197, 201, 206, 212.
„Гроза", Островскаго. 158.
„Гусаръ", Пушкина. 83.
Гымалэ. 155.
Гюго, В. 33, 35, 150, 151, 154.
„Гяуръ", Байрона. 151.
Дантъ. 85, 123, 154.
„Два Мгновенія". 15.
„Двойникъ", Достоевскаго. 176.
„Дворникъ". 29.
„Дворянское Гнѣздо", Тургенева. 169.
Делаво. 127.
„День". 217, 220—230.
„Деревенскія Новости". 87, 119, 120, 173, 178.
„Дешевая Покупка". 233.
Джефри. 93.
Диккенсъ. 154.
„Дневникъ темнаго человѣка". 104.
„Дни Благословенные". 14.
Добролюбовъ. 7, 145, 175.
Дольчи. 161.
Доменикино. 161.
Достоевскій. 6, 8, 10, 125, 136, 140, 143, 169.
Дружининъ. 93.
Дудышкинъ. 156, 157.
„Дума". 118.
„Дѣловой Разговоръ". 66.
„Дѣтство Арбенина", Лермонтова. 165.
Дюма. 33, 35, 47.
„Евгеній Онѣгинъ", Пушкина. 28, 84, 171.
„Если мучимый страстью мятежной". 60.
Ефремовъ, П. 201.
Ефронъ, И. 1.
„Жаръ-Птица", Языкова. 62.
„Жница". 225, 233.
Жуковскій. 5.
„Журналъ для Дѣтей". 66, 67, 198.
„Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія". 13, 14, 22, 23.
„Забытая Деревня". 77, 78, 81, 82, 93, 110, 113, 137, 178, 188, 219.
„За городомъ". 66, 178.
Закревская, А. А. 1.
Зандъ, Жоржъ. 150, 154.
„Записки Охотника", Тургенева. 77, 78, 169.
„Запѣвка", Мея. 113.
„Застѣнчивость". 178.

„Зеленый Шумъ". 200.
„Землетрясеніе". 15.
„Злой Духъ". 5.
„Знахарка". 87, 88, 92, 119, 121, 178.
Ивановъ. 161.
„Идеалъ Некрасова". 230—234.
„Извозчикъ". 82, 185, 213.
„Изъ Ларры". 165, 167, 178, 211.
„Иллюстрація". 201.
„Inferno". 151.
Искандеръ. 6.
„Искра". 179.
„Истинная Мудрость". 15, 20.
Кантеміръ. 99.
„Картина", Майкова. 113.
Клодтъ. 24, 27.
„Книжный Вѣстникъ". 67.
„Княгиня". 178, 215.
Княжнинъ. 207.
„Когда изъ мрака заблужденья". 12, 60, 178.
„Колизей". 14.
„Колыбельная Пѣсня". 31.
Кольцовъ. 96, 112, 135, 139, 145, 157—159, 164, 170, 178, 208.
„Comédie humaine". 176.
„Кому на Руси жить хорошо". 11.
Кореджіо. 161.
„Коробейники". 10, 68, 72, 88—90, 92, 96, 115, 117, 174, 178, 188, 197.
Косица, Н. (Н. Страховъ) 127.
Костомаровъ. 162.
Кочка-Сохрана. 127.
Краббъ. 93.
Краевскій. 6, 7, 13, 15.
Кремнинъ, В. 198.
Крестовскій, Вс. 105—124, 128, 138, 153.
„Крестьянскія Дѣти". 11, 72, 85, 88, 92, 96, 178, 188, 189, 198.
Крыловъ. 28, 208.
Кусковъ, П. 127.
„Къ гуманисту", К. Аксакова. 229.
„Къ Смуглянкѣ". 20.
„Левіаѳанъ". 6.
Лермонтовъ. 8, 23, 64, 74, 91, 94, 132, 133, 140, 151, 154, 159, 164—166, 169, 171, 172, 201, 208.
„Левъ Гурычъ Синичкинъ". 42, 43.
„Le fils du Diable", П. Феваля. 34.
„Литературная Газета". 5, 13, 15, 17.
„Литературныя Воспоминанія", И. Панаева. 124.
„Литературныя прибавленія къ Русскому Инвалиду". 5.
„Лишній Человѣкъ", Тургенева. 158.
Ломоносовъ. 142.
„Люблю я родину", Лермонтова. 171.
Майковъ, Ап. 6, 61, 113, 152, 203.
„Мартынъ Найденышъ". 37, 51.
„Мать". 1.
„Маша". 178.
Мей. 61, 113, 114, 152.
Менцовъ, Ѳ. 13—15, 17.
Мериме. 127.
„Мертвое Озеро", Некрасова и Станицкаго. 6, 34—60.
„Мертвый Домъ", Достоевскаго. 125, 144, 169.
„Мертвыя Души", Гоголя. 94, 132.
„Мечты и Звуки". 5, 13 — 23.
Меччуринъ. 33, 35.
Мильтонъ. 152.
Милюковъ, А. 198.
Минаевъ. 8, 153.
„Мининъ", Островскаго. 125, 126, 157, 168.
„Mistères de Paris". 34.

Мицкевичъ. 154.
„Морозъ Красный Носъ“. 11, 225, 230.
„Москвитянинъ“. 35—52, 60, 61, 66, 77.
„Моя Судьба“. 15.
„Муза“. 67, 68, 70, 105.
Мурильо. 160, 162.
„Мцыри“, Лермонтова. 167.
„Мысль“. 13.
„Мѣдный Всадникъ“, Пушкина. 176.
„На Волгѣ“. 130, 166, 178.
Надеждинъ, А. 66, 135.
„Наканунѣ“, Тургенева. 10. 169.
„На Родинѣ“. 178, 212.
„Начало Поэмы“. 178.
„На улицѣ“. 71.
„Невскій Проспектъ“, Гоголя. 176.
„Незабвенная“. 14.
Некрасовъ, А. С. 1.
Некрасовъ, С. Н. 1.
„Необдуманный Шагъ“, Станицкаго. 36, 39.
„Непонятная Пѣснь“. 20.
„Несжатая Полоса“. 66, 77, 78, 81, 137, 178.
„Несчастные“. 10, 68, 88, 115, 121, 179, 215, 217.
Неттельгорстъ. 24, 27.
Никитинъ. 61, 190.
„Notre Dame de Paris“, Гюго. 33, 35.
„Нравственный Человѣкъ“. 31, 178, 179, 213.
„Обломовъ“, Гончарова. 136.
„Обозрѣніе книгъ, вышедшихъ въ Россіи въ 1838, 1839 и 1840 годахъ“. 22.
„О Бородинской годовщинѣ“, Бѣлинскаго. 149.
„Обыкновенная Исторія“, *Гончарова*. 142.
Овербекъ. 161.
Огаревъ. 60—62, 143, 203.
„Огородникъ“. 60, 111, 112, 144, 178, 184, 213.
„Одесскій Вѣстникъ“. 198.
„Одиссея“, Гомера. 151.
Озеровъ. 28, 207.
Омега (псевд. Н. Ѳ. Щербины). 157.
„О погодѣ“. 122, 178, 215, 216.
„Орина, мать солдатская“. 233.
Островскій. 125, 130, 136, 139, 140, 145, 153, 154, 157—159, 164, 168, 170, 178, 208.
„Отелло на пескахъ“. 179.
„Отечественныя Записки“. 5—7, 13, 17, 23, 27, 31—34, 72—97, 131, 134, 136, 137, 139, 156, 172, 178, 179, 198—201.
„Отрывокъ“. 186.
Павлова, К. К. 61, 62.
Павловъ. 162.
„Памяти —ой“. 178.
Панаевъ. 6, 124, 142, 144, 175, 177, 183.
„Пасѣка“, Станицкаго. 36, 40.
„1 Апрѣля“. 6.
Перепельскій (псевд. Некрасова). 5.
Персій. 99.
„Петербургскіе Углы“. 27, 29.
„Петербургскіе Шарманщики“. 29.
„Петербургскій Сборникъ“. 6, 30, 31, 76, 143, 144.
„Петербургъ и Москва“. 29.
Петръ Великій. 162, 163, 207.
Печерскій. 95.
Писемскій. 139.
„Плачъ Дѣтей“. 68, 178.
Плетневъ. 6, 19.
Плещеевъ. 8.
Подолинскій. 14.
„Покойница“. 15.
Полевой. 5, 24, 28, 164.
Полонскій. 113, 201, 203.
„Полтава“, Пушкина. 151.

„Помѣщикъ“, Тургенева. 143.
„Послѣдній Визитъ“. 142, 144.
„Послѣднія Пѣсни“. 1, 7.
„Послѣднія Элегіи“. 178.
„Похороны“. 178.
„Поэзія“. 14, 15.
„Поэтъ и Гражданинъ“. 68, 178.
„Праздникъ жизни — молодости годы“. 68, 70, 97, 189.
„Праздничный сонъ до обѣда“, Островскаго. 130.
„Прекрасная Партія“. 179.
„Приходскіе Списки“, Крабба. 93.
„Псовая Охота“. 173, 174, 178.
Пушкинъ. 8, 22, 23, 28, 61, 64, 69, 71, 74, 75, 78, 83, 112, 126, 133—135, 140, 146, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 162, 163, 169, 171, 176, 192, 201—203, 205, 208, 210, 211.
„Пьяница“. 213.
„Пѣсня Еремушки“. 68, 81, 89, 91, 92, 96, 178, 188.
„Пѣсня Замѣ“. 15.
„Пѣсня убогаго странника“. 117—119.
Пятковскій, А. 67, 68.
„Размышленія у параднаго подъѣзда“. 215, 219, 221, 224.
„Разсвѣтъ“. 198.
Раичъ. 17.
Растопчина. 61.
„Реальный Поэтъ“. 191—198.
Ренанъ, Э. 148.
Розенгеймъ. 119.
Рубанъ. 26.
„Рудинъ“, Тургенева. 10, 78, 138.
„Рукоять“. 15.
„Русалка“, Мея. 113.
„Русская литература въ 1847 году“. 31.
„Русская Рѣчь“. 124.
„Русскій Вѣстникъ“. 127, 154.
„Русскій Инвалидъ“. 5, 21, 68.
„Русскія Женщины“. 11.
„Русское Слово“. 97—105, 128, 230.
„Рыцарь на часъ“. 1, 12, 229, 233.
„Саша“. 10, 68, 78, 79, 138, 173, 174, 178, 196.
„Свадьба“. 93, 145, 178, 188.
„Свѣточъ“. 198.
Скоттъ, В. 123.
„Смерть“. 14, 15.
„Снѣга“, Фета. 113.
„Современникъ“. 6, 7, 19, 23, 66, 76, 119, 124, 144.
„С.-Петербургскія Вѣдомости“. 180—190.
Станицкій (псевд. Головачевой-Панаевой). 6, 32, 34—36, 47, 60.
«Станція Едрово». 177.
«Старый Домъ». 37.
«Старыя Хоромы». 124.
«Статейки въ стихахъ безъ картинокъ». 6, 23—27.
«Сто Русскихъ Литераторовъ». 31.
Стромиловъ. 17.
Струйскій. 17.
Суворовъ. 23.
Сушковъ. 17.
«Сфинксовая Загадка», Майкова. 113.
«Счастье лучше богатства», Полевого и Булгарина. 28.
«Сынъ Отечества». 13, 23, 198.
«Сѣверная Пчела». 19—21, 26, 27, 66, 77, 191—198.
Сю, Евг. 47.
Тассъ. 152, 158.
Теккерей. 154.
«Темное Царство», Добролюбова. 175.
Тиммъ. 24, 27.
Тимофеевъ. 17.
«Тишина». 178.

«Тля», Панаева. 177.
Толстой, Л. 85, 125, 126, 156.
Траумъ. 17.
Тредіаковскій, В. К. 18.
«Три Портрета», Тургенева. 143.
«Три страны свѣта», Некрасова и Станицкаго. 6, 32—35 37, 38, 40, 52.
„Тройка". 32, 76, 111, 112, 178, 184, 213.
Тургеневъ. 6, 7, 10, 77—79, 95, 127, 139, 140, 142, 143, 154, 159, 163, 169.
„Ты всегда хороша несравненно". 185.
Тютчевъ. 151.
„Тяжелый крестъ достался ей на долю". 178.
„Убогая и Нарядная". 68, 178, 215.
„Умру я скоро". 7.
„Униженные и Оскорбленные", Достоевскаго. 176.
Феваль, П. 34, 47.
Фетъ. 61, 113, 126, 139, 151, 201, 203.
„Физіологія Петербурга". 6, 27—30.
„Филантропъ". 179, 215.
„Хандра", Пушкина. 71.
Хозяинъ", Мея. 113.
Хомяковъ. 61, 62, 170.
Чаадаевъ. 155.
Чайльдъ-Гарольдъ", Байрона. 130, 131.
„Человѣкъ". 20.
Чернышевскій. 7.
„Чернь и Поэтъ", Пушкина. 69.
Чибисовъ. 198.
„Чиновникъ". 28, 29.
Чистяковъ, М. 66, 67.
Шатобріанъ. 132.
Шахова, Е. 13, 14.
Шевыревъ. 77.
Шекспиръ. 123, 150, 154, 158.
Шиллеръ. 135, 150, 154.
„Школьникъ". 66, 178.
Шаповъ. 162.
Щедринъ. 95.
Щербина. 61, 153.
„Ѣду ли ночью по улицѣ темной". 32, 60, 63, 68, 122, 146 179, 196.
Эдельсонъ, Е. 202—220.
„Энциклопедическій словарь", Ф. Брокгауза и И. Ефрона. 1.
„Эпоха". 230—234.
Языковъ. 62.
Якубовичъ. 17.
„Я посѣтилъ твое кладбище". 196.
„Ясная Поляна", Толстого. 156.

10564

102ল

р. 25 К

№

Общество Библіотека

Stanford University Libraries
3 6105 124 436 176

PG
3337
N4Z99
O-48v.1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.